

Annotation

Для автора книги Ирбек Кантемиров стал не только участником общих размышлений, но и одним из неперенных героев романов и повестей — также естественно, как его искусство наездника стало неотъемлемой частью русской культуры, не говоря уже о многонациональной российской. «Счастливая черкеска» — книга про Ирбека Кантемирова, многолетнего руководителя знаменитой конно-цирковой труппы.

* * *

Гарий Немченко

«ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ»

МОЙ ДРУГ ГЕОРГИЙ

ДЖИГИТЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАННИКА

БЕЛЫЙ КОНЬ НА АСФАЛЬТЕ

АЛАНСКИЙ РЫЦАРЬ

СЧАСТЛИВАЯ ЧЕРКЕСКА

ГОТОВЫЙ РАССКАЗ

ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

1

2

3

4

5

6

7

ЛИЧНОСТЬ

СТРАНА УМЕРШИХ ГЕРОЕВ

ГОРБАТЫЙ МОСТ

ДЕРБИ 45-го ГОДА

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАННИКА — 2, или

«ОТВЕТНЫЙ ПОКЛОН»

* * *

Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Спасибо», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!

Гарий Немченко

Счастливая черкеска

Три десятилетия назад, когда мой задушевный друг, школьный товарищ и однокурсник по факультету журналистики МГУ, Георгий Черчесов обратился ко мне с полушутливой просьбой написать об Ирбеке Кантемирове, не смог не рассмеяться: это я-то, мол, выросший на ударной стройке большого металлургического комбината в Сибири писатель-романист, да вдруг — о цирке?!

«Да ты сперва сходи посмотри на Ирбека! — горячился Жора. — Ты сперва познакомься с ним!..»

Я поддался: ходил, посмотрел и познакомился.

И три десятка лет с тех пор остаюсь «внештатным», но, может быть, самым преданным биографом не только Великого Джигита Ирбека, светлая ему память, но и всех остальных осетинских наездников из блестящей династии Кантемировых.

Не они ли, в конце-то концов, и разбудили мирно дремавшего во мне и кубанского казака, и — кавказца?

Высокое их искусство не то чтобы вошло — как на скаку ворвалось в творческие замыслы и совершенно непредвиденно, самым неожиданным образом — о чем бы не писал, стало воплощаться посреди текста «посторонних» рассказов и повестей и зажило в них своей особой, но вполне

естественной жизнью... Это, пожалуй, и есть взаимопроникновение национальных культур, на которое всегда был щедр наш Кавказ, которое веками свивало в одно мощное и жизнестойкое древо культуру той самой единой и неделимой России.

Разве можно ее нынче представить без той высоты мастерства и бесстрашия, которую вот уже век подряд держат джигиты «Али-Бек»?

Ведь это все равно, что представить себе мир без лошади и без наездника на ней...

Спасибо Вам, осетины!

Спасибо, Алания, за дружбу!

И — за надежду!

Гарий Немченко

«ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ»

НА ТОРЖЕСТВЕ «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Вам приходилось переживать невидимое глазом, а едва уловимое лишь душой ощущение встречи со старым другом, которого уже нет на белом свете?.. Вернулся, откуда не возвращаются, на минутку, не больше, чтобы побыть рядом и безмолвным своим, бесплотным появлением о чем-то напомнить, а то и подбодрить: не вешай, мол, носа! Не опускай головы!

Странное это ощущение, странное. И грустное, само собой. И — счастливое.

В громадном киноконцертном зале гостиницы «Россия», где шло вручение премий «Российский национальный Олимп», сидел рядом с пригласившим меня на это торжество генеральным директором Западно-Сибирского металлургического комбината Рафиком Айзатуловым, подстать событию одетым в идеально шитый строгий костюм с черной бабочкой под воротником ослепительно белой рубахи... С улыбкой поглядывал на давнего своего товарища, радуясь и за него, и за все стоящее за ним чумазое на работе с головы до ног братство сталеваров, коксохимиков, горновых — всех тех, кого за трудную, за ломовую работу зовут «медведями», и сердце вдруг тоненько кольнуло, холодок ознобил волосы на затылке: и Юра тоже здесь! — вдруг подумал. — Юр-бек. Ирбек Кантемиров!

Уж не потому ли, что так любил эти сибирские края, как раз Новокузнецк, нашу Кузню, и соседний Прокопьевск — шахтерскую Прокопу? Или дело в самом этом гигантском зале, на просторной сцене которого знаменитый наездник не раз появлялся на «белом коне» — на соловом своем, в еле заметных яблоках жеребце Асуане, — и зал, переполненный в такие вечера земляками, шумно вставал навстречу своему кумиру — древним искусством джигитовки покорившему весь мир национальному герою маленькой гордой Осетии.

Постановщики нынешнего торжества возвели на сцене символизирующий Олимп высокий подиум, на котором сперва появлялся награждаемый, только потом спускавшийся вниз: из соседства с небожителями — к нам, грешным... Чуть ли не также начиналась одна из старых цирковых программ Кантемировых: тогда, правда, за спиной стоявшего на возвышении мальчика-горца вспыхивали на

экране под куполом заснеженные Кавказские горы, и мальчик сбегал по ступенькам вниз — навстречу вызванной свистом верной лошадке...

Что, скажут, за фантазии?

Но так оно в моем сознании было: вслед за Нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, только что получившим вместе с именной статуэткой «Золотого Пегаса» почетный титул «Человек-легенда», на подиум поднялся сибирский мой товарищ Рафик Сабирович Айзатулов, для друзей — «Рафик Западно-Сабирович», поскольку возглавляемый им комбинат — Западно-Сибирский. «Стальной Раф». С дипломом в рамке под стеклом и крылатой фигуркой «Золотой Олимп» вернулся на место и спрашивал теперь все еще строгими глазами: мол, как?.. Все нормально? Не подкачал? Так ли сказал в ответ?

И я толкнул его плечом, поднял молча большой палец — мол, порядок, молодец, как всегда — но тут же у меня мелькнуло опять: и Юра тут с нами, с нами! «Приписной» сибиряк Ирбек Алибекович. Давно «олимпиец»!

Разве боги, живущие на горе Олимп, не были тоже горцами? Разве Ирбек, в многонациональной нашей России ставший символом блестящего кавказского рыцарства, не был достоин самых громких общественных титулов и самых высших наград? Очень хорошо его знавший, отдаю отчет в том, что говорю: он был бы своим, и среди высокопочтенного общества олимпийцев на знаменитой вершине, и у сегодняшнего ее земного подножия...

Как ясно вижу его простодушно-мудрую улыбку: и всепонимающую, и — всепрощающую. Как отчетливо слышу негромкий голос, согретый характерным для него дружелюбным юморком: «Не рассказывал тебе? Когда наши приезжали в Москву прошлый раз. На очередной „день Осетии“. Знал, что опять придется нам с Асуаном в „России“ на сцену выезжать — иду заранее, чтобы сложностей потом никаких. Главного администратора нет, а в заместителях новенькая. Вы что? — говорит. — В своем ли уме? Кто вам позволит теперь на сцену на лошади выехать? Нет, хватит! У нас недавно Газманов выехал — и чем это кончилось? Конь испугался, шарахнулся и вниз прыгнул. Мало того, что переломал несколько кресел — знаете, что в первом ряду случилось с дамами? Концерт пришлось останавливать... Спрашиваю у нее: Газманов — это кто? А она: с луны свалились — не знать Газманова?! И ещё хотите на эту сцену — на лошади!»

Любил потом Ирбек припоминать эту историю: как чувствовал, что зажавшаяся и почти спившаяся с кругу, давно забывшая о мужестве и чести Москва не посвятит ни на одном телевизионном канале даже нескольких секунд прощанию с ним. С человеком, который столько десятков лет не только своей стране — всему свету напоминал о славе и храбрости: о джигитстве.

Как не было Великого Осетина!

У страны теперь иные герои...

Однажды, в «день ВДВ», у сильно подвыпившей «десантуры» я отобрал в московском метро молоденького паренька-кавказца, и, пока он нарочно медленно — чтобы соблюсти достоинство — уходил, а я сдерживал горячо дышавших всеми сорока градусами молодцов в тельниках-безрукавках, чего только в моей голове не пронеслось!

Сам-то я — не голубоглазый блондин, недаром черкесы обо мне — мол, наши у ваших ночевали. Поймет ли, что его русак защитил, ответит ли потом добром на добро, заступится за кого-то из наших мальчишек на Кавказе?.. И сколько это еще будет по всей России длиться и длиться, навязанное нам профессиональными разрушителями народного единства противостояние «лицам кавказской национальности» и хамский напор не лучших из них — в ответ?

«Пусти, отец, пусти!.. Ты тут в Москве не знаешь...»

Знаю, ребятки. Немножко больше, чем вы.

Потому-то и хочу вас остановить.

Все куда сложнее, чем вам кажется. Куда запутанней. Куда любопытней.

Многое, и в самом деле, — страшнее некуда. А многое — куда благородней.

Если высоко держать голову и почаще глядеть на небеса, где обитают герои прошлого, а не на столичную блевотину под ногами, по которой с шелестом проносятся на своих «шестисотых» претенденты на роль благодетелей отчизны.

Хваленое европейское рыцарство когда-то с них начиналось. С «лиц кавказской национальности». С гордых — теперь-то, случается, и на пустом месте — сынов Кавказа.

А мы нынче пугаем ими детей.

Только ли они в этом виноваты?..

Все вспоминаю знак 4-го Нижегородского Его Императорского Величества драгунского полка, которому Россия во многом обязана своими успехами при покорении Кавказа: ветки лавра по бокам, край восходящего, с лучами разной длины солнца на голубом фоне и — надпись по кругу: «Нижегородец не знает заката».

Ни в бою. Ни в мирных трудах. Ни — в славе.

Мы-то с вами, когда так в последний раз служили Отечеству? Не слишком давно ли?!

Собравшиеся в концертном зале «России» чествовали теперь тех, кто не сдался в почти безвыходном положении, кто не только упрямо сопротивлялся разрушению — пядь за пядью продвигался вперед.

«Где, хочется, правда, спросить, можно видеть все эти успехи и достижения, о которых нам тут рассказывают лауреаты?» — с горькой иронией спросил один из устроителей праздника.

И чуть ли не с торжеством я снова подумал о своем старом друге-наезднике, прибывшим в зал на этот раз на невидимом, как и сам он, крылатом коне, готовом опустить седока где угодно, когда угодно... О достижениях Кантемирова не надо спрашивать, где они: сам, вскормленный духом прошлого богатырства, стократ вернул его ныне живущим, а, значит, вручил будущему, потому что бессмертен рыцарский дух и бессмертно стремление непокорных к высокому мастерству и отчаянной удали: это — дрожжи, которые не дают человечеству закиснуть.

Вышло так, что около трех десятков лет я бывал равнодушным свидетелем и мало кому видной потной работы Великого Джигита и — громкой его славы, искушение которой он пережил с терпеливым достоинством, какое мало кому матушкой-природой дается: недаром же испытание «медными трубами» включает ряд земных испытаний человека — после огня, после воды.

В разное время я написал о нем достаточно много и строгих очерков, и дружеских зарисовок... Ирбек Кантемиров стал не только участником наших общих размышлений, но и одним из непрременных героев моих романов и повестей — также естественно, как его искусство стало неотъемлемой частью русской культуры, не говоря уже о многонациональной российской.

Как хочется, чтобы, собранные теперь вместе, эти посвященные старшему другу мои труды разных лет, рассказывающие о подлинном мастере своего дела и мудром, душевно щедром человеке слились теперь в единое, неразделимое целое.

Может быть, то была главная черта Ирбека Кантемирова: его удивительная, до конца жизни не замутненная ни тяжелыми временами, ни трудными обстоятельствами цельность.

МОЙ ДРУГ ГЕОРГИЙ

С надеждой на Божью помощь и покровительство святого Уастырджи, хранителя путников на земле — сперва о небе.

Два года назад больше сотни писателей, съехавшихся накануне в Москву со всех концов России, вылетели специальным рейсом в Якутск, на свой пленум. За день, за два перед этим от старого друга Георгия Черчесова я получил из Владикавказа бандероль с двумя только что вышедшими его книжками. Первое, что подумал, когда посмотрел предисловие к обеим: какой Жора молодец!.. Осуществил-таки, наконец, давние, которые так долго носил в себе, мечты: написал о двух легендарных земляках — разведчике Мамсурове и полководце Плиеве.

И та, и другая книжки обещали увлекательное, дорогое для меня чтение, но «мамсуровская» — «Человек с засекреченной биографией» — была и форматом гораздо больше, и куда поувесистей. В дорогу я взял «кар манное» издание: «Завещание полководца».

В том, что на белом свете ничего случайного не бывает, я убедился уже давно и в салоне самолета, оглядывая нашу литературную команду, испытывал особое чувство... Конечно, она поредела, и сильно, чего там, сильно! И тут взяла своё нынешняя бедность: вместо десятка-полутора известных всей России поэтов и прозаиков Северного Кавказа — всего трое. Два адыгейца и балкарец. Из Осетии — никого... Но ведь недаром же лежала в сумке у меня жорина книжечка! Осетия — с нами!

Пожалуй, тут пора объяснить, откуда во мне это ревностное отношение к родине моего друга, откуда сердечное почитание аланских святынь.

Позволю себе процитировать начало моего романа «Проникающее ранение», опубликованного в Москве в 1983 году:

«Есть у вас старый друг — министр?.. У меня есть.

Мы с ним учились в одной школе с первого по десятый, правда, в разных классах. Я был „ашник“, он — „бэшник“. В восьмом меня избрали комсоргом школы, а его — председателем учкома, и тут мы, что называ ется, сошлись. Мало того что вместе часами заседали, рядом держались на вечерах, мы еще и перемены прихватывали: бежали, бывало, через огород к моей бабушке разжиться чем-либо вкусеньким.

Бабушке было уже далеко за восемьдесят, в нашей станице она еще застала те времена, когда девки, боясь похищения, ходили по воду в сопровождении казаков, и теперь, завершая жизненный круг и потихонь ку возвращаясь в свое стародавнее, она подозрительно поглядывала на будущего министра, почти каждый раз отзывала меня в сторонку и опасливым шепотом спрашивала: „Этот азиат-то твой, он хоть — мирный?..“

Мне казалось, что дружок мой все слышит, я делал страшные глаза и только с укором произносил: „Бабушка?!“ „Ладно, — ворчала она, — ладно!.. Уже и спросить низзя!“ — и совала нам в руки горячие пирожки с фасолью — таких сладких я никогда потом уже и не ел...

Алан был осетин, отец его работал в госбанке, а мой, вечный районный путешественник, занимал тогда очередную номенклатурную должность: уполминзаг. Уполномоченный Министерства заготовок.

Когда умер Сталин и на линейке вся школа навзрыд отплакала, мы с Аланом сбежали с уроков и

отправились в военкомат. Мы считали, что наша страна теперь в опасности, и потребовали у военкома досрочно го призыва в армию. Военком сказал, что дело это слишком серьезное и ему надо кое с кем проконсультроваться. Вечером отцы дали нам с Аланом хорошенькую взбучку и в конце концов вырвали у нас вынужденное обещание не валять дурака, а серьезно готовиться к выпускным экзаменам — оба мы „тянули на золото“.

Враги так и не воспользовались моментом, так на Советский Союз и не напали, и мы с Аланом постепенно перестали ездить в соседнюю станицу, чтобы тайком послать оттуда письмо уже в Министерство обороны. Жизнь наша входила в обычную колею, и, чем меньше времени оставалось до лета, тем жарче разгорались у нас споры, куда пойти после школы.

Учительница литературы Юлия Филипповна, удивительная женщина из профессорской семьи дореволюционных интеллигентов, вселенскими ветрами зане сенная в глухое наше Предгорье, не мыслила для нас иной судьбы, нежели на поприще словесности. Каждую пятницу мы собирались у нее дома, и она открывала свои девичьи альбомы со стихами Бальмонта и Апухти на, а после все терпеливо слушали мою повесть о советском капитане дальнего плавания Иванове и негритёнке Гарри, несчастном моем тезке, встреченном нашими матросами около мусорной свалки в одном из самых бедных кварталов Нью-Йорка... Алан был поближе к родимой земле — он храбро читал пьесы из жизни Нартов, легендарных осетинских богатырей... Конечно же мы были „словесники“, чего там — вспомнить все наши горячие увлечения, заумные споры, бессмысленные остроты, которые казались тогда верхом изящества.

„Что такое авантюрист, слушай?! — по-кавказски жарко кричал в парке Алан. — Это: а вон — турист!“ И показывал пальцем на розоватую под последними лучами солнца далекую макушку Эльбруса. „Какой лучший из миров?“ — громко спрашивал кто-либо другой из нашей компании. Хором ему отвечали: „Книжный!..“

Но это все, как говорится, наносное, это так, для разрядки... А жизнь свою каждый из нас посвятит чему-то, ясное дело, самому важному.

„Куда ты собрался?! Какой тебе МАИ, если у тебя очки — минус пять! А там одни чертежи“. Но Алан твердо решил стать авиаконструктором. „Какой из тебя философ?.. Ты должен стихи писать!“ Но я не сомневался, что мое призвание — двигать вперед философскую науку.

В черных вельветках на молнии и в клешах, каждая штанина которых стоила исправной дворницкой метлы, с чемоданами, перетянутыми брючными ремнями, и с пузатыми авоськами краснощеких кубанских помидоров летом пятьдесят третьего мы с Аланом приехали покорять Москву.

Он поступил в МАИ. Я — в университет. На философский.

Уже после первого семестра он надел очки на единичку больше. Я схлопотал „неуды“ по высшей математике и по коллоидной химии и остался без „стипушки“.

И в сентябре пятьдесят четвертого дорожки наши снова сошлись — на первом курсе факультета журналистики.

„Что такое авантюрист? — весело крикнул мне Алан в старом университетском дворике на Моховой. — Это: а вон — турист!“ И кивнул за ограду, мимо которой шел увешанный фотокамерами человек в тирольской шляпе с пером — может, и в самом деле первый зарубежный турист...

После учебы я распределился в Сибирь, работал в многотиражке на большой стройке, но довольно быстро ушел „на вольные хлеба“ и там же, в поселке под Новокузнецком, на Антоновской площадке, принялся писать длинные романы „о железных“ прорабах и о матерях-одиночках — их временных женах.

Алан поставил в Орджоникидзе несколько пьес, снял кино, вот-вот у него должен был выйти большой роман, но работу он не бросал, а все поднимался потихоньку по служебным ступенькам и

поднимался, пока... Но с этого я ведь начал: есть у вас старый друг — министр?.. У меня есть.

Министр из Северной Осетии — Алан Салтанович.»

Так вот, в рукописи у министра было иное имя, реальное: Георгий Ефимович. Ну, конечно, — Черчесов. Но перед публикацией я посчитал должным показать роман Жоре, он всю ночь просидел над ним в номере гостиницы «Москва», где всегда останавливался, а утром, когда я, что бы задобрить своего высокопоставленного друга, пришел с бутылкой сорокоградусной, он взорвался: «Кто с утра пьет водку?!» И в своей обаятельнейшей манере шутить добавил уже совсем тихо: «Если есть хороший коньяк...»

Потом, когда наполнил рюмки, друг мой снова буквально вскричал: «Кто на Кавказе выводит действующих лиц под их настоящими именами и фамилиями?» Я подождал-подождал и, когда продолжения не последовало, сам спросил его: «Если?..» «Если, да, — проворчал министр. — Если...» Пришлось спросить в упор: «Если это может не понравиться первому?» «Давай сперва поднимем!» — предложил мой друг.

И правда: причем тут Первый? Разве у древних героев на Кавказе не было, и в самом деле, такого обычая: называться вторым именем?

Оказалось, Жора его для себя уже придумал.

«За крестины?» — спросил я, уставши от ожидания.

Ведь что касается длительного пребывания с наполненной рюмкой в поднятой руке, мой сибирский опыт был значительно скромней Жориного кавказского и запах выдержанного коньяка, по правде говоря, давно лишил меня собственной выдержки.

«За крестины? — переспросил я. — Давай, дорогой Алан Салтанович, — поехали!»

Но роман потом понравился Первому, вот в чем дело!

И нет на белом свете ничего случайного, нет...

Спустя несколько лет я полетел в командировку в Монголию, и друг мой попросил меня непременно заехать в Дархан, навестить там нашего консула Билара Емазаевича Кабалоева и передать ему кружок сухого осетинского сыра — едва уловимый запах дымка от горского очага, который вскоре пропитал мои вещи, не давал мне потом забыть об этой миссии.

«Видите, где нам пришлось познакомиться? — печально и чуть насмешливо спросил этот уже седоголовый тогда орел, жестоким ветром занесенный с родного Кавказа, считай, в центр Азии, считай — в пустыню. — Кажется, вы писали в романе, что наш святой Уастырджи хранит вас теперь в столице... А я прошу его об этом сегодня в таком далеком краю!»

Но это было уже потом, чуть позже, а сперва о признании «Проникающего ранения» в Осетии узнал от самого Жоры: в один из следующих его приездов в Москву, когда сидели за хлебом-солью у нас дома, на Бутырской, он, словно красная девица потупясь, нарочно виноватым тоном спросил: «Послушай, а нельзя ли Алану Салтановичу вернуть родное имя?» «Да?! — вскричал теперь уже я. — Вернуть?!.. Ну, нет, брат, нет! Сегодня он Алан Салтанович, а завтра... Или у нас с тобой нет хорошо знакомого тебе крепкого паренька с таким именем?.. У меня до сих пор лежит эта телеграмма, которую ты прислал мне в Сибирь: родился мальчик, назвали Алан... Пусть теперь в книжке это останется: на добрую память тому, кто гораздо моложе нас. Кто будет нас потом помнить.»

Вид у моего друга сделался торжественный, голос чуть дрогнул: «Оставайся и дальше кавказцем в Москве — за сказанное!» «За Алана Георгича! — уточнил я. — За наследника!.. Передашь ему привет и скажешь о нашем общем решении.»

Потом произошла такая история — и чуть смешная, и трогательная... Пока «Проникающее ранение» печаталось в центральном журнале да потом в книжке, его знали мало, но когда его двухмиллионным тогда тиражом опубликовала «Роман-газета», читателей сразу прибавилось ой сколько. Заодно, конечно, и новоявленных критиков, и любителей строгой исторической истины. Почти тут же, как вышел номер, домой мне позвонил один из этих недремлющих ветеранов, которые окопались теперь возле военного Архива в Подольске, как в сорок первом — под Москвой. Одним из героев самой первой, «осетинской» главы романа был Исса Александрович Плиев, и добровольный критик спросил теперь уже дребезжащим, но от этого не менее суровым голосом: «Не подскажите, кто и когда присвоил Плиеву звание маршала?.. По нашим сведениям он был до сих пор генералом армии».

И тут же я позвонил своему другу во Владикавказ: мол, как же мы с тобой проглядели эту досадную неточность?.. Как после этого я теперь у вас появлюсь?! А он вдруг сказал: разреши поздравить тебя! Вчера у нас в большом дружеском кругу был праздник, об этом тоже шел разговор, и меня просили тебе передать, что ты всегда будешь желанным гостем в любом осетинском доме. Старшие говорят: наконец-то в этой Москве нашелся человек, который справедливо написал, что наш Исса — Маршал!.. Когда ты собираешься приехать? Тебя ждут!

Роман переиздавался потом еще и раз, и другой, но я так и не пошел на поводу у сторонников строгих исторических фактов: в «Проникающем ранении» Исса Александрович Плиев остался маршалом. Или, и правда, не заслужил?!

В салоне самолета, летевшего в Якутск, потихоньку чокались пластмассовыми аэрофлотовскими стаканчиками и все громче гомонили, а я сидел с Жориной книжечкой в руках и все повторял про себя: ах, молодец!.. Какой молодец! Наконец-то он ответил всем этим архи-демократическим умникам, которые, возвышая Никиту Хрущева, списали трагедию в Новочеркасске на счет бесстрашного и благородного воина-осетина... Я — казак! Я знаю, что этого не только не было — этого не могло быть: приказа Плиева о расстреле мирных жителей в столице тихого и великого Дона!

Сколько рассказов о Плиеве я мальчишкой слышал еще в станице от наших, от кубанцев, и сколько уже специально, когда собирал материалы о казаках в годы Отечественной, расспрашивал потом и донцов, и терцев, и астраханцев, и уральцев с сибиряками — кого только не было в славном кавалерийском корпусе, созданном Кириченко и после переданном Плиеву. Но кроме многих личных своих историй, как бы отдельных, почти все они непременно рассказывали одну общую: когда в очередном из бесстрашных рейдов по немецкому тылу их уже настигали, брали в кольцо, и ничто, казалось, уже не могло поднять на ноги смертельно уставших, совсем обессилевших казаков, Плиев надевал белую бурку, с нарочитой легкостью вскакивал на коня и начинал свой уверенный молчаливый проезд к линии атаки.

Белая бурка была знаком, что конников поведет он сам, пойдет первым, и все начинали стремительно, откуда только силы брались, вставать на ноги, подтягивать лошадям подпруги и тоже взлетать в седло... Уже через много лет, когда они давно состарились, глаза у них опять зажигались огнем: «Откуда сам Исса силы брал — вот чудо!»

Я все продолжал чтение жориной книжечки, и вдруг глаза у меня щипнуло, грудь наполнил невольный вздох: вот как оно в войну было-то!.. Вернулся к началу отрывка и перечитал еще раз: «На Букановском рубеже произошел уникальный случай. Разведка донесла, что враг готовит наступление. Плиев принимает решение упредить его внезапным встречным ночным ударом. Но времени было в обрез — приближалась полночь: шифровальщик погиб, а передавать распоряжение о подготовке наступления по проводной или радиосвязи открытым текстом означало выдать замысел врагу. И тогда Плиев, зная, что почти во всех частях кавалерии служат земляки, приказал, чтобы в полках к рациям пригласили осетин и передал им приказ открытым текстом на осетинском языке».

Нет на свете ничего случайного, нет!

Пленум, на который мы летели в Якутск, должен был пройти под символическим названием: «И

назовет меня всяк сущий в ней язык». Эта пушкинская строка как будто звала в трудный наш час к неразделимому единству России, и я сидел над «Завещанием полководца», задумавшись... Какой пример братства!

Хорошо помню, как в годы студенчества чуть ли не на любой вечеринке Жора принимался пылко рассказывать, сколько среди осетин Героев Советского Союза. «На душу населения» выходило куда больше, чем где-либо по необъятной тогда, и в самом деле, стране — незаметно, чтобы не обижать друга, мы посмеивались... Но разве это, и правда, не так?

Много лет спустя в битком набитом зале я сидел во Владикавказе на II съезде осетинского народа — пригласили как московского атамана и заместителя атамана Союза казаков России. Это было уже перед самым так называемым осетино-ингушским конфликтом, и один из выступавших горько сказал: «Ингуши часто прерывают переговоры. Говорят: мы хотим посоветоваться со стариками. Почему бы вам не сделать то же самое?.. И мы должны были ответить: у нас почти не осталось стариков — все сложили головы в Отечественной войне!»

Тогда у меня тоже щипнуло глаза: если бы обо всем этом хорошо знала Россия! Но купленная — а то мы, профессионалы, не знаем этого?! — «свободная» пресса и продажное телевидение все продолжали усердно раскачивать колыбель, в которой денно и ношно нянчила «боль репрессированных народов» — какое они в конце-то концов выкохали чудовище!

Боль не там, где постоянно кричат о ней. На Кавказе тем более. Об этом терпеливо молчат: как в давние времена молчали раненые воины, когда из тела у них доставали стрелу. Доставали пулю.

В Якутске на пленуме я рассказал и о книжечке моего старого друга, и зачитал рассказ о случае на Букановском рубеже. В хорошо изданном отчете о пленуме моя речь вышла под заголовком: «Казацкая слава.» Говорил я о казачьей литературе и о казачьих писателях, о многонациональном составе казачьего братства — этой давней российской скрепы — о традициях куначества и побратимства, так что пример с одним из «сущих в ней языков» — осетинским был как нельзя кстати, тем более что казацкая слава и осетинская последние два века были во многом неразделимы. Недаром ведь после Октября одни вместе бедовали на Лемносе и в Чатталдже, мостили потом еще крепче объединившую их «Русскую дорогу» в горах Югославии и скитались потом по бесконечным дорогам Европы; другие вместе валили лес в Красноярском крае, мыли золото на Колыме, били шахты в Кузбассе...

В Союзе писателей я выпросил несколько экземпляров со стенограммой пленума, и один из них тут же отправил в Осетию. Друг мой сильно болел: как хотелось мне хоть слегка его поддержать!

Но бессильными вскоре оказались даже самые умелые врачи и самые целительные лекарства. Мой товарищ юности, мой самый давний и самый душевный друг Жора Черчесов, Георгий Ефимович покоится теперь во Владикавказе на Аллее Героев, неподалеку от тех, о ком он писал с такой любовью, с таким уважением, с таким достоинством. А «Завещание полководца» стало и его завещанием: нам всем.

В один из приездов в Осетию, когда Жора еще был жив — приехал, чтобы на Северо-Кавказской киностудии начитать дикторский текст для нашего, уже третьего с режиссером Игорем Икоевым совместного фильма, «Казачий круг» — я жил в номере гостиницы, бывшей обкомовской, напротив нынешнего Лицея искусств, и однажды мой друг, с которым каждый день встречались либо перезванивались, сказал мне: «Сегодня на вечер ничего не планируй, со мной будешь ужинать. Тут делегация из Ливана, кое-кто из них достаточно хорошо знает русский — тебе интересно будет послушать».

«Неужели вы здесь не понимаете, что Бейрут — это только пробирка, в которой американцы ведут первый опыт? — говорил мне вечером за ужином мой сосед, симпатичный пожилой ливанец. — Потом через Балканы пожар пойдет дальше и скоро доберется до Кавказа. Не дай вам Бог увидеть, что такое — оружие у каждого, что такое — война по ночам...»

Уже полыхнуло в Южной Осетии, уже назревало в самом Владикавказе, и все-таки это казалось невероятным!.. Неужели мы, бок о бок устоявшие в схватке с чудовищно сильным противником, рассоримся теперь и разбежимся под тем самым «бархатным», иногда едва ощутимым натиском пропагандистской войны?

Но она становится все беспощадней, все разрушительней...

... Дружили наши с Жорой отцы, и наши мамы ходили одна к другой, чтобы как раз об этом и посудачить, а то, бывало, и попечалиться: не слишком ли они на этой почве увлеклись проклятой «белоголовой»? Потом они ходили друг к другу поинтересоваться, что там было у каждого из нас в последнем письме из столицы и между прочим проверить: сходятся ли наши с Жорой, как бы теперь сказали, версии определенных событий?.. Еще бы не сходились! Ведь зная о взаимных походах наших родительниц, мы так тщательно взвешивали вдвоем, в нашем общежитии в Москве на Стромынке, всякое свое даже незначительное сообщение.

Когда у нас в Новокузнецке родился сын, мы назвали его Георгием — и в честь моего родного дяди, магаданского страдальца, и в честь друга — осетина. Встретились наши дети уже в Москве, когда Алан учился в аспирантуре МГУ, и тоже горячо подружились. Уже подготовлены к знакомству и наши внуки — и те, и другие родители столько уже успели им рассказать, но вот беда — маленькие Черчесовы гостили у нас по дороге из болгарского Пловдива в свой Владикавказ, когда их ровесников Немченко в Подмоскovie совсем засыпало снегом...

Удивительное это все-таки дело: у наших взрослых сыновей, старшего и младшего, появился свой круг осетинских друзей — уже в Москве. Воспитанные в возвышенном, не побоюсь этого сказать, уважении к древней Алании, на чьих разрушенных городищах раскинулись в наших родных местах на Кубани и черкесские аулы, и казачьи станицы, они как будто и сами излучают его, распространяют вокруг, и мне бывает радостно в их манерах, в поведении замечать отголоски горского этикета — особенно при нынешнем нашем российском неустройстве и при всеобщем, пропагандируемом и прессой, и телевидением псевдо-столичном хамстве.

В Союзе казаков несколько лет я за это «отвечал» — за зарубежные и внутрироссийские связи, и не то что кабинет — вся квартира наша завалена книгами, дружескими письмами и архивными справками из Башкирии, Калмыкии, Татарстана, Якутии. Все, что хранится в них, давно вросло в меня, как в землю вырастает трава и дерево — я будто ощущаю те жестокие ветры, которые проносятся нынче над «кронами» этих народов, пытаюсь не только переломить ствол, но и вырвать глубоко уходящий в общую российскую историю корень. Слава Богу, раскачиваются у вековых, у тысячелетних великанов только верхушки...

Пожалуй, самый жестокий ветер пронесся еще недавно над всей Осетией — сперва над Южной, потом над Северной. Подскажут: мол, прежде, чем налететь на Чечню.

Чечня — это отдельный разговор. Сегодня мы — об осетинской боли.

И старые друзья, и новые товарищи, и едва знакомые люди передали мне столько документов разных времен, столько книг, брошюр газет и листовок, что иногда я и впрямь думаю: может, им хоть чуть легче там от того, что кто-то искренне разделяет их боль в оболваненной, ставшей ко многому равнодушной Москве.

Но слава Богу!.. Не только печаль и скорбь связаны с Аланией в моем сердце.

Теперь уже больше двадцати лет назад мой покойный друг Георгий Черчесов познакомил меня с Ирбеком Кантемировым, цирковым наездником, профессиональным джигитом, а самое главное — удивительным человеком, прожившим очень сложную жизнь, но и к почтенным годам сохранившим в себе и незамутненную всемирной славою душу, и все самые лучшие, самые благородные качества легендарных кавказских наездников тех времен, о которых сложены героические песни и написаны толстые романы... Винюсь, дорогой Ирбек! Признаю, дорогие братья — осетины, как мы говорили раньше, — ошибки и упущения!.. Я такого романа пока не сочинил. Однако и раз, и другой я сперва

написал о славной династии Кантемировых в центральных журналах, а потом осетинские джигиты сперва эпизодически, а потом уже постоянно стали появляться на страницах моих рукописей, как прописались в них, и «осетинские» рассказы вошли в мою прозу также естественно, также неразрывно, так прочно, как давно вошли не только в русскую — в мировую культуру подвижническое искусство и титанический труд всех Кантемировых, цирковой династии которых скоро исполнится сотня лет.

Это не я один — это мы с Ирбеком — и, надеюсь, наше намерение одобрят старший из братьев, Хасанбек, — приглашаем вас в недалёкое путешествие по этим книжным страницам, появившимся в разное время, вплоть до сегодняшнего, когда пишутся эти строки, февральского дня... Но об этом дне рассказ впереди, он будет все завершать.

А пока — добро пожаловать, братья!

ДЖИГИТЫ

Невольный «виновник» этого очерка — мой старый друг из Орджоникидзе, который как-то был в Москве лишь проездом и заскочил ко мне только на минуту.

— Хотелось повидаться, а времени в обрез. Надо еще заехать к Кантемировым, передать кое-что из дома, да боюсь, уже не успею. Может, ты к ним сходишь, передачу отнесешь? Я, естественно, спросил:

— А это кто — Кантемировы?

И тут дал себя знать кавказский темперамент моего друга. Вскинув руки с растопыренными пальцами, он, что называется, закричал:

— Как?! Ты не знаешь джигитов Кантемировых?!

Словно захлебнувшись от изумления, смолк, и только в широко раскрытых глазах читался немой вопрос: «Чем же ты здесь, интерес но, занимаешься, если — не знаешь?»

Мне стало стыдно.

И ходил я сперва в цирк на Ленинских горах, посидел на представлении. Прямо туда отнес потом передачу и остался, чтобы снова поглядеть на осетинских наездников. А через неделю засобирился к ним вдруг опять.

И сколько еще потом просидел на галерке среди зрителей и рядом с рабочими в униформе простоял в полумраке проходов совсем недалеко от манежа, сколько неизвестно зачем проторчал за кулисами, сколько пробыл на репетициях, глядя, как в галопе, кося выпуклым глазом, мчатся по кругу кони, как вскидываются над ними упругие тела отчаянных всадников... И я ни разу не заскучал, ни разу не сказал себе, что хватит, насмотрелся, ни разу не поймал себя на том, что перестал удивляться красоте лошадей или безудержной смелости наездников. Странное дело: чем чаще я приходил теперь в цирк, тем больше хотелось побывать там еще, и на цирковую конюшню с ее особенным, таким не городским запахом, и в гардеробные, где рядом с бурками цвета воронова крыла и белыми, как снег в горах, косматыми папахами висят нарядные, с кавказским набором уздечки, влекло не простое любопытство, а словно желание постичь какую-то древнюю человеческую тайну...

Когда я глядел в те дни на стройного, в черкеске, молодца, который во весь рост вставал на седле скачущей лошади, разворачивал плечи и подбородок повыше приподнимал, щедро улыбаясь притихшей публике, когда с замиранием сердца следил за чьим-нибудь распластанным поперек спины летящего во весь опор жеребца, напряженным, словно струна, телом, я часто спрашивал себя: почему это так неожиданно близко мне? Почему так волнует?

Оттого ли, что родился и вырос в предгорной кубанской станице и самое яркое зрелище моего детства — это скачки и джигитовка? Оттого ль, что благодаря гению Пушкина, Лермонтова, Толстого все мы в душе — немножко «кавказцы»? Или все куда проще и вместе с тем гораздо сложнее, и в каждом из нас до сих пор еще жив далекий наш пращур-смельчак, первым оседлавший коня?

Здесь же каждодневно как будто шла строгая проверка: на что способна прирученная человеком лошадь? На что он, приручивший ее когда-то, а теперь потихоньку забывающий о ней, — способен сегодня сам?..

Перед выступлением конников в цирке темнеет, и на экране под куполом появляются укрытые вечными снегами горы Осетии. Потом луч света выхватывает из темноты фигуру мальчика в папахе и в черкеске. Мальчик призывно свистит. В ответ слышится ржанье, и, снизу, с манежа, к нему бросается верный конь. Мальчик вскакивает в седло и уезжает «в горы»... Ты еще размышляешь над этим прологом о преданности животного человеку, а свет уже заливает манеж, на котором под звуки осетинской мелодии плывут рядом молодая женщина в белом национальном костюме и гибкий всадник на серой лошади.

Пируэты, пассаж, испанский шаг, перемена ног на галопе — оставим все это знатокам да тонким ценителям, которые долго могут расказывать, каких трудов это стоит заслуженному артисту РСФСР Ирбеку Кантемирову, единственному из цирковых наездников, кто работает с лошадью не на жестком мундштуке, а на уздечке... А так вот, сразу тебе покажется, что грация, с которой кружится лошадь, — дело совершенно естественное, что танец для нее — истинное наслаждение и что Кантемиров лишь сдерживает ее, чтобы за ними за обоими попевала изящно и величаво помахивающая тонкими руками партнерша.

Потом на манеж в бурках да в папахах врываются всадники, каждый из которых держится на спинах двух рядом скачущих лошадей, и ты узнаешь в них предков осетин — богатырей-аланов. Кто же еще кроме них позволит себе играючи стоять в полный рост, когда кони не только бешено мчатся, но вдобавок показывают норы!

И все остальное, что в парных или одиночных трюках проделывают потом осетинские джигиты, тоже походит на богатырские забавы...

Вот скачущий всадник рвет с головы папаху, бросает ее высоко вверх и, пока она падает, делает полный круг, подхватывает ее на лету. Вот он уже с двумя шашками в руке ждет недалеко от края манежа и, когда мимо пронесется лошадь, вскакивает ей на спину и, стоя, начинает жонглировать клинками, а она в это время прыгает через барьер... Другой, держась за лук, вылетает из седла, толчок сбоку обеими ногами, и он снова на коне, только сидит уже не в седле, а перед ним — лицом против хода... Вот двое на полном скаку спускаются под живот и, откинувшись, висят по обе стороны от лошади. А вот на одном стремительно летящем коне трое вскинулись вверх ногами — тройная стойка.

За двадцать минут — двенадцать сложнейших трюков, и все в невероятном темпе, подогреваемом хлопанием бича, с которым поворачивается посреди манежа Ирбек, все с гиканьем, с мгновенной, но дерзкой улыбкой публике, с конским храпом, с отчаянным выкриком... Смотришь на этот ликующий вихрь, и сердце сжимается и от восторга, и одновременно от зависти: разве эти ребята чего-нибудь на свете боятся? Разве бывает у них дурное настроение? Разве когда-либо они болеют?

И самому тебе хочется расправить плечи и голову повернуть по-орлиному.

Однажды, когда выступали наездники, я случайно заметил, как в соседнем ряду молодая женщина

локтем подтолкнула своего рано располневшего спутника, с достаточной долей яда негромко спросила: «А ты?» В ответ он только покачнулся, усаживаясь поудобней. А мне вдруг стало обидно и за него, и за себя — за нас за всех, рановато от неподвижной жизни начинающих тяжелеть: зачем нас так?! Могут ведь другие люди — значит, где-то, пусть слишком глубоко теперь, это заложено в каждом из нас. Потому и отбиваем ладоши — поблагодарить хотим за напоминание о нашей общей человеческой удали. В этом суть.

И все-таки интересней мне было за кулисами.

Рано утром, когда цирк, гулкий и пустой, еще находится как бы в полусне, когда тишину тут, словно в дальнем селе, нарушает порой лишь лай собак да лошадиное ржанье, начинают сходиться на репетицию вчерашние джигиты — обыкновенные ребята, которых не сразу отличил бы в столичной толпе. Потом из гардеробных своих они вы ходят, что называется, в рабочем, и уже по истертым галифе, по лоснящимся рейтузам, по истончившимся свитерам да выцветшим от частой стирки рубашкам можно, пожалуй, определить, как постигается оно, это редкое нынче ремесло, как он достается, цирковой хлеб...

Кто сперва идет на конюшню, чтобы взглянуть на своего питомца, а кто — к спортивным снарядам, которыми обычно пользуются соседи по программе — гимнасты. Потом всадники, уже верхом, один за другим неторопливо тянутся к манежу, и тут лошади, идущие шагом, постепенно образуют медленный круг, — от них ничего пока не требуется, это разминка. И конники заняты общей беседой, голоса их звучат мирно, совсем по-домашнему. О работе пока ни слова, не дошло — только поглянут иногда на Алмаза, вороного жеребца Юры Дацоева.

В первом ряду совершенно пустого и тихого зала, недалеко от арены, усаживается Оскар Оттович Роге, старый друг Кантемировых и добровольный их консультант. Тоже и раз, и другой посматривает на Алмаза, а потом, когда Юра Дацоев оказывается рядом, спрашивает так, словно продолжает давно начатый разговор:

— А может, ты хоть на секунду перестал его контролировать и он это почувствовал?

И Юра сперва делает круг, только потом, опять приблизившись к Роге, качает головой:

— Нет, я всегда держу, я ведь знаю... Просто в последние дни что-то ему не нравится.

И уже вослед Юре Оскар Оттович говорит озабоченно:

— Вот и надо подумать: что?

Алмаз всегда отличался нелегким норовом, но в последнее время характер у него совершенно испортился. Вчера во время представления Юра поднял его «на оф» — это «свечка», когда лошадь стоит только на задних ногах, — и с верхнего положения Алмаз резко опрокинулся на бок, почти навзничь. Хорошо, что рядом были другие лошади, и Юру успели подхватить. Это вчера. А что будет нынче вече ром? И что — завтра? А Юре и без того есть о чем подумать.

Не знаю, или оттого, что Юре тогда приходилось трудно, но он не сдавался, или оттого, что так тепло и так по-отечески заботливо говорил о нем Ирбек Кантемиров, у меня, успевшего по-мальчишески горячо полюбить всех джигитов, к Юре Дацоеву была особая симпатия... Не исключено, правда, что точно так же я скажу потом о ком-то другом: узнав осетинских наездников поближе, трудно остаться хоть к кому-либо из них беспристрастным. Однако пока речь о Юре.

В труппу Кантемировых попал он мальчишкой, а сейчас ему далеко за тридцать, и по закону для всадников — двадцать лет на манеже — через два года ему пора и на пенсию. Юра у мамы один, и у него, кроме нее, — тоже никого, жили они нелегко, и в то первое время, когда сын стал зарабатывать самостоятельно, мама была, конечно, счастлива. Но время брало свое, стала она прибалывать, а теперь болезни и совсем ее одолели. Когда случаются у сына гастроли на роди не, приедет мама из Садона в Орджоникидзе, денек побудет, а к вечеру уже собирается обратно:

«Шумно тут, Юрик, голова раскалывается...» И письма ее теперь все на одну тему: ехал бы ты, сынок, домой и жили бы мы, наконец, вместе. Смущает Юру деньгами, которые он аккуратно посылал ей все эти годы и которые она, конечно, не тратила, а все до копейки откладывала...

А может, и в самом деле? Сменить цирковую лошадь на собственную легковую машину — пусть самую недорогую. Или купить в горах маленький домик с крошечным садом и обязательно с цветником — пусть мама хоть на старости лет спокойно отдохнет...

Оттого, что я знаю об этих его заботах, мне, наверное, кажется, что Юра Дацоев поглядывает иногда на Кима Зангиева, который едет впереди него...

Киму уже под пятьдесят, он — кроме братьев Ирбека да Мухтар-бека Кантемировых — самый давний участник трупы. Уже несколько лет назад он мог бы уйти на пенсию, но все не решится повернуть судьбу. Однако все реже и реже забирает он теперь в поездки семью. Одно дело взростеют дети, и, если уж не пошли в отца, пусть спокойно себе учатся дома, — нечего им сидеть с учебниками по разным углам комнаты в шумном цирковом общежитии. Другое — совсем стал допекать застарелый радикулит. Нет-нет и опять схватит спину, словно клещами...

Выпрямляясь в седле, тыльной стороной ладони Зангиев незаметно трогает поясницу, но Юра Дацоев ловит взглядом это движение: надолго ли еще хватит Кима? Или пора им, в самом деле, упротить Ирбека: пусть добьется гастролей подалеже — в Сибири или на Севе ре. Чтобы пенсия вышла потом у них с Зангиевым посолидней.

— А ты ничем его не обидел? — еще через круг спрашивает Роге.

— Может, ему просто надоело? — вопросом на вопрос отвечает, проезжая, Дацоев. — Захотел обратно на конзавод?

И Роге, которому, судя по всему, не дает покоя поведение Алмаза, молча приподнимает плечи и клонит голову набок: мол, темное пока дело.

Потом проезжает мимо него тонкий, словно мальчик, Таймураз Дзалаев, приветливо улыбается Роге, и тот спохватывается:

— Как ухо?

Таймуразу приходится сильно повернуться в седле:

— Вчера вечером сделал стойку, в голову ударило так, что думал, упаду...

И еще один круг.

— Тебе надо попариться, Таймураз! Ходишь в баню?

— У нас тут душ.

— Банька тебе нужна. Русская. Хорошая банька.

Едут рядом молодые Валерий Фарниев и Альберт Гусалов. Обычно не очень разговорчивые, сейчас они, не торопясь, рассуждают, скоро ли выйдет снова на лед тетка Фарниева, Харламов, и хоть рассуждение строится на основе цирковых травм, лица у них, как всегда, добродушно-сдержанны. Значит, у этих нынче все хорошо и на душе спокойно.

Покачивается в седле младший из братьев Кантемировых — сорокатрехлетний Мухтарбек. Он высок и широкоплеч, под легким, надетым на голое тело шерстяным пуловером угадывается мощная, как у сельского кузнеца, крутая грудь, спина тоже бугрится тугими мышца ми, а черная густая борода придает правильному, с крупными чертами лицу выражение не только внешней, но и внутренней

мощи... Это он ловит папаху, он без разбега, с места, вскакивает с шашками в руке на спину скачущей лошади, и еще многое из того, чего не умеет почти никто, делает Мухтарбек Кантемиров, дядя Миша, на которого то и дело поглядывает едущий вслед за ним девятнадцатилетний Руслан Козаев.

Руслан с джигитами уже четыре года, без лошадей свою жизнь он теперь не мыслит, но есть у него и еще одна, тайная привязанность: автомобили. Любую марку, какую можно встретить в Москве, назовет он издалека, ответит, сколько в каком моторе «лошадей». А когда приезжает в цирк повидаться с земляками москвич дядя Нугзар Журули, Руслан с охотой уступает его маленькому сынишке своего Алана, а сам садится за руль новеньких «Жигулей». И дядя Нугзар ни сколько не боится за свою машину, потому что баранку держит Рус лан так же уверенно, как повод, и ездит на машине так же ловко, как в цирке на коне.

Правда, скоро придется Руслану расстаться с цирком, потому что кончилась отсрочка, и осенью он пойдет в армию. Служить он будет, правда, в кавалерийском полку, что в Голицино, под Москвой, вместе с другими ему придется сниматься в массовках, но это как раз хорошо, не потеряет форму, а там — опять цирк, опять — манеж, опять — Алан... Кто на нем, интересно, станет работать, пока Руслан будет в кавалеристах? Может быть, едущий вслед за ним Гена Туаев?

Гене Туаеву двенадцать лет. С ним все ясно. И неясно пока ничего.

Озорно поглядывая на старших, многое — почти как младшему брату — прощающих ему своих друзей, он, может быть, думает, кого бы из них закрыть опять на ключ в гардеробной... Или лучше перекрыть воду в душе, когда кто-либо из молодых ребят намылит голову?

Стихают разговоры — всадники переходят на рысь. Еще несколько кругов, и они пустят коней в галоп...

А мне хочется вернуться на полчаса назад и заглянуть в гардеробную, где готовится к репетиции их глава.

С братьями Кантемировыми природа распорядилась весьма решительно. В отличие от младшего, Ирбек сухощав и жилист, и, глядя на его классически стройную и такую гибкую, несмотря на сорок семь лет, фигуру, я другой раз не без улыбки думал о том, что она, и правда, могла бы послужить идеальным доказательством истины, которую любят повторять на Кавказе: мужчина тогда джигит, если под ним, лежащим на боку, пролезет взрослая кошка...

Волосы у Ирбека русые, глаза светлые, и тонкая ниточка усов, придавая узкому лицу выражение слегка ироническое, будто подчеркивает и открытый нрав, и склонность к дружеской шутке. Потом, когда я уже мог о чем-то судить, я лишь убедился в своей правоте, — а так мне с первого взгляда показалось, что в улыбке у Ирбека есть что-то мушкетерское и что человек с такою улыбкой не может быть ни ловким хитрецом и ни скрягою — даже если и захотел бы, все равно у него не выйдет. Вообще он — обаятельный человек, разумеется, до тех пор, пока ему не испортят настроение...

Но пока, утром, когда он в синих галифе и в черных, плотно облегающих ногу ичигах стоял посреди гардеробной, в левой руке держа длинный хлыст, а правой накладывая в нагрудный карман видавшей виды джинсовой куртки пиленый сахар, насмешливые глаза его словно говорили: а ничего, мол, тут не поделаешь, и в профессии бесстрашного джигита уменье вовремя подсластить — штука тоже необходимая!

Пока остальные будут разминаться, он сейчас займется со своим Семей-серым, в яблоках жеребцом по кличке Семестр — на запасном манеже, а потом выедет на нем на основной, остановится в центре круга, и начнется главное: отработка трюков.

Разбираясь во впечатлениях от выступления наездников в про грамме, я часто припоминал слова великого француза Делакура, сказанные им о духе живописи, по сути дела — о духе искусства.

«Меня, — говорил он, — не интересует сабля. Меня интересует блеск сабли». Почти молниеносное выполнение трюков и непрерывная их смена во время представления — это и есть тот самый неуловимый в деталях «блеск»...

Слома голову промчался наездник, на единый миг в невероятной позе замер на скачущей лошади, что-то молодецкое крикнул, — и нет его, оставил нам только удивление: было ль, не было?

Здесь же, когда все происходило совсем рядом, когда Ирбек громким голосом беспощадно оценивал каждое движение, когда настойчиво что-то внушал или жестко приказывал и наезднику приходилось выехать на манеж заново и повторить номер, — тогда словно приоткрывалась хитрая механика этого неудержимого вихря, этого бешеного вращения лошадей, осью которого был он, старший из братьев Кантемировых, и тогда мелькало у меня что-то похожее на постижение тайны «блеска»...

Что бы, интересно, вышло, попробуй я за Ирбеком записывать?

— Ты как толкаешься? Носки вместе! Зритель даже в первом ряду не должен слышать, как ты оттолкнулся от манежа. Ноги прямые, ноги!.. Так, лучше. Хорошо! Погладь его! Погладь! Для кого морковка в ведре?.. Дай лошади морковку! Поговори с ней, поговори: ай, моло-де-е-ец!.. Не лежи на нем, не лежи — это жеребец, а не диван! И туго — руки, туго — ноги! Вот... Закрепись сперва! Закрепись! Силенки нет! Руки я за тебя буду качать?! Завтра приду пораньше. Почему два круга прошел, а потом ударил! Ты сам виноват! А во-вторых, она уже не помнит, за что. Был такой «мудрец»! Лошадь ошибется, он отведет ее на конюшню, сам в буфет ходит, а потом вернется и — плеткой! Лошадь давно уже забыла... Она как малый ребенок! Ошиблась — накажи сразу... Соберись! Ты что по ней растекся? Ноги свесил, как макароны! Кто на лошади: джигит или... Выше голову! Еще выше! Где плечо?! Улыбка публике?! Веселей!..

Похлопывал по шее, успокаивая коня, Юра Дацоев. Уверенным по-хозяйски голосом подбадривал: «Бра-а-авушки!.. Бра-а-авушки!» И все-таки ставил его «на оф». Выходя из пронзившей голову острой болью стойки, якобы беспечно улыбался Таймураз. Не удержавшись, спрыгивал с коня Валера Фарниев и выжидал круг, чтобы тут же на скаку вскочить в седло. Осанисто выпрямлялся, беззаботно взглядывал туда, где сейчас виднелись ряды пустых кресел, позабывший и о пенсионном своем возрасте, и о переломанных ребрах Ким Зангиев...

А Ирбеку все было мало, голос его от минуты к минуте накалялся, и, чтобы остудить южный пыл, уже нужна была порция прибалтийской флегмы.

— Юра! Юра! — со спокойным юмором останавливал Оскар Оттович. — Это место называется у наездников — «мадам Сижу»...

И Кантемиров, остывая, но все-таки как бы ища сочувствия, поглядывал на Роге — бывшего латышского стрелка и красного конника, опытнейшего знатока лошадей, дружившего еще с основателем цирковой династии Кантемировых, — со знаменитым их отцом Алибеком...

Тут, пожалуй, самое время сделать небольшой экскурс в прошлое.

В 1907 году на арене частного цирка в Батуми впервые выступил двадцатидвухлетний наездник Алибек Кантемиров. Публика приняла молодого джигита восторженно. Ободренный первым успехом, он начинает придумывать трюки, которые легли потом в основу конного цирка. Это он впервые на манеже пролез под брюхом скачущей лошади. Он вскоре стал показывать трюк, который после него не делал больше никто: на скаку пролезал меж задними ногами коня и «выходил» на круп.

Рубка лозы, пистолетная стрельба с плечевой стойки — эти экзотические номера привлекали публику, и вскоре молодой Али бек Кантемиров становится одним из самых популярных артистов предреволюционного российского цирка. В большой дружбе с ним был писатель Александр Иванович Куприн — известный почитатель циркового искусства и тонкий его ценитель.

После революции Алибек Кантемиров активно создает новый цирк. И на зарубежные гастроли чуть

ли не первой в истории советского цирка отправилась его труппа.

Тогда он был особенно силен, жесткий прищур предубеждения, сквозь который старая Европа смотрела на представителей молодой республики. В Англии после первого же представления Кантемирова вызвали в полицейское управление: «На каком основании демонстрируете публике красный штандарт? Вы — большевик?» — «Нет, — отвечал он, — я магометанин. Это наше священное знамя». Блюстителям порядка пришлось обращаться к помощи эксперта. «Я долго жил в одной стране на Ближнем Востоке, — сказал тот. — И хорошо знаю, что цвет знамени там зеленый...» — «Это в той стране, где вы жили, — возражал Кантемиров. — А на моей родине — красный!» — «В таком случае, где на знамени — полумесяц?»

Пришлось срочно нашивать полумесяц. Но на очередном представлении осетинская арба, на которой джигиты делали пирамиду, снова выкатила на манеж под красным флагом.

На ипподромах Германии выступала в то время группа русских наездников во главе с оставшимся без войска генералом Шкуро. Один из подвыпивших казаков дождался Кантемирова после представления в цирке, схватил за грудки: «Отняли родину, а теперь отнимаешь и кусок хлеба?!»

Повсюду сопровождал кавказцев успех, и многие антрепренеры не раз предлагали Алибеку остаться за рубежом. Ответ у него был один: «Я — осетин! А Осетия — там!»

В трудный для России час труппа Кантемирова почти в полном составе ушла на фронт. Восемь наездников — восемь лихих кавалеристов — сложили головы, защищая родину от фашистов. И после войны Алибеку Тузаровичу Кантемирову начинать пришлось почти заново. Костяком группы стали теперь его подросшие сыновья — самый старший Хасанбек, а также Ирбек и Мухтарбек.

Опять валил народ в цирк на осетинских наездников. А у них в то время была и еще одна забота: готовились к съемкам фильма «Смелые люди». Помните тот момент, когда Вася Говорухин на лошади догоняет поезд и прыгает из седла на подножку? В этом эпизоде вместо киноактера Сергея Гурзо снимался на своем Буяне Ирбек Кантемиров.

Это он тогда, Ирбек, впервые в истории отечественного кино раз работал и успешно применил технику подсечек — когда «сраженная» лошадь со всадником на полном скаку летит через голову. Причем пользовались подсечкой осетинские наездники так умело, что «запланированного урона» не было — ни одна из лошадей, заведомо обреченных на смерть, не погибла.

А Буян, проживший куда дольше, чем обычно живут лошади, на многие времена стал верным другом Ирбека, и выступление его на манеже — целая эпоха в советском конном цирке. Недаром Ирбек сегодня мечтает снять фильм о своем Буяне, который был всеобщим любимцем завзятых лошадиников.

Известно, как нежно относился к лошадям народный артист Яншин. Чтобы сделать своему другу и любимому актеру приятное в день его юбилея, Ирбек Кантемиров по лестнице привел Буяна на пятый этаж Всесоюзного театрального общества и здесь при многочисленных зрителях заставил его сперва заржать, а потом поклониться юбиляру. Рассказывают, как растрогался Яншин: слышать речей, мол, ему и до этого приходилось много. Но вот чтобы его приветствовал конь...

Группа Кантемировых и нынче называется «Али-Бек». В честь отца, отмеченного высокими правительственными наградами народного артиста РСФСР, отдавшего цирку шестьдесят пять долгих лет. Это своеобразный рекорд. Алибек Тузарович еще выезжал на арену, когда ему было девяносто.

И с благодарностью, и со светлой сыновней печалью вспоминает сегодня Ирбек эти последние годы их совместной работы. Всегда жалевший лошадей, сам как никто другой хорошо знавший, как опасна профессия наездника, в пожилые годы Алибек Тузарович стал особенно заботлив, — недаром не только осетинские джигиты, но и все знакомые цирковые артисты называли его «папой Алибеком». И когда сыновья сказали ему, что решили поставить новый трюк — тройную стойку, он надолго задумался, а потом ответил со вздохом: «Может, не надо? Лошади будет трудно. И еще труднее —

ребятам».

Это был первый случай, когда Кантемировы ослушались отца, — начали готовить «тройную стойку» тайно. У Алибека Тузаровича была выработанная долгими годами привычка очень рано приходить в цирк, и тем, кто должен был участвовать в трюке, надо было вставать задолго до рассвета. Начиная репетицию, одного из «заговорщиков» они каждый раз оставляли у дверей — сторожить приход отца. Как только у входа в цирк появлялся Кантемиров-старший, работу над трюком прекращали и похвалы за старание, за то, что на работу приходят с петухами, выслушивали скрепя сердце: стыдились обмана.

Потом, когда номер был готов, попросили при посторонних: «Посмотри, отец!» Упреков не было — старый наездник сразу все оценил. Обернулся к кому-то, стоявшему рядом, с гордостью воскликнул: «А?! У кого еще есть такой трюк!»

И тут заметил, как, улыбнувшись, переглянулись Ирбек с Мухтарбеком.

«Что, сынок? — грустно спросил в тот вечер отец у Ирбека. — Так сильно я постарел?»

Тут так и хочется сказать о нестареющих традициях, о той школе, которую оставил после себя Алибек Тузарович Кантемиров и которую настойчиво продолжают многочисленные его ученики. Сейчас в стране у нас около двадцати групп наездников. И все они, так или иначе, брали начало в коллективе старейшины конного цирка. Две из них возглавляют его сыновья — Хасанбек и Ирбек.

Многое, конечно, можно было бы рассказать о группе Хасанбека, который является старшим хранителем семейных цирковых традиций — недаром на квартире у него рядом с великолепной библиотекой находится домашний музей Кантемировых.

Но ведь посылку передать поручили мне Кантемирову Ирбеку...

Как-то однажды, когда он сам исполнил головокружительный трюк, а я в шутку спросил Ирбека, не собирается ли он «улучшить» достижение отца — пробыть на арене чуть больше шестидесяти пяти. А он ответил очень серьезно и даже, пожалуй, не без грусти:

— Куда там! Не хватит сил... Я думаю иногда: у отца ведь было длинное деревенское детство. Семнадцать лет в ауле, в горах, потом ипподром, где он около пяти лет был жокеем, только потом уже — цирк. А я ведь начал выступать, когда мне едва исполнилось шесть...

Вдуматься: уже сорок один год на манеже! Случай, когда работа и жизнь так сплелись воедино, что попробуй-ка отдели одно от другого.

Он уже и не пытается отделить. Потому-то заботы большого коллектива, которым руководит, принимает как свои собственные. В этом, пожалуй, один из главных секретов спаянности наездников — недаром временами бывает Ирбек похож на задерганного отца большого семейства.

Как-то под хорошее настроение — в благостный выходной день, после баньки — он рассказывал мне о своей матери, о том, как переживала она, если молодые артисты в долгих поездках по российским просторам начинали забывать тех, кто остался дома, в Осетии. Бывало, что сама посылала деньги чьей-нибудь матери, если сын проявлял забывчивость... За одного из ребят делала она это особенно часто. А потом он перешел в другую труппу. Однажды в Орджоникидзе Мариам Хасаковна встретила на улице его мать. Спросила, как теперь поживает сын, и женщина вздохнула: наверное, хуже, чем у вас. И заработок, видно, стал меньше. То хоть иногда, бывало, пришлет десятку-другую...

Мягко улыбаясь, Ирбек рассказывал о своей матери, а я невольно подумал о его сегодняшних тревогах, о его заботах.

Наверное, в любом порядочном коллективе есть свои неписанные правила. Железным законом у

Кантемировых еще при отце стало: ни когда не брать к себе «готовых» наездников из другой труппы. Как бы там ни было, а здесь своя, особая школа, и каждый должен пройти ее от первой ступени до высшей, до той самой, когда учитель тебе уже не понадобится, и все будет зависеть уже только от твоего упорства... Несколько нынешних наездников перед этим работали на конюшне, и те, кто трудится там сейчас, живут надеждой, что тоже скоро смогут сдать строгий экзамен на право называться наездником. Может быть, потому так тщательно и так четко здесь работают конюхи — это от их расторопности во многом зависит, выдастся ли в конце репетиции минута, когда на манеже они появятся не с совком в руках, а на лошади... И как истово, с каким жаром занимаются они, если эта минута выдается!

Когда я однажды спросил Ирбека, часто ли в московский цирк приходят посмотреть на джигитов земляки и как они принимают наездников, он, улыбнувшись, ответил коротко: «Плачут». А я представил потом: а правда! Устанет человек, походив по шумным улицам большого, малознакомого города, по дому вдруг затоскует и тут увидит под куполом цирка родные горы, услышит вдруг и топот коней, и молодецкий выкрик на родном языке.

А как любят Кантемировых в Осетии, как ждут туда на гастроли! И когда приезжает труппа в Орджоникидзе, хлопот у Ирбека прибавляется еще и потому, что ведут к нему и ведут за кулисы мальчишек: «Посмотри на моего сына, а, Ирбек? Разве ты не видишь, что это — настоящий джигит?!»

Скольким приходится отказывать! Но если уж берет к себе Ирбек ошалевшего от счастья мальчишку, родители могут не волноваться: дурному у джигитов не научат! И, пожалуй, немногие знают, как нелегко порой приходится с их сыном или внуком.

Виноват при этом не мальчик, дело не в нем — больше в обстоятельствах. Поставьте себя на место Гены Туаева. Вам тринадцать, а вы уже несколько лет получаете зарплату — законные свои, трудовым потом добытые восемьдесят рублей. Разве не захочется вам иной раз весь класс угостить в получку мороженым? Или всех своих многочисленных дружков привести на представление в цирк? Мало того, что ты каждый день можешь дернуть за хвост тигра, что дружишь со знаменитыми клоунами. Ты и сам, можно смело сказать, — любимец публики... А тут непонятное упражнение по алгебре! И учительница, которая перед этим долго конфликтовала с кем-то из других цирковых детей — ведь все они на гастролях ходят в одну и ту же, ближайшую от гостиницы школу — свое отношение к тому, давно уже уехавшему, невольно переносит на тебя. Тут оно, пожалуй, и вырвется: «А зачем мне учиться?.. Кусок хлеба у меня уже есть!»

И тетя Недда, жена дяди Ирбека, — это она исполняет вместе с ним танец «Приглашение» в прологе перед выступлением джигитов — схватится за голову, когда ей будут об этом в школе рассказывать, и сурово дрогнет потом тонкий ус у дяди Ирбека...

Так что члену национальной ассоциации мексиканских ковбоев «Чарро», обладателю нагрудного, врученного самим президентом ассоциации знака «Золотая шпора» Ирбеку Кантемирову приходится не только обуздывать лошадей... Но как знать, может быть, именно благодаря этому и становятся послушными кони, с которыми работа ют джигиты из Северной Осетии?

В гости к ним, как на праздник, я ходил почти все лето, а потом однажды узнал, что заканчиваются долгие гастроли в Москве, что скоро Кантемировы уедут. Нисколько не прибавлю, если скажу, что, собираясь на последнее их выступление в цирке на Ленинских горах, я вдруг ощутил самую настоящую грусть — показалось, уезжают давние мои старые друзья, и даже вдруг подумалось: а как же — без них?

И все потом я пытался разобраться в этом чувстве: почему мне их будет не хватать?

Так оно в жизни устроено: каждое наше слово и каждый поступок отзываются в душе кого-то другого. Чем они отзовутся? Трудным ли размышлением о предательстве или благодарностью за уроки до бра и мужества?

Мне кажется, что этим летом я на таких уроках присутствовал.

Профессия литератора в чем-то штука довольно жестокая. Что ты тут будешь делать — тянет глянуть за зеркало! А глянув, обязательно пожелаешь рассказать, как там и что, другим — вовсе не из желания удивить. Из желания заставить задуматься.

В тот раз, впрочем, все вышло случайно: мне надо было передать Ирбеку, чтобы после представления меня не ждали, и вслед за младшим из братьев, только что закончившим последний свой номер, я поспешил во внутренний дворик цирка. День был на редкость душный. Уже успевший стащить с себя и получеркеску, и рубаху, весь мокрый от пота, Мухтарбек стоял, опустив голову и облокотившись на ящики, и крутая его грудь ходила, словно кузнечные мехи...

Мне показалось, что он заметил меня, и потихоньку уйти обратно уже поздно, но и стоять перед ним, задыхающимся, тоже было неловко.

Еще минуту назад мне казалось, что этот гигант неутомим. Сила его и ловкость поражали воображение. Во всем стремившиеся подражать ему молодые наездники рассказывали, как однажды после представления в Ростове в гардеробную к нему буквально ворвался сидевший в цирке фермер-американец и на ломанейшем русском стал говорить что-то восторженное. Из всего, что он пытался сказать, поняли в основном то, что он просил адрес Мухтарбека. Мухтарбек дал. А меньше чем через месяц из Штатов пришла посылка: два настоящих, из конского хвоста, лассо. И Миша, как заправский ковбой, бросал теперь лассо и точно метал изготовленные своими руками топорики и не хуже иного киноразбойника бросал ножи — он готовился теперь к выступлению вместе со своею тринадцатилетнею дочкой Соней. Но вот, выходит, и боги не всемогущи...

Мне было действительно неловко... Однако что я хочу сказать. Потом уже, когда я узнал, что в тот день ему нездоровилось, мне словно приоткрылось, что тайна, которую, глядя на осетинских наездников, все хотелось постичь, — в бесконечном преодолении препятствий, которые возникают и в нас самих, и вокруг нас. Полное и мужества, и тяжелого труда, и, бывает, муки преодоления, которое позволяет не только всегда выглядеть в глазах других и сильным, и обязательно достойным — но быть таким и на самом деле, и в жизни.

Почему еще стало мне тогда грустно? Или я понял, что опять уходят из моей жизни кони — может быть, теперь уже навсегда?

Не раз и не два я пробовал вызвать Ирбека на разговор, который подтвердил бы трогательное его отношение к лошадям. Но так получилось, что за Ирбека мне ответил Оскар Оттович Роге:

— Вот вы о преданности собак... Хорошо, я не спорю. А почему вы считаете, конь предан человеку меньше? Со мной был случай уже в Отечественную. Во время сабельной атаки рядом разорвался снаряд, конь шарахнулся, еле на ногах устоял, а я почти тут же вдруг чувствую: сапог у меня полон крови. Настегиваю коня: скорее к своим, скорей! Там первым делом разрезали сапог, стали ногу осматривать — полный порядок. И тут я все понял. В одном сапоге бросился к лошади... Она уже умирала — вы знаете, какая у нее на шее была дыра?

Роге, старому коннику, лошади напоминали о былых сраженьях. У кого-то другого, видевшего их в цирке, они вызывали воспоминания о вольной воле, о тугом ветре над белыми верхушками ковыля... Бедные цирковые красавцы! Сами они давно уже не стряхивали с себя утренней росы или капель весеннего дождика, давно уже не видели вокруг зеленого, с разноцветными крапинками цветов, степного раздолья...

Раньше, бывало, летом, почти в каждом городе, где выступал цирк, их водили купать. Но разрослись теперь города, из-за скопища машин на улицах уже не добраться из центра к тихим речным заводям — такой век!

Как они, должно быть, кони, тоскуют! Недаром же, когда их вы вели на лужайку около цирка, чтобы там под божьим солнышком, не торопясь, пофотографировать, жеребец Ирбека Семестр, верный,

послушный Сема, так и не смог положить морду на вытянутую переднюю ногу — каждый раз тянулся к зеленой травке...

Куда, интересно, думал я, девают в городе сено, скошенное машинками в парках да скверах? И все мне представлялось, что Гена Туаев вместе с бедовыми своими однокашниками по вечерней Москве едет на лошадях в ночное — куда-нибудь на один из строгих, втайне истосковавшихся по мягким лошадиным губам университетских газонов...

Труппа уже готовилась к отъезду. Вынесены в коридор были сундуки с реквизитом. Выставлена во дворик старая отцовская арба, которая выехала однажды из далекого осетинского аула и прокатилась потом по шумным большим городам, по многим столицам мира...

Рабочие на конюшне готовили к погрузке лошадей. Наездники упаковывали седла, одежду, сбрую.

А на пустом манеже взбрыкивал под Ирбеком молоденький конь — купленный недавно новичок-араб, который, может быть, заменит потом Алмаза.

Я был один в громадном пустом зале. Сидел, опустившись в кресле, глядя на первый урок, что давал коню человек. Потом поднял голову, посмотрел вверх.

Под куполом, тускло отсвечивая серебристыми боками, висели две ракеты из аттракциона Мстислава Запашного — наш «Союз» и американский «Аполлон».

А внизу, на земле, как тысячу, как много тысяч лет назад, человек укрощал коня...

1976 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАННИКА

В прошлом году, таким же ранним летом, сидели мы с женой в гостеприимном доме Кантемировых, в их московской квартире, за осетинскими пирогами с сыром да со свекольной ботвой — испекла искусница Недда — и после далеко не первого тоста общая беседа распалась надвое: заговорили с Ирбеком о последних событиях на Кавказе, а женщины получили, наконец, возможность посудачить о проблемах семейных... Потом Ирбек встал, чтобы сделать короткий телефонный звонок, и я, только что внимательно слушавший его, чисто автоматически переключился на иные заботы.

«Марик так пока не надумал жениться? — негромко спрашивала Недду жена. — Никого там не присмотрел за границей?»

Недда улыбнулась: «Считает, рано — можно пока повременить. Как и отец, весь в делах. Тем более что Ирбек сказал ему: через год ухожу — готовься».

«Значит, маме во время гастролей приходится пока двоих обихаживать? — посочувствовала жена. — И мужа, и сыночка?..»

Голос у Недды зазвенел — отозвалась вдруг с неожиданным жаром: «Да это ведь, считай, счастье!.. Такая забота разве не в радость? Готова хоть всю жизнь! Устала от другого... Стыдно сказать: ведь гость в дом — Бог в дом. Но в последнее время у нас там столько гостей перебивало! В основном те,

кто из Союза уехал. Представление посмотрят, а потом идут семьями: о родине, говорят, нам напомним ли!.. Кто только постоит у лошадок на конюшне, а другому непременно поговорить надо. Но Ирбеку-что?.. Дошел до маркета, купил выпивки, закуски купил. Все в упаковке или попросишь — нарежут, останется только по тарелкам разложить. Да ведь не в этом дело: каждому еще надо внимание уделить, за каждым хоть как-то поухаживать, а приходят — ну, толпами!.. За последний месяц „караван“ у нас дважды ломался. Набивалось столько — рессоры не выдерживали...»

Она вдруг словно споткнулась на полуслове и голос попригас, совсем сник: за стол вернулся Ирбек.

— А Кобзон? — спросил с осуждением.

Недда виновато примолкла, спросил я:

— А что — Кобзон?

— Про него — всякое, — начал Ирбек. — Бывает, и ты походя — как-то даже хотел тебе, да забыл. А знаешь: если Иося за рубежом к тебе приехал... да хоть тут, в Союзе. Хоть где. Нужны двое-трое джигитов, чтобы кульки да коробки его донести. И дело не в деньгах, ты понимаешь? В сочувствии. В дружеском понимании. В солидарности, которой уж кому-кому, а артистам, знаешь, как не хватает! А Иося очень порядочный человек!

И мне пришлось руками развести:

— Ну, если это говорит Ирбек Алибекович!..

Не такой веселый, зато искренний рассказ Недды я вспоминал потом очень часто, так часто, что однажды задумался: да в чем тут причина?

Казалось бы, ничего удивительного: в таком перевернутом мире нынче живем. В России, видите ли, им было худо, искали жизни побогаче да посытней, показалось — уже нашли, и вдруг — на тебе: желудок полон, но опустела душа. Увидел рекламу русского цирка, посидел потом под куполом старого шапито, и это ограниченное брезентом пространство вдруг показалось кусочком далекой родины, а джигиты из Осетии, о которой ты раньше, может, понятия толком не имел, сделались вдруг почти родным...

И все-таки, думалось, была для меня в этом рассказе еще одна притягательная загадка, смысл которой я никак не мог уловить... Что это за такая тайна, что за секрет?.. И вдруг однажды я понял, понял!

Несколько лет назад я подал творческую заявку на документальный фильм «Возвращение странника»: Северо-Кавказской студией она уже была принята.

Как это обычно случается, воображение мое разыгралось, и кадры будущего фильма я представлял так ярко, что становилось все труднее, все невозможнее отслоить их от несколько иной, скажем, реальности... было это? Или еще только будет?

Вот мы с Ирбеком едем на лошадах по холмам моей родины, по отрадненскому Предгорью: ведь начнем мы, пожалуй, с кубанских казачков... Они-то, правда, хранили традиции не с таким тщанием как горцы, на то есть свои причины, как говорится, ну да что ж теперь: пусть припоминают былые законы гостеприимства, тем более что есть, есть повод — в родную станицу приеду не с кем-либо, а с известным всему миру цирковым артистом и знаменитым наездником... Потом поедем к черкесам-кунакам, в Адыгею — за них я спокоен. Осман Чамоков, не по своей воле прошедший севера, бывший тракторист, знаток родной истории, от печальных подробностей которой у кого хочешь сердце заболит, от щедрой души сказал мне: приезжай один, приезжай с друзьями — будешь жить у меня в кунацкой, и я устрою настоящий, как в старину бывало, хачеш... Праздник, значит, в честь желанного гостя или нескольких гостей. Тем более: приедем издалека, а ведь это особое понятие — дальний гость.

Ну, а с Осетией потом-то?.. Поездка с Ирбеком по его родине представлялась мне одним сплошным кувдом: всеобщим пиром.

Но еда не будет на нем целью. И не питье. А неторопливая за стольная беседа о главных на Кавказе человеческих ценностях: о высоком благородстве и терпеливом достоинстве. О чести и мужестве. О великодушии, которое выше храбрости. О крепости слова. О верности: друг другу. Брат брату.

На Кавказе тогда еще было спокойно, но в воздухе ощущалось, как говорится, приближение грозы, и я был яростно, горячо убежден, что спасение наше — в некоем новом межнациональном договоре — на основе древних нравственных ценностей... «Возвращение странника» — это возвращение обычая, который некогда так скоропалительно, так бездумно был изгнан и который должен был теперь надежно укрыть нас всех: так — стоит добежать до него — укрывает старое, родное жилище.

Ирбек, когда я посвятил его в свои планы, отнесся к ним с полным пониманием: «Ты знаешь, как наш отец любил о старых обычаях рассказывать!.. Ведь раньше многое понимали без лишних слов. Если всадник, который примчался в селение, соскакивал с коня с правой стороны, а не с левой, как полагалось, все уже знали: плохая весть!.. Знать это было все равно, что иметь высшее образование, а как же. Пусть многое теперь не пригодится, но представлять, какая за всем за этим глубина... Согласен: едем!»

Я уже предвкушал радость предстоящей работы, которая должна была напомнить и горцам, и казакам, и вообще — всему Северному Кавказу о его древней и доблестной родословной. В том, что Ирбек блестяще справится с предназначенной ему ролью, я ни капли не сомневался. Скольких знаменитых актеров, начиная с Сергея Гурзо в послевоенном фильме «Смелые люди», он дублировал, за скольких делал головокружительные трюки, но если на экране показывали его самого — непременно в какой-нибудь весьма сомнительной роли: как в «Первой конной», где постановщик Владимир Любомудров сделал из него испуганного неизвестно чем генерала-горца, командира некогда грозной «Дикой дивизии». А здесь ему просто придется по быть самим собою: не только умелым наездником, профессионалом высшего класса, на которого только посмотреть — и то любо-дорого, но и сердечным, широкой души человеком, и обаятельным, с неистощимым юмором, собеседником... Каков есть, таков есть!

Мы привыкли к мысли, что рыцарство возникло в Европе, но те из европейских историков, кто изучал это непредвзято и тщательно, пальму первенства отдают кавказским джиги там, во всяком случае Франко Кардини в «Истоках средне векового рыцарства» утверждает, что «ветер степи шумит в древе европейского рыцарства» и что конный рыцарь в Европу прискакал из Алании... вот пусть и поглядят теперь на этого современного аланского рыцаря, а сам я, хоть старший друг мой на беспомощного Дон-Кихота совсем не похож, побуду с ним рядом в фильме тем самым толстяком, неумехой-оруженосцем, которого он будет — в назидание зрителю — учить да наставлять.

Скоро только сказка сказывается, однако. А вот что касается дела...

С фильмом мы не успели: всеобщая нынешняя нищета наша первым делом одолела культуру, вцепилась мертвой хваткой в искусство.

На Кавказе задвигал-таки своими безжалостными челюстями тот самый, из адыгской легенды, Железный Волк, который пожирает в горах целые аулы... Но прежде всего он выедает сердца человеческие. Разве мы мало видим теперь вокруг людей — уже без сердца?

Но вот в чем дело, наконец-то я понял смысл постоянно тревожившей меня загадки, связанной с тем самым не очень веселым рассказом Недды о тоскующих на чужбине самонадеянных некогда земляках, — вот в чем дело: несмотря на все сложности, выпавшие на долю «цирковых» в последние времена, Ирбек остался все тем же рыцарем, все тем же наездником в самом высоком, самом истинном смысле этого слова... Остался горцем, для которого священо слово «намыс» — достоинство, если перевести приближенно. Высший, от предков-осетин доставшийся, нравственный закон.

Еще недавно считалось, что там, за рубежом, артист отстаивает честь страны, из которой приехал. Честь родины. Но вот получилось так, что этот вопрос как бы сам собою отпал, более того — так легко расставшаяся с собственной — нашей общей честью — родина невольно бросила тень на каждого из своих детей... Разве многие, исходя из этого, не пересмотрели, не ревизовали, не перетрясли свой духовный багаж, выбросив из него теперь за ненужностью такие понятия, как сердечность, открытость, искренность?.. Ведь на самый простодушный вопрос нынче тебе могут с ледяной насмешливостью ответить: коммерческая тайна. И преувеличенная значимость этого нового для многих понятия на второй план отодвигает нынче даже такие вечные, такие незыблемые приоритеты, как тайна бытия... так живем!

Когда Ирбек вернулся из Германии в самом начале мая в этом году, когда в разговоре к слову упомянул о многочисленных лавчонках, торгующих сувенирами из России, о бесконечных развалах на ярмарках, где продают все — от старых православных икон до новеньких кумачовых, с великодержавным гербом, знамен — мне невольно припомнились рассказы о первых джигитских гастрольях за рубежом, тоже в Германии — по сути то был первый выезд советского цирка за границу. Положение, как говорится, обязывало, и Али-Бек Кантемиров, известный еще с дореволюционных времен цирковой наездник, на каждом представлении хотя бы на несколько секунд, хоть на миг водружал над осетинской арбой красный флаг... Не раз ему приходилось уверять представителей власти, что это самое настоящее знамя правоверных мусульман, и окончательно его разоблачили наконец-таки уже в Англии, когда в цирке появился приглашенный полицией эксперт-специалист по Востоку...

А в Берлине, в Германии как раз в это время выступала конная группа кубанских казаков, созданная белым генералом Шкуро... Со слов Кантемировых мне и самому уже приходилось писать, как подвыпившие земляки мои за кулисами хватили за грудки осетин: лишили, мол, родины, а теперь отбираете и заработок?!

В группе у Андрея Григорьевича Шкуро джигитовал тогда и подхорунжий Антон Жданов, уроженец Упорной из Лабинского отдела: три года назад с его сыном Михаилом, тоже наездником, известным на западе трюкачом-каскадером, мы побывали в родной станице его отца, и Миша взял там горсточку-другую землицы, чтобы поло жить на могилу родителя во Франции...

Когда я познакомил Жданова с Кантемировым, сначала с младшим тезкою, с Мухтарбеком, руководителем конного театра в Москве, а потом и с Ирбеком, Михаил Антонович стал вдруг припоминать, что у отца его была фотография: казаки и осетины в Берлине. Теперь затерялась: Жданову-младшему пришлось пережить и серьезную травму, и долгие годы лечения, и переезд на родину фламандки-жены — в Бельгию... По кавказской традиции — далеко от дома, во Франции — Михаила воспитывал аталык: осетин из знамени той фамилии Мистуловых, и ученик его уважительно помнил все связанное с родиной учителя. Когда взялся описывать фотографию, Ирбек вспомнил вдруг тоже: была такая и у отца... Но Али-Беку Кантемирову настойчиво подсказали избавиться от нее. Не в сорок шестом ли году, когда руководителя конной группы кубанцев в Берлине Андрея Шкуро водили на допросы в Бутырской тюрьме: вслед за русскими генералами Красновым и Домановым, за адыгейским Султан Клыч Гиреем, командовавшим когда-то «Дикой дивизией», за немецким генералом фон Панвицем, под чьим началом воевали казаки на стороне вермахта... Как оно все переплелось!

Размышляешь над этим и начинаешь осознавать, какой немалый срок — эти семьдесят лет, которые для династии Кантемировых, для джигитов из «Али-Бека» по сути совпали с теми семьюдесятью годами, которые не только навсегда останутся предметом пристального изучения историков, но и — хотим мы того или не хотим — долго еще будут определять состояние и нашего сознания, и нашего духа... дай Бог, чтобы не всегда царило в России непонимание среди сильных, а слабыми так и помыкала раздвоенность! Но пока...

Если новости по-прежнему несли бы гонцы, если с сообщениями так и скакали нарочные — все чаще им приходи лось бы с запаленного коня слезать с правой стороны... Но вместо коней терпеливую нашу землю топчут теперь «бэтээры», и тут все едино — с какой бы стороны с него с автоматом

«Калашникова» не соскакивали... Как отдаются в каждом равнодушном сердце эти прыжки!

У меня — в Москве, в сердце у Ирбека — за рубежом, где кроме него теперь кто только и в каком только качестве не гастролирует!

Но вот такая штука: друг мой Ирбек так и остался дорогим для страдающей нынче, как у многих, души — примером и цельности, и той естественности, под которую и при семи пядях во лбу нельзя подделаться. В этом тоже есть свой секрет, своя тайна, и мне хочется поразмышлять и над ней.

Эта его цельность, эта бесконечная — несмотря на жестокие обстоятельства — преданность делу — надежда на победу здравого смысла не только на Кавказе и в России вообще: во всем мире. Ведь нынче пока странная возобладала в нем философия: чем хуже соседу — тем лучше мне. Но каково переносить это нашей матери-земле, для которой, как и для каждой настоящей матери, нет детей избранных: одинаково жаль всех...

Выкатившись впервые за рубежом на арену в Берлине, осетинская арба проехала потом по манежам многих стран мира, а к тому времени, когда она нашла, наконец, пристанище в краеведческом музее во Владикавказе, группа «Али-Бек» давно уже работала тремя самостоятельными составами. В Ростове, где когда-то на ипподроме начинал конюхом, а потом жокеем отец, Алибек Тузарович, окончательно «прописался» старший из братьев Кантемировых — Хасан-бек. И любители цирка, и преданные зрители его хорошо знают «Джигитов Хасан-Бек» и программу их «Картинки Кавказа», а завзятые знатоки вам расскажут, что дома у Хасанбека — настоящий музей, в котором собраны и семейные или, скажем так, династические реликвии, и многочисленные фотографии, и газетные да журнальные публикации всех семидесяти теперь лет. Хасанбек не только получил в свое время в ГИТИСе диплом отличника — он потом защитил кандидатскую. Но теория не отняла его у публики, по-прежнему предан ей беззаветно, как и его жена Мариам, впервые заставившая послушно работать на манеже известными своей строптивостью коз, и дочь Каджана, и двое сыновей: Анатолий и Алибек.

Младший из сыновей Алибека Тузаровича Кантемирова, Мухтарбек, на собственные хлеба ушел последним, уже от Ирбека, от среднего брата... это тема особая — Мухтарбек! Бесстрашный наездник, он до тонкостей овладел еще добрым десятком цирковых профессий: метание ножей, топориков, — вообще, если хотите, всего что под руку попадет, как он продемонстрировал это в двухсерийном приключенческом фильме «Не бойся, я с тобой», в котором кроме все го прочего проявился его талант драматического актера. Ра бота с лассо, с арапником, жонглирование, акробатические и силовые номера — все это в свое время сделало Мухтарбека одним из ведущих каскадеров кино. Но мне все дума лось: нашелся бы знающий в своем деле толк кинодраматург, который написал бы сценарий специально «под Мухтарбека» — в расчете не только на его исключительные физические возможности, на внешность богатыря из нартского эпоса, но и на то обаяние, то благородство, которым отмечены у него всякое слово, всякий взгляд, каждое, даже не произвольное, движение...

Какой там вам Шварценегер, какие западные герои, какие идолы — вот он, давно ждущий своего часа кумир наших мальчишек, пример юности... Но нет пророка в своем отечестве, нет!

И долей артиста, время которого, как и в спорте, безжалостно уходит, остается тяжкий труд спиной к кинокамере, работа за других, самопожертвование на гремющей от взрывов съемочной площадке, которое вдруг — это с ним было — прерывается медлительной девятичасовой тишиной операционной палаты: разрыв нервных тканей на шейных позвонках.

Оправившись, Мухтарбек создает свой конный театр, та кой же феноменальный как он сам. Если об обычном театре говорится, что в нем, мол, пьесу поставили, то об этом не вернее ли будет сказать: УСАДИЛИ В СЕДЛО?... Два часа почти непрерывной джигитовки, но уже не ради ее самой — все пронизано острым сюжетом, безоговорочно захватывающим малолетнюю публику и в сказочное детство воз вращающим тех, кто на представление привел ее... В сказочное ДЕТСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, хочется сказать: сперва было экзотическое «Золотое руно», потом — удивительно яркое и глубокое представление: «Прощай, Русь — здравствуй, Русь!»

Театр снимал тогда манеж на Планерной, и я не только сам приезжал на репетиции и прогоны, но привозил с собой и старых товарищей, и сыновей с внуками, и маленьких казачат, их ровесников. Сколько было восторженной радости и сколько вместе с тем пищи для ума: представление начали древнерусские витязи, вступившие в схватку с похитившим их красавиц-невест жестоким драконом, потом разворачивалась трагедия Киевской Руси — нашествие кочевников... Конных воинов Куликова поля сменяли победители французов — гусары, шли сцены из мирной жизни «тихого Дона», а потом ее взрывала сабельная атака всадников в красных галифе и красных буденовках: гражданская, будь она проклята, война.

То терпеливо наблюдая как бы со стороны, то вздыбливая в трудную минуту коня и с копьем бросаясь на выручку по павшим в беду, все происходящее неустанно освящал своим вниманием рослый всадник в старинных доспехах и с алой накидкой на плече: Георгий Победоносец.

Мухтарбек Кантемиров на сером своем, в яблоках Эдельвейсе.

Высокий покровитель «христоролюбивого воинства», в на чале представления победивший дракона, в финале выручал хрупкого мальчика в белых одеждах, знаменующего собой, конечно же, наши надежды на возрождение: сперва Победоносец-Мухтарбек брал его на руки, усаживал перед со бой, а потом спешивался, и малыш сам объезжал опустевший и оттого будто беспредельно раздавшийся манеж... Удивителен все-таки язык символов: после кипенья силы и разгула страстей этот его неторопливый, под сдержанную, но готовую грянуть с новой силой музыку круг был словно завершение витка времени либо соединяющее эпохи кольцо — все это читалось, все виделось, и я радовался поэтической четкости, которая венчала лирический и драматичный спектакль.

Всякий раз, когда приходилось бывать в Планерном, чуть ли не под ногами у лошадей на манеже суетился кто-либо с видеокамерой, и Мухтарбек потом, не тая воодушевления, сообщал: японцы... австрияки... голландцы. Записывают программу, чтобы сделать рекламный ролик: тут же после премьеры собираются пригласить к себе на гастроли.

Премьера была во дворце спорта в Лужниках, и у меня, как только поднялся на первый ярус, упало сердце: здесь и там на трибунах сидели человек семьдесят, ну, может, от силы сто. В основном осетины, земляки да друзья Мухтар-бека — конники... До сих пор помню это смешение чувств: обида? .. Но на кого?.. Горькое ощущение стыда и будто личной моей вины отозвались болью, о причинах которой не зря ведь говорим: душевная рана. Каково тогда тем, кто связывал с этим днем не только самые большие надежды, но как бы и цель жизни?

И все-таки, пожалуй, не стал бы искать Мухтарбека: не смотря на порывистое желание хоть чем-то помочь... Но я был с киногруппой, нам надо было снимать.

Не исключаю, что это очень личное восприятие, но Мухтарбек почти всегда напоминал мне большого, с горящими глазами ребенка... Теперь за дверью, на которую мне показали, среди разбросанных на полу бутафорских доспехов сидел на низкой скамеечке сгорбившийся, разом вдруг по старевший человек с потухшим взглядом...

Другой театр отбил у него зрителя! Сманил другой цирк.

Потому-то, может быть, и покинул Мухтарбека заранее дух победы, что сам святой Георгий находился в те дни в ином месте: задумчиво вглядываясь в кружение толпы у Белого дома — шел август девяносто первого года. Надо же такому случиться: дата первого представления, премьеры совпала с днем «путча»!

Представление, как ни старались они все вместе и каждый в отдельности, прошло без подъема. В самом неподходящем месте споткнулся под Мухтарбеком Эдельвейс, верный его Эдуля... Опять сжалось сердце: «что ж ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься?..» Но разве не чувствовала лошадка, что происходило в те минуты со всадником?

Никто никуда их не пригласил: ни японцы и ни голландцы. И сперва от Мухтарбека ушли артисты, исполнявшие вставные номера: «француженки»-танцовщицы, встречавшие в представлении победителей-гусар... Шумную дореволюционную ярмарку покинули русские силачи. А потом засобирались наездники... Прощались с лошадьми, но ни чего не говорили Мухтарбеку. Забрав собственное седло, уходили тайно... этот Кантемиров и сам не знает, чего хо чет! Надо, и в самом деле, всем собраться в Осетии — на родной земле, известное дело, и стены помогают.

Сейчас, когда пишутся эти строки, джигиты из владикавказского конного театра Ирбека Гусалова который день с тревогой всматриваются в аргентинский берег: сойдут ли на него, наконец?.. Поверили слухам и зафрахтовали в Новороссийске корабль, но что-то не спешит встречать их всеведущий импресарио... Выдерживает паузу, чтобы поменьше потом заплатить?.. Или так-таки и придется им не солоно хлебавши вернуться в Осетию?

Театр Мухтарбека находится нынче на суше, на берегу. На Золотом берегу! В Болгарии. И все-таки это уже не тот театр, нет — совсем не тот...

Размышляя над поражениями и удачами младшего и среднего братьев Кантемировых, невольно думаешь: может, все дело в том, что Мухтарбек, Миша слишком в сторону взял от той хорошо наезженной колеи, которую проложила цирковая арба отца?.. А Ирбека за рубежом до сих пор встречают наездники, хорошо знавшие основоположника династии, Алибека Тузаровича. Приезжают из сопредельных стран, из других городов, как приезжал недавно во Фрайбург из своего Мюнстера старый друг Кантемирова-старшего, неоднократный чемпион мира по выездке знаменитый Райнер Клинке: повидаться, повспоминать, выпить, не чокаясь, по рюмке русской водки — в память об удивительном человеке, который в девяносто лет выезжал на манеж, удивляя зрителей юношеской осанкой и неувядаемым мастерством зрелости. Само собою, что эти встречи — не одна лишь вполне приятная дань ностальгии: это по-прежнему как бы взаимная дружеская инспекция, непрекращающийся обмен тайнами редкого мастерства — во имя сохранения не только древнего союза человека и лошади, но и того самого тысячелетнего рыцарского обычая, о котором мы с Ирбеком так и не успели пока рассказать.

Одной из заповедей его, наиболее, пожалуй, забытой сегодня в России, является исполнение родительской воли. Ирбек о ней не забывал никогда. Скорее всего, что именно это и определило выбор пути, которым он шел всю жизнь.

Деликатная штука — этот разговор, но братья Кантемировы в той или иной словесной форме одинаково признаются: к Ирбеку у отца было особое отношение. Если предположить, что на среднего Алибек Тузарович возлагал самые большие свои надежды, то заодно признаем: Ирбек их полностью оправдал.

Поскольку рос в цирке, а с пяти лет уже принимал участие в представлениях, многому Ирбек, и в самом деле, научился играючи, в прямом смысле, но были трюки, которые требовали и долгих размышлений над ними, и тщательной обработки отдельных элементов, и изнуряющих тренировок при их сложении в единое целое... Красоте, изяществу, легкости — всему тому, что зовем БЛЕСКОМ МАСТЕРСТВА, всегда предшествует темная от пота рабочая одежда: рубахи — от своего, рейтузы — от лошадиного... Солоноватым запахом цирковых побед пропитаны их бешметы, их черкески, папахи, бурки: сбросили с себя поздним вечером, а рано утром, бывает, — в неблизкий путь, дальше. Сушиться все будет уже в другом городе... Потому-то одежда на артистах огнем горит, но это уже проза житейская, а в цирк идем за поэзией. Но именно так она джигитам и достается.

Суховатый и гибкий Ирбек раньше других перенял у отца умение на полном скаку спускаться под живот лошади и выходить на седло с другого бока. Но этого ему показалось мало: захотелось выполнить трюк с завязанными глазами.

От этой рискованной затеи отец, наверняка, стал бы отговаривать — они решили сделать ему сюрприз. У Алибека Тузаровича была привычка рано приходиться в цирк: сыновья его стали появляться на манеже еще раньше. И однажды Ирбек попросил прощения за самовольство и предложил: смотрите, отец!.. Родоначальнику осталось только со вздохом покачать головой, и

неизвестно чего в этом было больше: укоризны или же одобрения.

Этот уникальный трюк Ирбек потом опять усложнил: с откинутой рукою зависал под брюхом лошади — «фиксировал» горизонтальное положение. Оставлял во взволнованном восприятии зрителей картину, которую они запечатлеют надолго и которую потом с восхищением, будут припоминать.

Подобно отцу, Ирбек сам всегда давал пример мастерства и также, как старший Кантемиров, высокое умение каждого умел вложить в общий, групповой номер: тут и «двойной под живот», и «вертушка», которую выполняют одновременно двое всадников, и пирамида из трех наездников на двух проносящихся над барьером лошадях.

Давно ушли из группы, вернулись на тихое пенсионное житье в родную Осетию такие отчаянные умельцы старшего поколения, как Ким Зангиев, расстался с седлом, определился в служители Юрий Дацоев, а кое-кого из тех, кто в самой силе, ветер всеобщих перемен, такой дразнящий и так много вначале обещающий, подтолкнул искать лидерства, искать славы и всего того, что связано с нею, в других цирковых программах, с другими партнерами... В прошлый его приезд спросил Ирбека, как дела у Гены Туаева, начинавшего у Кантемировых девятилетним мальчишкой. «Тебе бы представилась возможность поглядеть Южно-Африканскую республику, — взялся насмешливо рассуждать Ирбек. — Когда тебе было тридцать. Разве бы устоял?» И вид у моего друга был такой, словно горько подшучивает не над своим легковерным воспитанником — больше над собою, его учителем: что-то он упустил, чего-то когда-то не учел, чему-то не придал значения... Сам одним словом виноват. Он! НАСТАВНИК.

И все-таки по-прежнему недостижимой, несмотря ни на что, остается планка, которую когда-то задал своим джиги там бывший ростовский жокей Алибек Кантемиров. И по-прежнему здесь работают без туфты — без того самого понта, который самими цирковыми узнается за версту, но, не смотря на это, захлестывает сегодня манеж: уж если «ПОНТЯРА» пронизала в России все сверху донизу, неужели останутся в стороне профессионалы — первоначальные ее разработчики и главные теоретики: цирковые?!

Вслед за этим невольно просится в строку еще одно словечко из цирка: кураж. К большому сожалению, в обиходе оно приобретает все более дурной смысл. Куражиться у нас теперь означает: развязно вести себя, проявлять спесь, чваниться. Тем более в наше-то время нуворишей и выскочек, когда столькие вдруг — из грязи да в князи!..

В цирке кураж всегда означал то состояние отчаянной лихости, тот внутренний огонь, при котором не только удается то многое, чего не сделать без твердой веры в себя либо с прохладцей, но который, озаряя облик артиста, сообщает душевную энергию всему зрительному залу, не оставляя равнодушным даже угрюмых всезнаек и непробиваемых скептиков.

Это как раз всегда отличало наездников «Алибека»: живой пламень древнего циркового искусства вспыхивал над ареною тут же, как только на нее врывались на своих стремительных лошадях нынешние потомки аланов... И все-таки: всему свое время.

В марте в немецком Фрайбурге Маирбек купил двух живых баранов, и в воздухе потянула горячим дымком далекой родины... Припомнилась ли им священная роща Хетаг, где в день святого Георгия, покровителя мужчин и хранителя путников, собирается в мае и в ноябре добрая половина Осетии, и над котлами с бараниной дрожит густой пар, а на каленые угли от сотен костров сочится овечий жир...

Бывший «Союзгосцирк», который теперь называется компанией «Российский цирк», даты этой, как водится нынче, не заметил, но зато пришла другая телеграмма: «Из Владикавказа. России.16.03.94. Концертбюро Констанц. Фрайбург. Ирбеку Кантемирову.

Дорогие друзья, примите сердечные поздравления по случаю 70-летнего юбилея знаменитой цирковой группы „Алибек“. У истоков создания этого выдающегося коллектива стоял славный сын Осетии, народный артист Российской Федерации Алибек Тузарович Кантемиров. Имя прославленного

Алибека занимает достойное место не только в истории российского циркового искусства, но и в мировой культуре. Яркое, мужественное, блистательное мастерство труппы долгие годы покоряет сердца зрителей разных континентов. Не случайно ваши юбилейные торжества совпали с успешными гастролями в Германии. Ваши земляки с большим уважением и благодарной памятью отмечают этот славный юбилей. Свидетельством тому является решение назвать одну из улиц Владикавказа именем Алибека Кантемирова. Позвольте выразить уверенность в том, что коллектив труппы и впредь будет с честью нести имя и успешно продолжать дело легендарного наездника Алибека. Искренне желаем вам новых успехов, здоровья и личного счастья.

Президент Республики Осетия Ахсарбек Галазов.

Председатель Верховного Совета Северной Осетии Юрий Бирагов.»

Уйти на пенсию Ирбек собирался не только вместе со своею Неддой Алексеевной... кто ее-то заменит на манеже?.. Или изящная лезгинка, которую они показывали вдвоем — горянка в белой национальной одежде и конный джигит — то же станет теперь не только семейной, но и цирковой историей?.. Помню, как грациозно вышагивал вокруг танцующей Недды умница и работяга Сема — серый жеребец Семестр, как выставлял в финале переднюю ногу и вытягивал над ней шею, почти доставая губами до ковра: кланяясь публике. Потом его заменил Асуан, тоже темно-серый в яблоках и тоже чуть посветлевший к десяти своим проведенным в цирке годам. По документам он значится как Ас бест, Асуаном звали его деда, которого в свое время президент Египта Насер подарил Никите Хрущеву: этот чистый «араб» озолотил потом, что называется, Терский конный за вод — за жеребят от него платили по миллиону долларов. Само собой, что Ирбеку он обошелся дешевле — это теперь, когда всеобщая инфляция взвинтила цены, у него возникла проблема: как своего двенадцатилетнего любимца выку пить. Разве конь этого не заслужил?

— Что с твоим Асусаном? — спросил я у Ирбека, когда он по телефону представился в новом качестве: звонит, мол, тебе «пенсионер Кантемиров». — Лошадке пенсия светит?

В голосе у моего друга послышалось сожаление:

— Надо мне было внести за него деньги еще два года назад!.. А потом с ним спокойно дорабатывать... но кто знал, как оно обернется?

— И останешься ты, — посочувствовал я Ирбеку, — при глиняном своем табуне?

— Хороший табун, я ничего не говорю, — подхватил он. — Жаль только, ржать в нем лошадки не умеют!

— И этот стерильный запах... Разве его можно сравнить с живым конским духом?

Друг мой чуть ли не с болью попросил:

— Перестань!..

...И вот мы снова сидим дома у Ирбека, теперь, и в самом деле, — пенсионера... И оба глядим на этот самый его табун, который разбрелся и по стеклянным полкам серванта, и по книжным полкам — где еще только нет этих небольших по размеру статуэток: бронзовых, чугунных, фарфоровых, из красного и из черного дерева... Все, какие только есть на белом свете, породы скакунов. Из разных стран. Со всех континентов.

— Ты бы хоть для интереса пересчитал их, — говорю Ир беку. — Сотни-то полторы наверняка будет? Или чуть меньше?

— Теперь вот нечего будет делать — займусь, — пообещал Ирбек.

А начинался этот табун с маленькой лошадки из папье-маше, которую подарил пятилетнему Ирбеку

отец: в честь первого его выступления в цирке. Ее, к сожалению, уже нет, но память о ней и заставила собрать эту коллекцию: что-то он купил сам, что-то подарили друзья из числа наездников, что-то давние его почитатели... Недаром на подставках у многих ахалтекинцев да «англичан» надписи на разных языках, вроде этой: «От журналистов и фотокорреспондентов Голландии. 1991 г.». Удивительный, что там не говори, табун!.. Жаль только, и правда, что никто в нем при виде хозяина не восторгается, не косит глаз, не поведет ушами, не заржет, не ударит копытом, теплыми губами не ткнется в ухо...

Ухаживать за лошадами, стирать с них пыль да с места на место, чтобы не застоялись, переставлять, будет Недда... Но усидит ли, думаю, он рядом с этим своим безусловно красивым, но безмолвным и неподвижным полуторасотенным косяком?

Или Маирбека, оставшегося теперь у осетинских джигитов за главного, ждут неожиданные — где бы они не находились — приезды отца, — эти незапланированные родительские инспекции... Эх, самое бы время этого путешественника, этого циркового бродягу, который после долгих гастролей вернулся на родину, занять бы нашим «Возвращением странника» — самое время!.. Но недаром же он не может по ка выкупить верного своего Асуана: где ты сегодня достанешь деньги на кинокартину? И пока остается лишь размышлять над фильмом, как почти без конца теперь размышляет он о своей судьбе. Интересно бы знать, что его побуждает больше: вопрос о том, до конца ли смог выполнить заветы отца?.. Или уже другое: как покажет себя в новой роли сын Маирбек — продолжатель династии?

— Все чаще вспоминаю, как работал отец... припоминаю его правила. Как говорится, жизненные. Не то, что не позволял себе переманить наездника — он вообще не брал тех, кто уже хоть что-то умел... ведь кто-то уже учил его? Грех, говорил отец, пользоваться плодами чужого труда. Пусть лучше кто-то моим потом воспользуется: когда я научу всадника всему, чему только могу научить. Когда я дам ему кусок хлеба: на всю жизнь. Теперь это понятие забывается: кусок хлеба. А ведь раньше оно имело тот же смысл, что и мастерство. Как там нынче без конца чуть не на каждом канале «ящика»: я стану миллионером!.. А благодаря чему ты им станешь, парень?.. Каким способом? Добьешься своим трудом? Горбом заработаешь?.. Или у кого-то отнимешь? Раньше в цирке стеснялись этого, а теперь — прямой текст: беру тебя в номер, но ты мне будешь отстегивать. Дома — деревянными, за рубежом — валютой... И тут не только унижение мастерства — добираются как бы до самой основы... до души мастерства, а что оно — без души?.. Так вообще его изведем. Если человек будет делать деньги не на своем умении, а на хамстве. Мастера уйдут!.. Они, если хочешь, вымрут. Как мамонты...

Все продолжает говорить, а я гляжу на него, и, кажется, что никогда еще не видел в нем столько горечи... Раньше этот самый кураж, так необходимый на цирковом манеже, никогда не покидал его в обыденной жизни: светло-карие глаза дружелюбно посмеиваются, тонкая ниточка мушке терских усов всегда готова подчеркнуть только что слетевшую с губ шутку, а иронический тон никогда не отчуждает собеседника, более того — сближает с ним. Голос у Ирбека особенный: привычка успокаивать лошадей и внушать уверенность всадникам с годами придала ему как бы некую магию — само звучание его отзывалось в душе благотворным умиротворением... Отчего вдруг не слышу его теперь?

Вроде бы оно и понятно: когда рушатся, как принято говорить, миры, до того ли соотечественнику, до того ли со ременнику?.. Что ему нынче — этот самый «двойной под живот»?.. Были, скажет, времена, да прошли!

...Вспоминаю, как четыре года назад еле уговорил известного певца Бориса Рубашкина прийти на репетицию мужского хора «Казачий круг». Европа успела наложить свой отпечаток на характер этого потомка донских казаков — время свое ценит, и в самом деле, как деньги... Но стоило ребятам запеть!.. «Ноты, господа?.. Вы имеете ноты этих песен?» — заговорил взволнованно. Слегка насмешливый ответ был: «Откуда?.. Это все от бабушек — собрали по дальним станицам. Ездим, слушаем, стараемся им подпеть, а они, дай Бог им здоровья, поправляют... Вспоминают, как пели мужчины, стариков-то казаков почти нет... не дожили!»

Об этом-то Рубашкин, гражданин Австрии, знал хорошо: почему не дожили. С ним тогда ездил

живущий в Болгарии Александр Притуп — конферансье Рубашкина и его сердечный друг. Может быть, Борису, человеку деловому и кое в чем достаточно жесткому, бывает нужен рядом такой человек? Лирик и, пожалуй, мечтатель.

Сперва рассказал мне, откуда его фамилия: высадившийся в Тамани вместе с первыми запорожцами его предок поспорил, что надвое развалит дубовый пень, да только притупил шашку.

— А вы на Кубани пока и не были? — дружелюбно укорил Александра.

— Пока, к сожалению, не удалось, но я должен, вы понимаете, должен, — не без напора заговорил Притуп. — Перед смертью отец мне даже план начертил. Куда я должен приехать... это по дороге на Новороссийск. В девятнадцатом они отступали и никак не могли прорваться через ущелье: пулеметы им били во фланг. И тогда они пошли на джигитскую уловку. Каждый с одной стороны седла привязал две петли, и все повисли вдоль лошади — параллельно земле. Спрятались. За лошадьми — не видать! Красные решили, что скачет табун без седоков, бросились ловить лошадей... Тут-то казачки и вынырнули наверх, и ударили в шашки.

Кровавая наука. Жестокое мастерство.

Тогда оно было вопросом жизни и смерти.

Почти в тех же местах, куда непременно собирается поехать Александр Притуп, под Горячим Ключом живет мой старый друг Сергей Прохода. Дед его, полный георгиевский кавалер, все четыре креста получил в «германскую» за то, что сумел доставить четыре срочных пакета — всякий раз на виду у противника. После первого выстрела он разбрасывал руки, откидывался назад и начинал медленно сползать набок. Второго выстрела, как правило, уже не было: коварный враг превращался в доверчивого зрителя. Когда, наконец, казак свалится? Вот уже и голова бьется о землю — окончательно упасть мешает только стремя, в котором застряла нога... ну?!

А у него, посмеивался, когда землякам потом об этом рас сказывал, чуть ли не главная забота: чтобы из-за пазухи папаха не выпала — как же потом вручать пакет без папахи? Без папахи — никак нельзя!

В общем, было что казакам показывать немцам потом уже в гамбургском цирке, было.

В середине двадцатых кто-то из «шкуровцев» получил в Берлине письмо от такого же оставшегося без родины бедолаги — из Штатов: тот сообщал землякам, что есть работа на Голливуде. Половина группы решила на переезд за океан... И долго еще они, не знавшие английского языка, но не привыкшие хоть в чем-либо кому-то уступать «подправляли» потом на съемочной площадке сценарии, главными героями в которых были, конечно же, выходцы из Старого света... Все в их жизни перемешалось: только что насмерть стоявшие за «белую» идею, теперь они изображали в основном краснокожих и никак не хотели играть в поддавки с киногероями из белых.

Почти все они вскоре стали на Голливуде ведущими каскадерами, незаменимыми дублерами всех американских знаменитостей тридцатых годов. После войны все эти фильмы, взятые как трофей сложившими голову отцами мальчишек моего поколения, заставляли нас сбегать с уроков — это они поднимали нам дух и прибавляли сил в тяжелые годы бескормицы и разрухи... Могли ли мы в то время подумать, что все эти вольнолюбивые индейские вожди, справедливые ковбои, героические мексиканцы, все они — это наши земляки, покинувшие свои станицы в гражданскую...

Вместе с ними покинула нас и казачья удаль. Вернется ли?..

Любопытная штука: «учителями» казаков долгое время оставались горцы — за неуспехи тогда платили жизнью либо в лучшем случае — кровью. С тех пор «ученики» успели получить «высшее образование»: Алибек Кантемиров во многом обязан своей наукой оренбуржцам, кубанцам, донцам. Но нет нынче в России, нет пока конной казачьей группы, которая умела бы делать то, что умеют у Кантемировых: они остались единственными хранителями общего для казаков и горцев джигитства, и

вовсе неважно, что наука их не имеет широкого применения в нынешней повседневности.

Когда пишу эти строки, в раскрытую дверь балкона врывается мощный гул реактивного самолета, и даже через оконное стекло мне видать, как вдалеке, над Тушиным, стремительно уходит вертикально вверх серебристая стрела, как она замирает вдруг и превращается в иссиня-темный треугольник, который начинает кувыркаться чуть ли не так же, как кувыркаются в небо голуби... В Тушине нынче авиационный праздник, его герои — знаменитые летчики на уникальных «су-двадцать девять», но разве этот шлейф, который возникает вслед за машиной, когда из горизонтального полета она выходит на «свечу» почти также, как цирковая лошадь на «офф», — разве шлейф этот тянется не из глубины веков?

Что ж, что он теперь не так уж похож на пар из лошадиных ноздрей...

— Как мамонты, говоришь? — повторяю я последние слова моего друга. — Не слишком ли мрачная перспектива?

Нет, правда: слишком огорчает его это хождение по кабине там, в которых ему должны выправить документы на пенсию... Одно дело сказать: мол, пенсионер Кантемиров. Недда первая получила свои бумаги: за всю эту цирковую «сладкую каторгу» — пятьдесят тысяч премиальных сейчас и восемьдесят одну тысячу ежемесячной пенсии — на потом. Ирбек пошел в цирк несколько, скажем, раньше Недды — в тридцать девятом, но его справки затерялись, и трудовой стаж зачислили с сорок пятого, а пенсию определили в семьдесят девять тысяч — это как?.. Джигит получит на две тысячи меньше?! Уж не жена ли станет его кормить?!

— Ты уж признайся, что завидуешь своей Алексеевне!

Он не отвечает на подначку — начинает рассказывать:

— В Замоскворечье есть один паренек — у него мастерская... Золотые руки, поверь, золотые — как-нибудь я тебя к нему приведу: сам увидишь. Миша с ним познакомился, а потом уже я. Русский паренек, Толя. Поправил мне кое-что из амуниции, еще отцовский пояс привел в порядок — как все делает: ювелир! Хоть сбрую, а хоть шашку, хоть кинжал — давно не встречал такого мастера. Сидит в чуланчике, но ведь и за чуланчик за этот отдает чуть ли не валютой. И налогами задавили — ну, задавили! Спрашиваю: как, Анатолий, дела? Отвечает: со зрением, Ирбек Алибекович, стало плохо. Не вижу денег!

Тонкие усы у Ирбека плывут вверх, прежний огонь, который прятался в зрачках почти незаметной искрой, загорается в глазах и худощавое лицо его озаряет такая простосердечная улыбка!

На Кавказе говорят, что нету такой пропасти, через которую человека не перенесла бы добрая шутка... Может, кому-то она даст крылья и в наши дни. Недаром ведь считается, что голову повесил — уже пропал.

...Лет, пожалуй, пятнадцать, а то и двадцать назад в Мехико его приняли в национальную ассоциацию мексиканских ковбоев «Чаррос». Вручая нагрудный знак, президент ассоциации сказал, что «Золотая шпора» прежде всего означает признание высокой порядочности ее обладателя. Может, оттого, что ПОРЯДОЧНОСТЬ — одно из тех доставшихся от отца слов, которые так дороги ему самому и в его речи тоже звучат обычно высшей похвалой, может — из вполне понятного желания поддержать себя шуткой на слишком уж строгой и торжественной церемонии, он тогда спросил: теперь, мол, можно в своих достоинствах не сомневаться?..

Но пожилой президент не улыбнулся в ответ. Голос его стал еще значительней, когда медленно произнес: «Настоящий наездник не может быть плохим человеком. Это правило без исключений!»

Нуждается ли оно в доказательствах?.. Не знаю.

Сугубые материалисты, мы раньше многое объясняли чисто биологическими законами, и в них

прекрасно укладывались и морковка в руке у дрессировщика, и сахарок либо сухарик в кармане джинсовой куртки у джигита на ре петиции... Конечно же, условный рефлекс творит чудеса. Но я о другом.

Расхожая фраза о том, что искусство требует жертв, для циркового артиста-трюкача, для каскадера в кино часто оборачивается жестокой реальностью, и это относится не только к нему самому, но и к животным, с которыми работает: их гибель бывает как бы не только запрограммирована, но уже и вписана в финансовый план.

Ирбек вместе с Хасанбеком первыми в России применили разработанную их отцом технику «подсечки» — сколько раз потом приходилось терпеливым, ко всему привыкшим коняшкам, на всем скаку «лететь» через голову. Но ни единой из них Ирбек не погубил. И жизни каждой придал особый смысл: одухотворение древнего союза лошади и человека — в наше полное эгоистической суеты и холодного расчета времечко.

«...и да владычествует они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом...»

Часто ли об этом, из Библии задумываемся?..

Странствующий так долго по белому свету со своими лошадами добрый человек, настоящий наездник, Ирбек Кантемиров неумоимо учил нас именно такому, освященному высоким Духом, владычеству и столь многое испукал: за нас всех.

БЕЛЫЙ КОНЬ НА АСФАЛЬТЕ

Отрывок из романа «Вороной с походным выюком»

Однажды поздней осенью я ехал в рейсовом автобусе из Краснодара в Майкоп. День был теплый и удивительно ясный — прямо-таки прозрачный был день. Такие деньки выпадают обычно в конце ноября, когда ветры покончили наконец с листвой и выдули заодно последние запахи сытого лета, когда уже хорошенько потрудились дожди, прополоскали, промыли все вокруг, и щедрое солнце является словно для того, чтобы всем добрым людям показать, насколько тщательно все проделано... Над ярко-зеленою озимью тогда тонко сквозят вдалеке макушки черных деревьев, а чистое, без единого облачка, голубое небо отодвигает горизонт до молочно-белых снегов на вековых кавказских вершинах. В такие дни все вокруг заполняет благодная тихая теплынь — такая тихая, что идущие домой школяры на пальце, продеют в петельку для вешалки, волокут по земле длиннополые свои пиджаки, а сидящие на лавочках распокрытые, с платками на плечах старухи глядят на это явное безобразие не только умиротворено, но даже с умилением...

Автобус был большой, новенький венгерский «Икарус», и по широкой, меж озимей, асфальтовой дороге катил торжественно, как раздумавший взлетать авиалайнер, который впервые присмотрелся к земле.

И вдруг он резко затормозил, смолк двигатель. Всех сильно качнуло, все тут же вытянули головы.

Впереди круглился затяжной поворот, на котором дугою замерла цепочка машин, и промежутки, оставленные железом с привычными глазу формами, толчками наполняли исчезающее тут же стремительное живое движение. Чем ближе стояли к автобусу машины, тем короче были меж ними разрывы, мельканье участилось как пульс, но запоздавшее сознание, наконец, донесло: навстречу

несутся лошади.

Послышались яростные удары копыт и бестолковое, тут же глотаемое натягом, гроыхание брички, взметнулись за окном задранные — бешеный зрачок под спутанной челкой, пена в белом оскале — головы, в новом броске кожа на спинах у лошадей дернулась, уже на той стороне канавы заплясали мощные крупы, отчаянно наклонилась пустая бричка, и вот уже из-под ног у них брызнула черная земля, две равные полосы от колес остались на краю поля, а они помчались теперь по зеленым, вынеслись на плоский курган с густым терновником по гребешку и, показалось, сперва, завязли, но вот перемесили его, судорожно переменяли, выломались — и покатились дальше.

— Бурка с Гнедком, — на вздохе сказала сидевшая позади пожилая женщина. — Не поубились бы!

Ударили по ногам барки? Не привыкли к упряжке? Слишком близко прошел, смрадом обдал тяжелый рефрижератор? Обидел тут же соскочивший с телеги конюх?.. Или одной из лошадей накануне приснился страшный сон, и она его неожиданно вспомнила?

Но точно так же не хотел ждать перед светофорами, так же не желал вписываться в обычную суету, искал прогала в ней, выламывался с городского асфальта на обочину этот сюжет о лошадях.

Прошлой осенью я возвращался с работы, когда навстречу мне поднялась со скамейки у подъезда одна из сидевших там обычно старушек, сказала с любопытством в глазах:

— А к вам люди приезжали. На лошадях!

Конечно же, я невольно переспросил: это как же, мол, так — на лошадях?

— Да так! — развела она руками. — Верховые... ну, всадники. Сперва думали, конная милиция, а потом глядим: в черкесках и в шапках этих, что на Кавказе носят...

— А-а! — начал я догадываться. — Спасибо! Жаль, меня не было — эх, жаль!

— Да и они жалели, и мы все, — начала сидевшая на скамейке другая пожилая женщина, но я уже открыл дверь и лишь выглянул теперь из-за нее: «Спасибо, спасибо!..» С ними только остановись!

Как раз в эти дни я готовился отнести в издательство первую в жизни книжку очерков, и были в ней среди прочих два цирковых: о клоуне Куклачеве, о знаменитом теперь «кошатнике», и об осетинских наездниках Кантемировых, о джигитах. Написаны они были довольно давно, кое-что пришлось уточнять, и накануне я звонил Ирбеку Кантемирову, расспрашивал его о ребятах: кто уже из цирка ушел? Кто еще выступает?

Дома я у сына спросил:

— Давно появился?

— Только что.

Хоть он вовсе не был виноват, я его укорил:

— Вот видишь! А к нам заезжали дядя Ирбек с джигитами.

Он так же коротко бросил:

— Мне сказали.

Повесил мой плащ и пошел в свою комнату: деловой.

— Ты по телефону там? — крикнул я ему вслед.

Он выглянул:

— Нет, а что?

— Позвоню сейчас домой. Расспрошу, куда ехали.

Сразу дозвониться я не смог, Ирбек был в цирке, а когда застал его на следующий день раненько утром, он рассмеялся в трубку:

— Ты что-то путаешь!.. Никуда мы не ездили ни вчера, ни перед этим. Кто теперь по городу ездит? Это раньше! В любую область летом приедешь, и, как часок выдался, так с ними — на речку... А теперь города поразрастались — из центра не выбраться, а где речка в центре — там набережная, бетон... нет-нет.

— Может, Мухтарбек со своими каскадерами куда-либо ехал? — спросил я Ирбека о младшем брате.

И опять: нет-нет, Миша сейчас на Украине, под Киевом, со своими головорезами снимается, только вчера звонил.

— Странно, Юра! — сказал я Ирбеку. — Ничего не понимаю.

— Знаешь, когда мы последний раз по Москве ездили? — слышался мягкий, как его кавказские сапоги, голос Ирбека. — Когда у нас Казик с рукой лежал — тогда!

Ох, эти сюжеты во мне — словно почки на весенней вербе!.. На какой веточке задержался солнечный луч, в какую посылней сок ударил — и та уже первая сбросила иссохшую шелуху, брызнула тонкими острями листочков... Или все это — те долги, которые никак не можешь раздать? Или, наконец, — рассказ о любви?

Ведь записки о Коробейникове уже подходят к концу, а о любви пока — ни слова и ни полслова! А что же это за повесть, что же это за роман такой — без любви?

Представляю, с какой гордостью приводят к Ирбеку Кантемирову, когда бывает в Осетии, своих маленьких внуков и его ровесники, которым уже под шестьдесят, и мужчины постарше: «Это ли не джигит, Ирбек! Возьми к себе мальчика — не пожалеешь!»

Что им впереди мерещится? Громкая, как у Ирбека, как у них у всех, у Кантемировых, слава? Уважение земляков? Поездки по дальним странам? Ой, как сперва до всего этого далеко! А сначала будут двойки в тех школах по областным городам, где цирковые дети давно уже у всех в печенках, — но что ему двойка, если вчера он на свои трудовые весь класс водил в кафе есть мороженное и назло ей, зануде-математичке, туда же поведет его и сегодня?.. Что ему подзатыльник молодого служителя, если он все-таки успел подержать за усы старого тигра?.. Что ж, что ребята постарше, земляки, закрыли его за шалости в уборной, где можно развалиться на сложенных в углу бурках, — если перед этим не раз и не два он закрывал их в другой уборной, где не то что лечь — присесть, извините, можно только на корточках?

Не без успеха освоив традиционные цирковые проказы, Казик пошел дальше — ему удалось-таки поймать мышь. Он выпустил ее на манеж, когда во время репетиции шесть кошек держались у клоуна Куклачева на руках и на плечах, а седьмая возвышалась на голове. Эта, седьмая, оттолкнувшись,хватила клоуна когтями по лбу, и тот бросился за Казиком куда проворней, чем все его хваленые кошки за бедной мышкой... Но потом они с Казиком горячо подружились.

Когда Казик упал с лошади и сломал руку, его отвезли в Первую Градскую — не так далеко от нового цирка, где они тогда выступали.

— Че случилось-то? — спросил его сосед по палате, вот уже год проживший в больнице и не то что другим — уже и сам себе давно надоевший «самолетчик» — парень с рукой в лубке, закрепленном на уровне плеча.

Казик честно ответил, что упал с коня.

— У бабки в деревне?

— В цирке! — не без гордости сказал Казик.

— И че ты там шарился? — спросил насмешливо «самолетчик».

Казик гордо ответил:

— Выступал!

— Ты?! — не поверил тот. — В цирке?.. Выступал? Ой!

Самому ему прострелил плечо пьяный дружок, и «самолетчик» был теперь горячо убежден, что нет большей мужской доблести, чем пострадать вот так вот на охоте. И для начала он послал Казика с его цирком просто куда подальше, а потом начал посылать с поручениями — принести из холодильника кефир, купить в буфете сигарет, отнести сестре градусник... Как настоящий кавказец, Казик старшему подчинялся, но ночью, ткнувшись в подушку, скрипел зубами («Опять сахар жрешь?») — кричал «самолетчик») и молча глотал слезы. Достоинство Казика страдало. Что ж, что он, может быть, еще и хорошенько не знал такого слова — мальчишки зато остро чувствуют то, что за ним стоит. Это мы, которые всякому слову можем найти объяснение и все по полочкам разложить, от этого самого достоинства, бывает, пытаемся избавиться, как от ненужной вещи: обременяет... лишает легкости в движениях, расторопности, поворотливости... Мешает! где-нибудь не в таком плохом месте, в каком-либо светлом и просторном, со множеством телефонов, кабинете, глядишь — и оставили, и забыли его. Вроде случайно.

Когда Казика пришел проведать Куклачев, сосед на того почти не взглянул, зато, когда клоун попрощался и на вопрос, что это за мужик был, мальчик ответил, что это друг его приходил, клоун, «самолетчик» равнодушно зевнул:

— Это с такой-то харей?

Как-то Юра Куклачев мне рассказывал: ехал он однажды в такси на «Мосфильм», уже здорово опаздывал и попросил водителя поднажать. Тот не вытерпел и спросил: «А чего ты туда спешишь?» — «На пробу! — сказал Куклачев. — Сниматься!» И таксист точно так тогда и сказал: «Это с такой-то харей?!»

Может, этот самый таксист оказался теперь соседом Казика, как знать.

А может, был он просто из тех людей, которые ни за что не улыбнутся прохожему, но зато, когда придут в цирк и в кресле поудобней усядутся, тут уж ржут до упаду и от артистов только того и требуют: уж на мои-то кровные рупь пятьдесят смешного мне отвесь полной мерой, не жмись! Отдай — не реши, уплочено!

Казик его возненавидел.

Когда в палате появился Ирбек, мальчишка сорвался: если, кричал, его отсюда не заберут, он или выпрыгнет в окно, или стукнет «самолетчика» табуреткой по башке, — почему тот не верит, что Казик — настоящий джигит?.. Почему над этим издевается?

— Потому что у тебя глаза на мокром месте — может, ты барышня? — сказал Ирбек. И больше

ничего не сказал.

Но в десятом часу вечера, когда они уже отработали номер, вместе с четырьмя молодыми всадниками Ирбек выехал из циркового двора — все они были в бурках, в папах, все — с хлыстом на руке, все, — с ружьями за спиной.

Они повернули направо и обогнули цирковую площадь.

Из «стакана» на проспекте Вернадского тут же раздался звук милицейского свистка, сверху спустился по лесенке молодой капитан и бросился им наперерез, но Ирбеку это было и надо. Он легко соскочил с коня и наставил на подбегавшего «гаишника» палец:

— У тебя мальчик или девочка, капитан?

— Сын! — с гордостью сказал милиционер и невольно расправил плечи, и приложил к фуражке руку, на которой висела полосатая его палка.

— Ты приводил его в цирк?

— А как же! — еще больше подобрел капитан. И тут же что-то припомнил. — Ты — Али-Бек?

— Али-Бек был мой отец. Так, как звали его, называется теперь вся наша группа, — поправил Кантемиров. — Я — Ирбек. Ирбек Алибекович, если хочешь!

Капитан протянул руку, на которой висела палка:

— А я — Григорий Петрович... Эх, знать бы — сына б захватил на дежурство!

— Лучше ты еще раз приводи его в цирк, — сказал Ирбек. — Вместе походим с ним за кулисами... Пока мы тут — хоть каждый день приводи. Контрамарка всегда за мной, — скажешь на проходной, чтоб позвали... А пока — может, проводил бы нас до Первой Градской? Мы хотим поведать нашего мальчика.

Капитан бросил взгляд на «стакан», в котором сидел и смотрел на них совсем молодой сержант, и сделал ему знак: оставайся, мол, за меня!

Потом он завел свой желтый «Жигуль» с синей полосой на боку, выехал на середину дороги, включил мигалку и покатыл впереди, а они на рысях поскакали за ним по осевой...

На пятачке асфальта перед больницей Ирбек пустил своего Семестра, своего умницу Сему по кругу, и остальные тоже начали кружить вслед за ним — сначала потихоньку, а потом все быстрее и быстрее... Когда кони попривыкли к новому месту, Ирбек негромко крикнул, и всадники бросили стремя, ногами в мягких своих сапогах стали на седла, в полный рост выпрямились, и в правой руке у каждого блеснул клинок.

Отстукивали дробь в ночной тишине подковы, хрустели под копытами камешки, взрывались синими искрами. Тяжело развевались черные бурки. «И-эх! — негромко вскрикивали лихие всадники. — И-и-эх!...» И под единственным фонарем молнией высверкивали и тут же гасли очерченные клинками круги.

Когда четверо из них стали по углам, а Ирбек в середине квадрата соскочил с коня, и его серый, в яблоках, его фарфоровый, как определял один знаток лошадей, в мушках, Сема выставил переднюю ногу и вытянул над ней шею — мордою до самой земли, таким образом низко кланяясь, — когда они стали так и все подняли, наконец, головы, посмотрели на окна, то все окна на всех этажах сплошь были залеплены лицами с расплюснутыми носами: столько зрителей собралось.

Тут же носы отлипли и почти разом появились ладошки и раскрытые пятерни: было похоже, что все

вдруг принялись протирать стекла.

Они подождали, пока откроется окно на четвертом этаже. Казик был в докторском белом колпаке и теплом халате, который набросила на него стоявшая позади и перехватившая его рукою поперек груди пожилая сестра.

— Эгей! — закричал Казик. — Я скоро отсюда выйду!

И еще что-то закричал по-осетински. Ирбек вскочил в стремена, натянул повод, и Сема стал привставать на задних ногах и приподнимать передние — делал «свечу».

К Ирбеку подъехали остальные и стали по двое по бокам. Они горячили коней, тут же их сдерживали и потряхивали ружьями в вытянутых руках.

— Поправляйся, Казбек! — закричал Кантемиров. — Нам трудно без тебя... ждем!

И они стали разворачиваться на месте, и Ирбек первым пришпорил своего Сему.

— Действительно, без него трудно! — сказал он капитану Григорию Петровичу, когда они выехали на улицу и стали поправлять лошадям подпруги. — Мать каждый день звонит: когда он вернется, наконец, их поездки в другой город?.. Один дед знает, а ей я решил не говорить. Она одна, целыми днями работает. А отца нет.

— Понятное дело, — сказал капитан Григорий Петрович. И вздохнул.

— А джигит должен расти джигитом, разве не так?

И добрый капитан Григорий Петрович подтвердил:

— Только и только так!

Потом он завел свой желтый «Жигуль» с синей полосой на боку, снова включил мигалку, и снова они поскакали за ним по осевой полосе...

Назавтра Казик шел по больничному коридору в сопровождении, «самолетчиков». Пользуясь летными терминами, можно сказать, что он вел три или четыре звена, или, если хотите, целую эскадрилью «самолетчиков». Все они расспрашивали его о джигитах, но Казик, как и подобает настоящему горцу, был немногословен, а то и вообще помалкивал.

После завтрака к нему подошла сероглазая, с длинными пшеничными волосами девочка в больничном халатике и спросила, можно ли с ним поговорить. Они отошли в сторонку и стали у окна во двор.

— Я слышала, как врачи говорили: если не случится чуда, то я умру, — печально сказала девочка. — А вот вчера было чудо, но я его не видела, мне давали снотворное... Значит, я и точно умру!

— Какая чепуха! — рассмеялся Казик. — Тебе сколько лет?

— Двенадцать, — ответила девочка.

— А мне тринадцать, — сказал Казик. — Ты подумай: если нам с тобой столько лет, почему же мы должны умереть?..

— Я не говорю: мы, — поправила девочка. — Я говорю: я.

— А ты почему должна?.. Кто тебе сказал? Ха!

— Сказали врачи. Если не получится чуда...

— Ты подожди немножко! — попросил Казик. — Только я выпишусь, и тут же будет тебе такое чудо! Подождешь?

И девочка пообещала подождать.

Казик теперь не скрипел зубами, спал хорошо, и каждую ночь ему снилось почти одно и то же: бьют цирковые барабаны, манеж заливают яркий свет, и он выезжает на своем вороном коне на середину манежа, а перед ним, свесив ноги на одну сторону, сидит девочка в белом платье и белом, как у невест-осетинок чепчике с жемчужными струйками по бокам... Барабаны смолкают, и в наступившей тишине слышится грозный голос:

— Это еще что за номер?!

— Это моя жена Марина, Ирбек! — смело отвечает Казик. — Я ее спас от смерти!

— Ты поступил как настоящий мужчина! — добреет знакомый голос. — Теперь ты — настоящий джигит.

И грозный Ирбек Кантемиров соскакивает со своего жеребца, идет к ним и с холки у вороного снимает девочку в белом платье чепце со струйками жемчуга по бокам, а потом подает руку Казику... Снова бьют барабаны, поздравить их бросается клоун Куклачев дядя Юра, но тут же неловко падает, встает и снова идет к ним, нарочно прихрамывая, еще издали тянет руку, а левую смешно потирает ушибленный бок...

По утрам его будил «самолетчик». Когда Казик открывал наконец глаза, тот пикировал на его тапочки и пододвигал их поближе к койке:

— Сколько можно дрыхнуть?.. Люди сказали, ждут тебя, а ты опять пропускаешь завтрак!

Но Казик не шел в столовую. Он набивал карманы орехами, которые прислал ему дедушка, и сразу бежал на третий этаж, в палату, где лежала Марина.

Когда Казика выписали, девочка поцеловала его и сказала, что помнить она его будет всегда, но они больше не увидятся.

И Казик спешил.

После первого же представления днем, когда они уже перестали вываживать коней, он незаметно потащил своего вороного в сторонку, на цыпочках прошел мимо гардеробной Ирбека. На выходе вахтерша спросила, куда это он собрался, но Казик уже знал, что ей ответить: на улице его ждет фотограф. Перед этим он снимал в цирке конников, но Казика тогда не было, болел, и фотограф теперь снимет его отдельно.

Вахтерша махнула ему рукой, и через дверь служебного хода он вывел вороного на улицу.

— Куда это он? — спросил вахтершу случайно заметивший это клоун, который подошел к ней с кошкой в руках.

Вахтерша объяснила ему, и клоун, поглаживая свою кошку, постоял в задумчивости, потоптался на одном месте, потоптался — и быстро потом пошел к себе в уборную.

Сперва он хотел было переодеться и снять грим, но потом понял, что времени на это у него нет, и только махнул рукой своему отражению в зеркале.

— Тоже, что ли, фотографироваться? — спросила его вахтерша.

Он снова только махнул рукой.

Такси он поймал не сразу, да и ехали они потом медленно, потому что на этот раз молодой водитель давился от смеха, дважды нарушил правила, и талон у него остался целым лишь потому, что всякий раз начинали улыбаться и подходившие к ним «гаишники». Когда Куклачев приехал, наконец, к Первой Градской, Казик в бурке стоял на седле и, приставив ко рту ладошки рупором, громко кричал:

— Марина!.. Марина, эй!

Потом он кричал:

— Марина, где ты?! Смотри и — не умирай!

Потом он закричал:

— Разбудите Марину, пусть выглянет!

Открылось окошко на четвертом этаже, в нем появился «самолетчик».

— Чего орешь, Казбек? — крикнул негромко. — Ее уже увезли!

— Куда?! — задрал голову Казик.

— Куда-куда! — сердитым голосом негромко закричал «самолетчик». — Сам в больнице лежал, знаешь... Куда человека увозят?.. Когда помрет.

Куклачев снял Казика с седла, хотел поставить не землю, но ноги у мальчишки подкашивались, он весь дрожал, и клоун прижал его к себе, прикрыл пятерней голову — папаха упала. Мальчика трясло, и вороной влажными губами потыкался ему в ухо, понюхал вихры, которые выбивались из-под растопыренных пальцев клоуна, задрал морду и громко, обиженно заржал...

Так и шли они обратно втроем: одною рукою клоун вел под уздцы коня, а другою поддерживал мальчика в длинной, почти до пят, бурке.

Все, кто видел их, еще издали начинали улыбаться и переставали потом, когда подходили к ним совсем близко.

И многие, пройдя мимо, останавливались и провожали их погрустневшими глазами: так провожают обычно траурную процессию...

Или вы хотели — о другой любви?

О какой?

АЛАНСКИЙ РЫЦАРЬ

На представление с участием осетинских конников я шел со смешанным чувством... Все последние годы для меня было два непререкаемых авторитета в этой области: старший из джигитов

Кантемировых — Ирбек, продолживший созданную его отцом классику циркового наездничества, и младший из братьев, Мухтарбек, на пере ломе времен, как говорится, основавший свой уникальный конный театр и нынче мучающийся с ним — это без преувеличения, это в самом прямом смысле. До лошадок ли государству, которое не может заплатить своим учителям да врачам? До исторических ли трагедий, когда все мы стали участниками общей сегодняшней драмы?

Но вот Ирбек не без гордости показал друзьям свое пенсионное удостоверение, тут же впал в грусть, когда поинтересовались, сколько «отвалили» ему за более чем полувековое беззаветное служение удали, храбрости, мастерству, и щедро пригласил на дружеский ужин в ресторан: «обмыть очередное и последнее звание...» Какие тут могут быть подначки: нарушая кавказский этикет, который мы с ним старались блюсти в этом сумасшедшем доме — в Москве, я, младший по возрасту, просто-напросто пристыдил его: «Мы ведь только что убедились: ты — далеко не миллионер!» «Я — не миллионер, но я — осетин!» — сказал он без всякой рисовки, но было у него в тоне что-то такое, отчего подступил к горлу комок.

Пожалуй, мне лучше многих было тогда известно, как «не миллионеру, но осетину» живет. В те дни, когда группа впервые уехала на гастроли без него, он явно тосковал, пытаясь скрыть это за присущей ему легкой иронией, искал дела и, может быть, как нельзя кстати была эта занявшая его тогда почти без остатка история с его жеребцом Асуаном, которого ему в конце концов удалось выкупить у «Госцирка» — как выкупали в старину из рабства верных товарищей — и после долгих мытарств по армейским да милицейским конюшням определить, наконец, на Цветном бульваре: под «высочайшее покровительство» Юрия Никулина, всепонимающего коллеги, ставшего под конец жизни чуть ли не главным «цирковым начальником»...

Нет-нет, да и спрашивал я в ту пору Ирбека: как там Марик? Маирбек Кантемиров. Сын. Не только продолжатель дела отца, но и наследник его славы. Волею судьбы — хранитель незыблемых до сих пор традиций родоначальника цирковой династии Кантемировых, своего деда Али-Бека, Алибека Тузаровича. «Готовит свою программу», — коротко отвечал Ирбек. Мы с ним всё собирались вырваться то в Ленинград, то в Курск, где гастролитовали осетинские конники, но нам не везло: то перед самым выездом сломалась машина, то приболела мама Маирбека — Недда Алексеевна.

Маирбек судя по всему тоже переживал нелегкие времена. Одно дело — этот самый «рынок», на котором так вздорожали сenco да овес. Другое — полоса невезения, в которую попал в самое неподходящее время: сперва случился пожар в Курском цирке, во время которого, когда спасали коней, им пришлось показать мастерство, какое и не снилось, как говорится, профессиональным каскадерам. Потом Маирбек неудачно прыгнул с коня в мирной, что называется, обстановке, сломал ногу и ее надолго «заковали» в гипс... Потому-то, когда шел на представление, думал помимо воли: а вдруг это теперь гораздо ниже по уровню, и мне придется потом подыскивать слова, чтобы не огорчить своего старого друга Ирбека... Что ему, и в самом деле, скажу? Чем утешу?

Но вот на арену все также лихо вынеслись всадники на горячих скакунах, вот неожиданно спешились, начался своего рода воинский танец, то и дело распадающийся на отдельные схватки, на поединки, и я вдруг будто при слушался к чему-то в себе самом, давно жившему во мне, очень и очень дав нему, к тому, что мы зовем голосом крови...

Отцовская программа заявляла джигита во всем его отточенном блеске — все-таки по преимуществу цирковом. Маирбек явно делал заявку на историю джигитства, уходившего корнями к древней Алании, некогда владевшей не только Кавказом, но и степями между Черным и Азовским морями, Алании, мощно противостоявшей хазарам плечом к плечу со славянами, вместе с которыми она являлась преемницей теперь уже почти мифических скифов. Действие на манеже и волновало, и завораживало, в памяти снова про неслось умолкнувшее было под натиском нынешнего оголтелого практицизма: «ветер степи шумит в древе европейского рыцарства»... Ветер степи!

Ну, конечно, конечно же: первые лихие наездники с гордым обычаем воинской доблести примчали на Запад из тогдашней Алании. И не оттуда ли пришел и святой Георгий — бывший воин и землепашец, именно потому-то и ставший покровителем путников, что сам перед этим с лихвою хватил тягот дальнего и трудного пути.

Великое дело — энергия настоящего искусства!.. Наутро неожиданно для себя я написал пару страничек о взаимосвязи рыцарства с христианством... с благодарностью вручить сыну своего друга? Неизвестно для чего оставить себе?

И только потом взялся перечитывать любопытнейшую книгу итальянца Франко Кардини «Истоки средневекового рыцарства»: там-то как раз научно обосновано то, что дальним потомкам скифов, да не совсем дальним — аланов подсказывает бессмертная душа-вещунья... Молодец Маирбек! Хвала его соратникам, хвала умелым джигитам, сердцем принявшим не только творческий — скорее философский, и действительно, замысел своего нового достаточно молодого пока наставника.

Перелистывать страницы довольно объемистого труда, вспоминать полузабытые эпизоды давних сражений и вновь задумываться над причудами истории и удивительным постоянством характеров действующих в ней лиц — не слишком ли это большая роскошь в наше время, тоже будто пустившееся вскачь?.. Полно неотложных дел, трещит телефон, добавляя еще хлопот, а ты сидишь и размышляешь о вещах, которые нынче мало кому стали нужны...

И тут подтвердилось давно замеченное: все случается вовремя, и если к тебе как будто маг нитом начало притягивать информацию — не сомневайся, она тебе вот-вот при годится.

Позвонили вдруг из редакции уважаемого журнала, напомнили, что Ирбеку Алибековичу Кантемирову вот-вот исполнится семьдесят и попросили написать о нем несколько страниц. От телефона вернулся к рабочему столу, на котором лежала раскрытая книжка Франко Кардини, скользнул по ней сперва невидящим взглядом, руку положил, и тут вдруг зажглась та самая искорка, которая предшествует вспышке сознания: да вот же, вот!.. Старший твой, давний твой друг Ибрек — как раз и есть тот самый неустрашимый и благородный рыцарь, каких осталось немного на нашем нынешнем почти всеобщем торжище... разве это не так?!

Опять пришлось Недде Алексеевне испечь традиционный осетинский олибах — три пирога с сыром, опять мы сидели за дружеским столом дома у Кантемировых и, поглядывая на разнокалиберные бутылки с яркими наклейками, сочувствовали джигиту: как же так он не рассчитал? Давно уже ввел за строгое правило: после года, в течение которого он мог позволить себе в хорошей компании «промочить горло» хорошим напитком, непременно следовал год абсолютного в этом смысле воздержания. Как раз пошел год под символическим названием «ни капли»... А впереди — юбилей. Или так оно и было задумано?

Потом я попросил своего друга достать все удостоверяющие его «рыцарское достоинство» официальные документы, и на журнальном столике передо мной оказалась буквально гора преимущественно красных, алых да малиновых обложек: каких только дипломов да грамот здесь не было! Если «от печки танцевать», то прежде всего пять, начиная с 1948 года, грамот за первое место в чемпионате Союза ССР по джигитовке. Эта «спортивная» линия пересеклась с артистической: 8 июля 1949 го да присвоено звание «Заслуженный артист Северо-Осетинской АССР». И куда он с этим званием отправился? Служить Отечеству: «Рядовому Кантемирову И.А., занявшему первое место по джигитовке на 7-ых конно-спортивных состязаниях на первенство Советской Армии по конному спорту, присваивается звание „Чемпион Советской Армии 1952 года“. И подпись: Маршал Советского Союза М.С.Буденный». Такую же грамоту через год получил «ефрейтор Кантемиров И.А.», а через два — «младший сержант».

Может, потому-то, что слишком разнились звания того, кто получал грамоты, и того, кто их подписывал, и догнать «народного Маршала» было делом явно безнадежным, Ирбек Кантемиров и решил на другом сосредоточиться?.. 5 октября 1960 года он получает звание Заслуженного артиста РСФСР, 30 мая 1980 года — Народного артиста России, а 17 августа 1989-го — Народного артиста СССР.

Затем случилась такая история: в прошлом году, в дни празднования 90-летия цирковой династии Кантемировых, бывший тогда Президентом Республики Ахсарбек Галазов вручал Ирбеку медаль «Во славу Осетии». В указе значилось: «Народному артисту Республики Северная Осетия-Алания и

Народному артисту СССР». Заодно джигит получал именную шашку и «дарственную» на жеребца, выбрать которого на конном заводе предоставлялось ему самому. И тут вдруг Ирбек в своей обычной манере простосердечно сказал: «За оружие и лошадь спасибо, а медаль принять не могу: тут ошибка!»

«Какая?!» — удивился Галазов. «Народным артистом Осетии я не был, — с нарочитой горечью проговорил Ирбек. — Не довелось!» «Действительно, ошибка! — признал Галазов. — Считаю, что мы ее тут же исправляем: поздравляю тебя с присвоением и этого звания!»

Так что не прав был всеобщий любимец Осетии, — когда утверждал, что звание пенсионера для него — «очередное и последнее»: 9 июля 1997 года вышло постановление еще об одном рыцарском титуле: «Народный артист Республики Северная Осетия-Алания».

Непривычно смотрится среди увесистых красных обложек легонькая «грамота» из телячьей кожи с тисненой на ней красивой латиницей: 4 июля 1968 года «синьор Ирбек Кантемиров» принят в мексиканский клуб конников «Честь и традиции» и ему вручен нагрудный знак «Золотая шпора».

— Может, помочь тебе? — с дружелюбной усмешкой спрашивает этот осетинский «синьор», кивая на слишком медленно убывающую кипу лежащих передо мной всякого рода наградных да благодарственных документов. — А то оставайся ночевать — куда на ночь глядя?

Дело пошло быстрее: «Помнишь, я тебе рассказывал, как мне пришлось затащить своего Буяна на пятый этаж, в концертный зал ВТО — чтобы поздравить Михаила Михайловича Яншина... вот кто, и правда, любил лошадок!.. Но я ведь на Буяне выезжал и на сцену дворца культуры нефтеперерабатывающего завода в Грозном и появлялся на полевым стане или посреди буртов зерна на току на Ставрополье и на Кубани... Лошадка куда не увезет: не только за грани цу, в какой-нибудь Франкфурт-на-Майне либо Брюссель — она тебя и на Урал, и в Сибирь... Это вот — за выступление на „Камазе“, прямо в цехах, это — за „Уралмаш“, за Кемерово... а вот он и твой Новокузнецк — радуйся!»

Надолго задержались мы с ним над красочным проспектом «музыкального действия „Наша древняя столица“», оставшимся у него после пышного празднования 850-летия Москвы. Любопытная, и правда, история!

Накануне Ирбек неоднократно вспоминал, как участвовал в юбилейном представлении, посвященном 800-летию столицы: в 1947 году — полвека назад! За несколько месяцев до прошлогоднего «действия» стало известно, что группе «Али-Бек» тоже будет предоставлена редкая возможность блеснуть мастерством на Красной площади. Кантемиров-старший вздыхал: что ж, сам постоит уж в толпе, если пригласительный билет удастся достать — надо, надо бы посмотреть, как будут джигитовать осетинские конники под началом Маирбека. И вдруг — эта неожиданная травма в Твери: за день до окончания гастролей, меньше чем за месяц до грандиозного представления на столичных торжествах... Нет, недаром Ирбек, несмотря на пенсионное свое удостоверение так и не ушел в запас, недаром — в полном одиночестве и вроде бы неизвестно для чего — все продолжал заниматься со своим Асуаном, а когда уже отправил его на конный завод в Ростове, когда унес из цирка домой и пучок хлыстов, и свою рабочую одежду — с чужими наездниками, неожиданно попросившими его о помощи. И вот теперь Маирбек лежал в больнице с подвешенною на блоках ногою в гипсе, а он, как и пятьдесят лет назад, примеривал сшитую мамой для того праздника черкеску, которая до сих пор была ему в пору... это некоторые — вроде автора этих строк — «штатские» размер за размером меняют костюмы: пятьдесят два... пятьдесят четыре. Рыцарь верен своим «доспехам», так оно выходит, всю жизнь.

И опять он с кавалькадой осетинских наездников проезжал по ликующей имениннице-Москве. Так распорядилась судьба: во главе кавалькады.

— Оставайся! — снова на полушутке предлагает мой друг. — Бывает, ребята спят — кто на раскладушке, кто — завернувшись в бурку, седло под головой, а сегодня выбирай: хочешь — диван тебе, хочешь — тахта. Ты же еще хотел табун посмотреть...

Это, и в самом деле, особая тема: его табун. Сколько я собирался написать: мол, все пошучиваем, что зрение стало плохое — денег не видать. Все анекдоты рассказываем: «Хочешь работать в цирке?» — «Нет, я хочу каждый день обедать!» Или еще один, который касается не только «цирковых», но нас всех: «Как живешь?» — «Хорошо живу». — «А газеты читаешь?» — «А откуда бы я иначе узнал, что — хорошо?» Всех нас нынче объединили одни и те же клоуны, правда, раньше, бывало, мы потешались над «рыжим», такое в цирке у него официальное амплуа. А теперь потешается он над нами: всякому овощу — свое время!.. Но какой, скажите мне, «новый русский» либо какой «новый осетин» может похвастать ста двадцатью без малого скакунами, которые находятся прямо-таки в идеальном — по нынешним-то временам — состоянии — даже тот, из папье-маше, которого первым подарил ему, еще мальчишке, отец в трудном сорок втором. Не просят есть и остальные лошадки из этого табуна: чугунные, бронзовые, из черного дерева, из красного, из сандала, из стекла, из фарфора, из глины, из фаянса.

— В нашем землячестве все предлагают устроить выставку, — вздохнул Ирбек, когда мы с ним переходили от одной «конюшни» к другой — от книжного шкафа до серванта. — Но как подумаешь, сколько будет хлопот!

— А сколько радости, Ирбек?

— Соглашаться? — спрашивает он и снова переходит на обычный свой мягкий иронический тон. — Ладно: осетинам не удалось — казаки уговорили!

Это тема тоже особая: казаки.

Когда в июне 1990 года в Москве собрался первый Большой круг России, среди дорогих гостей были два осетина: профессиональный джигит Ирбек Канте миров и профессиональный военный, генерал Ким Цаголов. Много воды с тех пор утекло, но пену она так и не унесла: пена и нынче пышно покрывает многие казачьи сообщества. Виноваты в том не одни казаки, но не о том нынче речь. Иной раз, когда начинали вместе по поводу казаков горько пошучивать, я Кантемирову напоминал: вы ведь тогда, Ирбек Алибекович, в почетном первом ряду сидели — ответственности своей не ощущаете?

Он всегда отвечал с дружеской готовностью: мол, чем я могу помочь?

Как-то недавно, и в самом деле, попросил его: помоги!

Один горе-атаман из-под Звенигорода решил поощрить своих казачат коллективным походом в цирк, но хватился, как всегда с нынешними атаманами случается, когда поезд уже уходил: зимние каникулы на исходе, билеты в цирк давно проданы, а перекупщики слишком хорошо знают, кому и за сколько пару-тройку «лишних билетиков» предложить....

«Сколько их?» — спросил джигит. Я вздохнул: семеро!.. Он сперва шутливо схватился за голову, потом серьезно сказал: «Пусть приезжают — будем соображать».

Как нарочно, у служебного входа в тот день надолго обосновался пожарник, рвение которого опровергало все байки насчет того, что публику эту медом не корми — дай поспать... Друг мой бросился искать администратора, вернулся с пропуском на пять человек: о семи говорить язык не повернулся. Мне было неловко, я, и в самом деле страдал, а он все пошучивал: «Жаль, что старого друга нет, Игоря Кио — придется самому!» «Да ты, и в самом деле, — фокусник!» — растроганно сказал я ему, когда он, весело отшучиваясь от знакомых контролерш, протолкал в фойе цирка на Цветном даже не семь человек — добрый десяток!

Народу было битком, и наши подшефные во главе со своим горе-атаманом уселись в затылок один другому на каменных ступеньках. «Пошли на конюшню!» — скомандовал мне Ирбек. Пока молодые осетины искали там войлочные подстилки, мы с ним ломали пустые коробки, сплющивали картон: нельзя, чтобы поход в цирк для казачат окончился простудой!

В начале антракта он вдруг появился в обычной своей «рабочей» форме — старая джинсовая курточка, выцветшие галифе, мягкие кавказские сапоги: «Берем ребят на малый манеж — быстренько?»

Наездники Маирбека вываживали уже отработавших лошадок, а сам он, все еще с одним костылем, сидел у входа на отведенном в сторону бортике. «Что, осетины? — спросил Ирбек весело. — Дадите казакам покататься?» Когда обалдевшие от неожиданного счастья казачки не только, наконец, расправили плечи, приподняли подбородки, но уже и носы стали задирасть, он всем велел спешиться и вывел в центр манежа солового жеребца: «Сегодня этого в программе не было — смотрите здесь!»

Легко, как прежде, опрокинулся на спину, стал подманывать лошадь, и жеребец сперва потянулся к нему губами, легонько фыркнул и стал послушно укладываться рядом... «Раненый» джигит перекатился набок, медленно перенес ногу через седло... труженик! Какой все-таки беззаветный труженик!

Ясное дело, что у этих, у казачков-то, за кулисами глаза разбежались — один до сих пор провожает глазами лошадь, на которой ему посчастливилось проехаться, другой — и вообще, как говорится: исподтишка трогает «хвост», пришитый пониже спины у вымазанного черной краской молодого наездника. На представлении для детей давали сказку, и лихим джигитам пришлось на время переквалифицироваться в нечистую силу... Казачки «ловили ворон», но старый мастер работал с полной отдачей: ничего-ничего!.. Ведь главное-это честно посеять, а там уж судьба распорядится: взойдет ли?.. Вырастет?

Вот уже и поднял на себе конь раненого джигита, вот и вынес его с «поля боя». Друг мой передает повод молодому наезднику и собирает казачат вокруг себя: «Вопросы будут?»

Я-то спросил его об этом чуть раньше, когда мы сидели у него дома: эти, мол, твои красные дипломы-свидетельства взлета. А следы падений и травм?

Прекрасное это все-таки у него свойство: переводить разговор на полушутку. А сказать, чем одно от другого отличается? — проговорил, посмеиваясь. — О том, что тебе собираются звание присвоить, знаешь заранее... Застольные друзья то и дело напоминают: мол, стараемся, — жди! А тут ни сном ни духом, и — на тебе... Работали как-то в Ленинграде. Номер был: прыжок на лошади через огненное кольцо. И вот конь уже в прыжке, а тут — мелькнуло: высоко взял!.. И сразу хруст: слишком резко упал грудью на луку — у кавказского седла вон какая высокая! Кто виноват?.. Что сам у себя решил ребра пересчитать? Или кости на ноге решишь вдруг без надобности поправить... Но что я тебе скажу: за всю свою жизнь, за всю работу в цирке и на съемках в кино, когда пятнадцать раз на дню падаешь, — ни одного денька на бюллетене. Ни одного! Так что рядом с этой «красной горкой» ни единой белой бумажки положить нельзя — не было!

— Прямо-таки для «Книги рекордов Гиннеса» — подзадорил я. — Может, напишем туда?

Он дотронулся до моей руки:

— Оставь для своей. Договорились?

—А в плохую погоду, Ирбек?

Тут я, кажется, угадал.

— Да что ты! — воскликнул он. — В ненастье чуть ли не всякий перелом о себе напоминает: ты меня не забыл?.. В нашем деле каждый из таких как я — ходячий барометр.

Преувеличение тут не в том, что настоящий барометр может поточней оказаться, нет. Дело в другом: таких закон, может быть, единицы. Может быть — вообще больше нет.

Как-то мы смотрели представление в цирке на Цветном из директорской ложи, откуда, само собою, лучший обзор. Ирбек то присаживался рядом, то отходил по каким-то своим делам и снова возвращался. Мой внук, один из тех самых казачат, которых добрый джигит иногда баловал, все посматривал куда-то вбок, потом горячо зашептал: «Дедушка Ирбек!.. Предупредили, что на видео нельзя снимать, а там вон рядом сразу две камеры: им можно?..»

Поглядывая вниз, друг мой вытянул шею, и его сухощавое лицо напомнило профилем горного орла. Сочувственно сказал: «Им нужно!..» «Почему им нужно? — таким же горячим шепотом взялся допытываться внук. — Это кто?» «Не забудешь меня спросить в перерыве?»

Где уж там — забыть: в перерыве пошла беседа.

— Ты в школе списываешь? — сочувственно спросил Ирбек.

— Это у меня списывают! — горячо откликнулся внук.

И старый мастер явно обрадовался:

— Тогда ты меня поймешь!.. У меня тоже списывают. Это — «всадники без голо вы». Так их мой отец называл. Наш отец. Твои однокашники не указывают потом в своей тетради: содрал у такого-то?

— Не-а! — искренне вздохнул внук.

— И эти тоже не пишут. Полностью сдерут — номер за номером. И у себя поставят. Хоть в Узбекистане, а хоть в Киргизии. Знаешь, где это?

Внук нашелся:

— Очень далеко! Очень.

— От аланов! — подхватил Ирбек. — Верно. И если уж ты пригласил в свою программу осетинских всадников, то так о них и скажи: это аланская езда. Аланские поединки!.. Аланские игры. Наш отец никогда не зазывал чужих наездников — учил своих. Теперь их больше двухсот: в каких только странах не работают. И никогда не пользовался чужими мыслями, другое дело, что всегда любил расспрашивать уважаемых джигитов...

— Старых? — переспросил внук.

— Старых на Кавказе никогда не было, — объяснил Ирбек. — Были только — старшие и старейшие, понимаешь? И раньше это было в порядке вещей: учиться у них. Во время войны с немцами я был чуть больше тебя... Все джигиты, которые с нашим отцом работали, ушли на фронт, лошадей мы отдали тоже — отец оставил себе ту, что забраковали. И вот рано утречком мы едем с ним на арбе по окраине Владикавказа, и встречные останавливаются, чтобы поклониться отцу, а те, кто сидит около двора, непременно встают. И отец говорит мне: подбежишь потом, сынок, в этот двор. Скажешь, отец прислал спросить, не надо ли чем помочь — он даст лошадь... ты понимаешь?

— Еще бы! — горячо откликнулся внук.

Поглядывая на них двоих, я иногда с невольной печалью размышлял: и впрямь жаль, что нет уже нынче этого обычая — отдавать мальчика на воспитание опытному джигиту-аталику. Когда-то на Кавказе это была одна из самых славных традиций, которая объединяла не только разные семьи и разные фамилии, но и разные народы. Хорошо зная о крепости и о значении этого обычая его пытались соблюсти за рубежом потерявшие родину эмигранты... Один из наших общих с Ирбеком товарищей, нет-нет, да и приезжающий в Россию из Брюсселя Михаил Жданов, тоже бывший профессиональный джигит и каскадер, кубанский казак, воспитанный вдали от родины другом его отца — «царским» генералом из знаменитого осетинского рода Мистуловых, страдая от нынешней казачьей расхлябанности как-то рассказывал: «Что такое настоящий казак?.. Что такое — настоящий

джигит? Однажды мы шли по улице в самом центре Парижа: Асламбекович, мой аталик, как положено старшему, посредине, слева от него — мой отец, справа — я. Все в ладных черкесках, с кинжалом на поясе, в кубанках. Говорил генерал Мистулов, и мы с отцом так внимательно его слушали, что пошли на красный свет... это в Париже, представляете?! Но у нас был такой вид, что полицейский тут же перекрыл движение автомобилей, а потом подошел к нам, отдал честь и каждому посреди улицы пожал руку. И мой аталик сказал мне: ты видел, Михаил?.. Достоинству не нужен язык. И оно не знает преград!»

Не может быть, чтобы мы не сохранили его в себе под напором «общечеловеческих ценностей», которые на самом-то деле обернулись для нас забившим все телевизионные каналы космополитическим мусором!.. Чего нам искать на стороне?!

Нынче из-за рубежа только ленивый не напоминает нам о «цивилизованном мире». Бывает, еще громче стараются подпевалы — якобы из «своих».

Но разве Кавказ — не цивилизация?

Удивительная. Уникальная. Другую такую не земле — поискать.

В каждом народе есть люди, которые своим подвижническим примером и безукоризненным нравственным опытом не только скрепляют прошлое с настоящим, но и настоящее с будущим: они наверняка останутся — в благодарной памяти соотечественников. Таков Ирбек Кантемиров, одним своим незапятнанным именем сплывающий нынче и многострадальную Осетию, и сбитый с толку прежде всего самою Москвой Северный Кавказ, и всю беспокойную страдающую Россию.

И скифские безымянные курганы в причерноморских степях, и европейские хроники о легендарных аланах, и могильная плита с фамилией офицера русской армии Кантемирова, оставленная на Шипке в Болгарии сто двадцать лет назад — все это памятники и древнему, и еще недавнему рыцарству, которое и нынче неистребимо живет, пока живы те, кто помнит о нем и чтит его...

СЧАСТЛИВАЯ ЧЕРКЕСКА

Попробуем представить себя на его месте: вот он уже столько месяцев ходит в Москве по самым разным инстанциям, все пытается выкупить своего Асуана... Кто-то за это время стал владельцем гигантского алюминиевого завода в Братске, кто-то купил себе старинную виллу в Ницце, а другой — самый дорогой дворец в Брюсселе, столице Бельгии. Продаются и покупаются авиакомпания и пароходства, из рук в руки переходят крупнейшие производства и самые богатые банки, а твой как будто все это понимающий, твой верный конь смотрит на тебя полными печали глазами: а ты-то, мол, что со мною медлишь? Ты-то что?!

«Знаешь, как он в то время смотрел на меня? — рассказывал мне Ирбек. — Так выразительно, что я как будто читал у него в глазах: ну, и где, мол, эти твои застольные товарищи, эти герои-благодетели, которые тут сперва похлопывали меня по шее и поддерживали ладонью морду, а потом в соседнем ресторане так били себя в грудь, что и мне тут, на конюшне, слышать было: ну, какой разговор!.. Такого красавца и такого молодца — да не выкупить? Все, на днях решим, все!.. Он так, ты веришь, глядел, что мне казалось, как будто не толь ко он на меня смотрит — все лошадки, с которыми я когда-то работал и которые меня никогда не подводили и не предавали — тем более... у меня тогда голова падала на груды!»

Но вот, наконец, наступил счастливый миг, когда Ирбек сказал Асуану: ну, все, успокойся. Мы снова

будем вместе. Ты — мой!

Пока главной целью оставалось — выкупить Асуана, все остальное казалось куда более достижимым, но вот, наконец, и остальные проблемы поднялись во весь — так и хочется тут сказать, финансовый — рост: куда поставить коня? Как раздобыть для него корм?

Отцы-командиры единственного в России конного полка — «киношного» — предложили забрать пока Асуана к себе в Голицыно, но ежедневно добираться туда, за пятьдесят километров, на машине — значит, больше за ней следить, ее обихаживать, на нее тратиться, ездить по железной дороге, а дальше — автобусом, — тоже не выход.

Старые знакомцы из конного дивизиона московской милиции сперва дали Ирбеку грузовик-коневозку, чтобы он перевез Асуана в конюшни при манеже ЦСК, но ездить туда тоже было неблизко, а самое главное — и там теперь конники с лошадами жили беднее некуда. К чести их они делились последним, но принять такой жертвы Ирбек не мог: ни сам он, ни его трудяга и умница Асуан никогда не были на хлебниках. И опять прислали коневозку все понимающие «менты»: на этот раз перевезли Асуана в свой денник — недалеко от метро «Аэропорт». Около года жеребец квартировал там, а потом Юрий Никулин, хорошо знавший еще старшего Кантемирова, Алибека Тузаровича, предложил: давай, так и быть, ко мне, Ирбек, — на Цветной!.. Я тут, правда, уже пригрозил правительству Москвы: не будут давать деньги на содержание животных — придется мне их однажды на волю выпустить. Рядом Центральный рынок, и когда тигры да львы съедят продавцов, какая радость будет всем этим добрым парнокопытным: маленько подпитаться и яблоками, и урюком, и бананами, и традиционными кавказскими травками... Тогда уж, дорогой джигит, не взыщи: вместе будем отвечать за потраву. А пока веди своего друга, определяй, так и быть, на цирковой конюшне.

Надо было ковать железо, пока горячо, а у милиционеров-конников как раз начались учения, коневозка тоже застряла под Москвой, и тогда Ирбек с вечера приехал в денники со скатанной, перевязанной ремешками буркой, неподалеку от Асуана прикорнул в ней до полу ночи, а там, когда Москва погрузилась в сон и улицы опустели, начал своего любимца седлать.

Стояла ранняя весна, гудел пронзительный ветер, ломал окоченевшие за зиму ветки черных деревьев и сносил вниз тяжелую дробь талой капели. По темному бетонному городу с его переулками и развилками одинокий всадник пробирался как по теснине меж гор, и синяя от холода луна в просвете над головой точно также ныряла в облака или пряталась вдруг за нависавшим сверху каменным козырьком.

Только потом, уже на Ленинградском шоссе, мрачные стены этого рукотворного ущелья раздвинулись, он поехал, как по долине, и мимо на бешеной скорости промчался «мерседес» с двумя еле поспевавшими за ним «джипами»...

Не успел успокоиться напрягшийся Асуан, как автомобильный кортеж впереди резко замедлил ход и стал разворачиваться. Поравнявшись с призрачным видением, машины долго двигались рядом с ним; тусклый свет уличных фонарей изредка высвечивал при льнувшие к стеклам лбы: мол, что там за чудо?

Пожалуй, он, и в самом деле, похож был на призрак, этот сухопутный «летучий голландец», над которым вместо белого паруса вздымалась черная бурка... И правда: кто таков этот горец?.. Заблудившийся в лабиринте времен и случайно попавший на столичный проспект древний нарт?.. Или наоборот: повелитель времени, мерным стуком копыт своего коня прошивающий строчку между прошлым и днем сегодняшним?

Этот вопрос не однажды задавал потом себе я, когда ранним утром сидел рядом с малым манежем в цирке на Цветном и подолгу смотрел, как Ирбек с поводком в руке дожидается, пока освободится манеж, как по-прежнему легко поднимается над стремянем и привычно вращается в седле, как задает потом коню такую работу, какой лошади, может быть, не видят у тех, кому до пенсии еще ой как далеко... Вот что такое, думал я, старая школа! В самом высоком и уважительном смысле.

Разминка, потом следует испанский шаг, пируэты, поклоны... Теперь-то — ради чего?

Ради чего каждый божий день ровно в пять подниматься, а в шесть уже стоять на платформе «Крылатской», ближайшей от дома станции метро и уезжать в сторону центра, случается, не то что одному в вагоне — одному во всем поезде. До «Цветного бульвара» езды около часа, а потом еще пешочком чуть-чуть... Идет и знает, идет и чувствует, почти слышит, как Асуан пофыркивает в своей выгородке, все нетерпеливей, все громче, вот сперва тихонько заржал — и это как сигнал для стоящей на конюшне неподалеку «ишачки». Эта солидарная с Асуаном дама заходится в таком длинном крике, что начинают просыпаться даже те обитатели цирковых клеток, кто мог бы еще спокойно поспать... Поросяенок начинает похрюкивать и визжать, блеют козы, раздается разноголосый собачий лай, откашливается верблюдица, даже молодой слоненок пробует голос, и тут вдруг раздается такой недовольный и такой грозный рык: в чем дело, мол?.. Еще не подавали к царскому столу, а вся эта придворная мелкота и вся бестолочь покрупней смеет чего-то требовать?!

Что касается Асуана, он ждет своей законной, как он давно уверен, морковки. Потому-то и торопится одетый с иголки Ирбек с простенькой матерчатой сумкой в руке: чтобы снова не строил Асуан обитателям закулис слишком уж раннюю побудку.

Кормежка, репетиция — и только потом джигит свободен: теперь уже до семи вечера, когда жеребец снова начнет недовольно постукивать копытом и ревниво пофыркивать. Все-то он понимает, все чувствует!

Лишь бы не переходил ту грань, за которой ему непременно придется напомнить, что их обязательства взаимны, и что он должен хозяину, может быть, чуть больше, чем хозяин — ему... Но как раз в этом-то Асуан все чаще и сомневается.

Красивый «испанский шаг»... По-прежнему грациозен этот косящий глазом чистокровный араб, пясти которого обернуты выдавшими виды выцветшими ногавками: работник!.. По-прежнему легок и по-прежнему стремителен в движениях всадник, которому давно уже за семьдесят.

Недавно, когда были у него дома, и я открыл дверь на застекленную лоджию, чтобы получше рассмотреть застежки на белой, висящей чуть не во всю стену парадной бурке, Ирбек задержал меня около нее: «Погляди, что под ней... Знаешь, сколько лет этой черкеске?.. Мама сшила ее, когда мне не было еще двадцати. Перед Всесоюзными соревнованиями сорок восьмого года. Счастливая черкеска: я в ней выиграл. А потом выигрывал все чемпионаты ЦСКА — до тех пор, пока служил и участвовал. До пятьдесят второго года. И представь себе: она и сейчас мне как раз. Берегу, но, бывает, и на деваю. В самые ответственные моменты...»

И я невольно попробовал подобраться, втянуть живот... куда там! Долгое сидение за рабочим столом давно уже сделало из меня типичного городского увальня... может быть, это как раз один из ответов, зачем ему это надо?

Джигит — это на всю жизнь. Рыцарь — это навсегда.

Но ведь должна же быть и некая прикладная, скажем, чисто практическая цель... может, он все еще надеется? Все еще верит? По нашим временам — чуть ли не в чудо?

Окончен пассаж, красивым аллюром Асуан несется по манежу против часовой стрелки, и сознание мое словно тоже делает круг за кругом, несется потоком вслед ритмичному бегу лошади, идет обычная внутренняя работа: какой, и правда, мог бы быть фильм!

На одну из этих утренних репетиций недавно пришла студентка ВГИКа, считай, совсем девчонка... Попросила у Ирбека разрешения поснимать для курсовой работы.

И получился прекрасный сюжет о нестареющем джигите, который не может расстаться с лошадью.

А вот работающих режиссеров что-то не видать! Между тем они могли бы воспользоваться всем тем

удивительным мастерством, тем уникальным богатством, которое по крупицам скопили осетинские джигиты.

Фильмы с их участием были бы куда интереснее, чем фильмы ужа сов, фильмы о так называемых новых русских.

Невольно задаешься вопросом: может быть, конное дело и впрямь себя изжило? Не думаю!

В прошлом году мне пришлось дважды побывать в Удмуртии, в Ижевске: помогал Михаилу Тимофеевичу Калашникову, знаменитому нашему конструктору, в работе над книгой воспоминаний и размышлений «От чужого порога до Кремлевских ворот». Человек он фантастически-творческий не только в смысле изобретательства: в молодости писал стихи, давно уже вел прелюбопытнейшие биографические записи, и моя роль часто заключалась лишь в том, чтобы постоять у конструктора «над душой», что называется — уговорить что-либо отдать для печати либо что-нибудь в рукопись добавить. И какова была моя радость, когда в главе «Взвейтесь, соколы, орлами», в которой рассказывается о работе существовавшего в период войны и до хрущевских времен подмосковного Полигона, я наткнулся на фамилию, которая не могла оставить меня равнодушным.

Оказалось, кроме прочих специалистов по вооружению и разработчиков боеприпасов на Полигоне беззаветно трудился еще один — конструктор вьючного снаряжения капитан Кочетков.

«Еще в начале нашего знакомства с Кочетковым я удивился, — вспоминает Калашников. — Нашел, мол, себе, однако, занятие — вьюки!»

Кочетков как будто задумался, помолчал-помолчал, потом спросил: «Парнишкой был в ночном?» «Ну, еще бы!» «Коней любишь?» «Да как же их не любить!» «Тогда представь себе: рейд Плиева по немецкому тылу... Что там у наших казачков?.. Шашка да карабин. Ну, хорошо, если уже ППС или там ППШ. Пушчонку бросить пришлось: загнали их немцы в угол. Одна надежда на тяжелые „ручники“. А где они посреди болота стоят? На бедных коняшках. Пулеметчик лупит у нее над головой — ствол промежду ушей... как тебе?»

Голос у Кочеткова сорвался, он взялся охлопывать карманы: искал папиросы со спичками. Выпустил дым и опять перешел на полу шутливый тон: «Вопросы к докладчику будут?» Я тоже невольно вздохнул: «Примерно ясно, извини». «Вот и надо, чтобы он привычен был поудобней, „ручник“, — сказал Кочетков. — Заказ от конников. Ло шадки, бедные, сами не могут попросить их не мучить — пришлось просить казачкам...»

О войне на Кавказе с участием конников, о Куцевской битве на Кубани, где добровольческий корпус, состоявший из нестроевых казаков, уже слишком пожилых либо совсем юных, не достигших призывного возраста пареньков и даже девчат, выручил от борный полк егерей — элитную «Зеленую розу», о подмосковных сражениях бесстрашных дователейцев, по старинному обычаю от пускавших на волю коней перед смертельной битвой, о фантастических пливских рейдах по немецким тылам — обо всем этом ходили и долго еще, верю, будут ходить легенды, но для нашего кино они так и остались «за кадром». А ведь именно с участием богатырского рода Кантемировых, история которого неотделима от истории Осетии так же, как от истории России, как раз и могла быть создана эта героическая летопись подвигов «последнего рыцарства» — казаков и горцев.

Как-то в дни зимних каникул я пришел в цирк на Цветном с восьмилетним внуком Гаврюшей... Сначала посмотрели с ним, как управляется со своим арабом дядя Ирбек, потом, когда он закончил, Гаврюша угостил Асуана принесенной из дома морковкой, снял с него ногавки, подержал поводок, пока дядя Ирбек ненадолго отлучался: в общем, заработал право сперва посидеть в седле и проехаться потом до конюшни... Как такому джигиту не дать контрамарку?.. И добрый дядя Ирбек, конечно же, ее дал, в одном из проходов нам поставили два стула совсем рядышком с ареной, и сперва, конечно, мальчишка животик надорвал, как говорится, а в перерыве мы пошли в вестибюль, и там я подвел его к мемориальной табличке: «А ну-ка, что здесь?» На манер первоклашек он взялся читать нараспев: «22 июня 1941 года с манежа московского цирка на Цветном бульваре ансамбль донских казаков под руководством Михаила Туганова ушел добровольно на фронт Великой

Отечественной войны. От Москвы до Берлина — такой их боевой путь».

Поскольку Гаврюша родился 9 мая, об этом дне он знал чуточку больше, чем другие мальчики в его возрасте, и теперь я сказал ему: «Знаешь, что надо бы тут еще дописать?.. Что в день Победы на своих лошадях эти казаки поднялись по ступенькам рейхстага и там уже вскинули вверх автоматы и устроили такой салют!»

В честь тех, кто до рейхстага не дошел: в том числе и в память о конниках из группы Алибека Кантемирова, сложивших головы под Москвой, в степях Украины или — уже в Польше.

В том, что род Кантемировых и действительно богатырский, убеждаешься, размышляя о джигитах, все больше и больше: и не только потому, что в нем были и настоящие силачи-пехлеваны вроде знаменитого Казбек-горы, Темирболата Канукова, циркового борца, пришедшего когда-то на арену основоположника династии профессиональных наездников — Алибека Тузаровича, не только потому, что в Болгарии и нынче кладут цветы на могилу подпоручика Николая Кантемирова, одного из самых почитаемых героев Шипки, вместе с остальными «братушками» многонациональной России освобождавших болгар от многовекового османского рабства. В народе, который умеет чтить доблесть, есть много других славных фамилий, но что меня всегда заставляло уважительно радоваться и по-хорошему завидовать Кантемировым — это постоянное ощущение ими той нравственной высоты, которой достигли их отец и мать, достигли лучшие из их предков, и которую ни в коем случае нельзя не то что сдавать — нельзя даже помыслить о сдаче!

Все последнее время Ирбек очень переживал за сына. Группа его уехала в Курск, где Маирбек собирался, наконец, показать свою уже обновленную, «самостоятельную» программу, но вместо этого осетинским наездникам пришлось другое показывать: кто где стоял и кто чем был занят, когда в цирке начался пожар... У всех отобрали паспорта, потекли тревожные дни ожидания: что там решат доблестные пожарники и родная милиция?

Я постоянно спрашивал Ирбека: мол, как там — что новенького?.. Перед этим вместе собирались поехать в Курск: «посмотреть Марика». Хорошо, хоть лошадей они там успели повыводить, спасти снаряжение и костюмы...

Как-то Ирбек предупредил меня, что в Цирк на Цветном приедет Миша, и я пришел повидаться с ним: Мухтарбек в очередной раз пробовал создать базу под Москвой и в городе появлялся редко... Сидели потом с ним рядом возле маленького манежа, ждали, пока освободится Ирбек, но тот, конечно, заставил Асуана работать по полной программе, чуть ли не выкладываясь. Араб словно чувствовал, что за ним нынче наблюдают придирчивей обычного и работал безукоризненно: Ирбек был явно доволен.

В конце, когда уже сошел с лошади, полез в карман и вроде бы случайно выронил носовой платок. Асуан тут же наклонился, вытянул шею: зубами взял с манежа платок и потянулся мордой хозяину в руки. Ирбек сунул платок в карман, повернулся к Асуану спиной, и тот толкнул его храпом между лопаток: джигиту пришлось невольно взмахнуть руками и сделать два-три шага вперед — мол, не устоял!..

«Работал» на нас с Мишей. Поднимал настроение.

— А что, если ему сделать специальный номер? — спросил я у Мухтарбека. — Представляешь?. Условно говоря: «Джигит и клоун». Сперва Ирбек показывает класс, а после на манеж выходит «рыжий». Может, выпрашивает у джигита лошадь, может — выманивает... крадет. Пробует на ней проделать то же самое, но стоит коню нагнуться в поклоне, как «рыжий» летит через голову... ты посмотри на этого умницу — он же сможет стащить его за штаны зубами... тут столько можно придумать!

— Сырдон! — коротко сказал Мухтарбек.

И вздохнул. Я сперва не понял, наклонился к нему: что, что?

— Герой из наших «Нартов», — сказал Миша. — Из эпоса. Сыр дон... то смеются над ним, то он что-нибудь такое устраивает. Нарты уговорили его зарезать последнего барана, потому что близится, мол, конец света — зачем тебе баран? Перед этим решили искупаться, а когда вышли из реки, не нашли своей одежды. Где она?.. А Сырдон им говорит: я бросил ее в огонь под котел, в котором варится мой баран. Зачем она вам? Все равно — конец света...

— Вот видишь! — радовался я. — Ну, прямо-таки находка!

— И шутник, и обманщик, да. Ему тоже, конечно, достается — в том числе и от собственного коня... такой номер у нашего Хасана был. Хороший номер!

Теперь уже я вздохнул и только развел руками: не вышел из меня постановщик!

У меня с собой был любительский фотоаппарат, попросил братьев стать рядом: такие все-таки разные!.. Сухой и тонкий Ирбек в выцветшей джинсовой куртке и в мягких сапогах и бородатый, с широкой, как у кузнеца, грудью Миша... вот кто, и действительно, — нарт!

Разговор зашел о Маирбеке, Миша спросил: как племянник?

Глаза у старшего зажглись:

— Да!.. Знаешь, Миша, что тут мне сказал наш Хасан?.. Он тут недавно проездом был. Слушай, говорит: кто из нас режиссер — я или ты?.. Ты такую хорошую программу сделал для Марика! А я ему отвечаю: веришь?.. Я еще в глаза не видел, что они там без меня поставили. Так договорились: пусть сам!

Как искренне Мухтарбек обрадовался: и во взгляде его и в интонации были такая чистота и открытость!

Помолчали, и он вдруг снова задумчиво произнес — словно продолжал давно начатый разговор:

— Одна из самых удивительных книжек — «Нарты». Столько фантазии и столько ума. И сколько горького юмора!.. Если бы мы жили только по своей воле, занимались бы только тем, к чему душа лежит...

Мир так устроен, что не всегда это удается.

Но в этом неподвластном человеку устройстве случаются счастливые перебои, которые словно приоткрывают завесу над этим постоянно живущим в душе у каждого настоящего артиста, у каждого доброго человека: ради чего? Зачем?

Год назад Ирбек позвонил нам домой, пригласил на заключительный концерт в зале кинотеатра «Россия»: в Москве тогда шли дни Осетии.

Между прочим, сказал и о том, что предстоит работа и его Асуану: Ирбек выедет на нем приветствовать земляков.

«А как будете добираться до „России“? — спросил я. — Опять поедешь на нем глубокой ночью?.. За сутки до концерта?»

Он там усмехнулся: «Ладно тебе!.. Это дело государственное: будет и наш Галазов, и... наш Лужков!»

Я тоже рассмеялся: «Хорошо устроился: для тебя они оба — твои!»

«Учись! — наставил он. — И — приходи. С коневозкой уже договорился».

В «Россию» мы постарались прийти пораньше, и я сперва усадил на места своих домашних, а потом отправился за кулисы. Там уже готовились к выходу: терпеливо стояли величественные осетинки в белоснежных платьях и высоких головных уборах, делавших их еще стройнее и выше, уже вот-вот собирался шагнуть на сцену оркестр — гармонисты и зурначи — и доулист поводил пятернями над своим барабаном, разминал руки: кому-кому, а ему уж и точно придется сегодня поработать!

Ирбека я нашел в одной из уборных: рядом с торопившимися одеться, о чем-то весело спорившими молодыми танцорами задумчивый джигит смотрелся как патриарх, как всезнающий старейшина на шумном празднике жизни.

— Вот о чем тебя хочу попросить, — начал я. — С нами одна молодая особа, наша станичница Наташа, жена друга Славы Филиппова: в этих фильмах, что у нас снимали ребята-осетины, ты ее видел наверняка. Красавица-казачка с двумя маленькими дочками — для Игоря Икоева эта картинка была как заставка: переходила из фильма в фильм. Готовится выйти к тебе с цветами — ты уж, пожалуйста, подстрахуй ее. Ей там придется обойти несколько рядов справа, если задержится, ты уж дождись ее — не уезжай без букета. Договорились?

Концерт был великолепный, что там и говорить!.. Может, настроение зала передалось и политикам?.. В ударе были и выступивший с короткой, но очень точной, судя по настроению зала, речью президент Осетии, и ответивший ему сердечными и доброжелательными словами московский мэр...

Но мы, конечно, ждали минуты, когда на своем Асуане на сцене появится еще один нестареющий лидер, столько лет отдавший тому же самому: искреннему служению верному братству меж осетинами и русскими...

Вот он, наконец, вот он!

Торжественным, парадным шагом выступает на середину сцены и замирает напротив всего притихшего зала красавец-Асуан и в древнем приветствии прикладывает руку к сердцу влитой в седло всадник — словно выточенный самим временем джигит в строгой черкеске. И зал, конечно же, отвечает ему жаркими аплодисментами.

Начинается эффектный проезд по кругу, и снова остановка посреди сцены, поближе к рампе: свеча!..

Как изящно, как охотно становится «на оф» Асуан: тоже понимает, что нынче — большой праздник?

Наконец, он выставляет переднюю ногу и вытягивает над ней шею: это «комплимент» — глубокий поклон.

«С Богом! — подталкиваю я свою молодую станичницу. — И не волнуйся, иди с достоинством — Ирбек тебя непременно подождет!»

Зал неистовствует, и джигит заставляет Асуана кланяться еще и еще раз. Наташа с цветами успевает: вот она, приподняв букет, стоит совсем неподалеку, ждет, пока на все четыре копыта опустится Асуан: чтобы доставить радость сидящим в зале землякам, Ирбек снова поднял его «на оф». Вот наша казачка подходит к лошади, протягивает всаднику цветы, он слегка наклоняется, чтобы принять их и легким кивком благодарит ее... нет!

Решил, что поблагодарить должен еще раз и Асуан?.. Еще один «комплимент»!

После поклона Ирбек — это видно! — направляет лошадку за кулисы, та делает несколько шагов к занавесу, но потом вдруг резко берет влево и возвращается на круг... Останавливается посреди сцены и сперва мотает головой — просто кланяется, а потом снова выходит на «комплимент»...

Что такое?! Неужели Асуан ослушался и не хочет уходить?.. Нет, не хочет!

Может, так же, как я — Ирбеку, ему тоже кто-нибудь шепнул перед этим на ушко: дождись, мол!.. За мною — охапка душистого сена с родных тебе альпийских лугов!.. Не торопись уходить, Асуан!

Мы сидим близко — вижу, как смеется Ирбек, лицо его молодеет... ишь ты!

Понравилось Асуану: давно не выступал и снова вошел во вкус...

Или он, умница, и в самом деле, слишком хорошо все понимает и многому знает истинную цену?..

Весь зал стоит, зал тоже все понял: он аплодирует, говорит что-то радостное и доброе, смеется, всю хохочет, здесь и там что-то весело кричат по-осетински. И мне вдруг представляется другая картина: как холодной ночью в мокрой бурке едет Ирбек по пустынному проспекту, как мимо проносится блестящий от дождя «мерседес» с догоняющими его черными «джипами», как автомобильный кортеж замедляет ход и начинает разворачиваться... Кто он, на самом деле, таков — этот одинокий всадник, этот странный джигит, этот горец?

Разошелся Асуан: опять кланяется...

Глаза у Ирбека блестят: тоже от смеха слезы выступили?... Или это — другие слезы?

Единственные, которые может себе настоящий джигит позволить?

Смотрю на его руки: сейчас он все-таки подберет повод, сейчас...

Слегка поводит плечами, и я вдруг понимаю, что недавно видел эту черкеску... неужели та самая, которую столько лет назад ему, тогда почти мальчику, сшила мама, светлая ей память, — Мариам Хасакоевна?!

Говорил, надевает ее в особых случаях... счастливая, мол, черкеска!

Пожалуй, — как раз такой случай. И — как раз такие минуты...

Для него самого. Для его родных. Для товарищей. Для земляков. Для всей маленькой, но гордой Осетии. И, если вдуматься, — для всей переживающей свой нелегкий час большой его родины — России.

ГОТОВЫЙ РАССКАЗ

Само собой, что среди моих знакомых довольно много писателей да журналистов, пишущей братии, как говорится, и вот кому ни стану эту историю рассказывать, каждый тут же чуть ли не категорически заявляет: «Да ведь готовый рассказ!» И так они меня убедили, что отложил я другие свои рукописи и взялся за эту: не пропадать же добру!

Началось с того, что месяца три назад младший наш сын коня купил... Конечно, это по порядку он младший, а так-то ему под тридцать, у него у самого теперь два сына, а живут они нынче в крохотной деревеньке под Звенигородом. Квартира у нас маленькая, вместе тесно, а времена наступили сложные, и вот когда молодые поняли, что надежд на собственное жилье у них никаких, в эту самую деревеньку они и перебрались — была там у нас изба-развалюха, которую мы не без гордости звали дачей.

Решили жить в селе — хорошо, врачу везде работа найдется... но с этого ль надо начинать?

Жена вернулась от них в ужасе:

— Представляешь, он коня купил?!

Я сперва не понял, машинально переспросил:

— Какого коня?

— Откуда я знаю?.. Громадный такой... очень высокий... А худой!

— Сильно худой?

— Кожа да кости, — сказала жена. — Потому и купил эту дохлятину — откуда у него деньги на нормальную лошадь?

— Что, уж совсем дохлятина?

— Совсем! — подтвердила жена. — Что теперь делать будем?

Но мне уже успело понравиться: коня купил, а?!.. Все-таки заговорила кровь, заговорила. Да и как ни ряди — поступок. Это вам не плейер, не какой-нибудь пейджер там или «видак» — это конь!

И я спокойно сказал жене:

— Как это что будем делать? Кормить будем.

Она нарочно вплеснула руками:

— Теперь еще — и коня?! — и тут же, естественно, «нашла крайнего».

— Это ты виноват, ты!

Вообще-то, конечно, я. Хоть вовсе и не в том, что имела в виду жена...

Он родился в Сибири, когда мы жили на большой стройке, и я все говорил себе: мальчик не должен забывать, кто его предки да откуда они, нет!.. Мы — казаки, что там не говори... Кубанцы! И вот летом, когда он гостил у одной из бабушек, в Майкопе, непременно уезжал потом и к другой, в станицу Отрадную — к моей маме. Вместе с сыновьям старых моих друзей, со своими одногодками, пас овец либо маточкино молоко собирал, но и на коше, и на пасеке главной радостью конечно же были для всех для них кони... ну, в самом деле, виноват!

— В деревне к нему хорошо относились, — сказала жена. — А теперь все смеются!

Углубившись в сибирские да кубанские дали, я уже потерял было нить разговора, потому переспросил:

— Смеются?.. Почему?

— Ты что, не слышишь, о чем я тебе рассказываю? — обиделась жена. — Его сын покупает лошадь...

— И деревня смеется?

— А что же они должны делать? — спросила она запальчиво. — Конечно, смеются: и над дохлятиной этой, и над Жорой над твоим...

В те дни я был сильно занят, никак не мог выбраться, чтобы хоть одним глазком взглянуть на «дохлятину», зато, когда со станции в Звенигороде звонил сын, засыпал его вопросами:

— Зачем он тебе, конь?

— Не знаю пока, — честно отвечал сын.

— А где он у тебя все-таки стоит, не пойму?

Он пытался успокоить:

— В ямке пока, ты знаешь... В той части будущего подвала, где я собираюсь гараж потом строить.

— Она же у тебя без верха?

— Да я накрыл быстренько — хоть кое-как пока...

— А в ней не холодно?

— Да с зимой повезло — пока морозов не было.

— Но там же коню темно, в ямке?

— А зачем ему свет?

— Правильно! — говорил я. — Это раньше черкесы подолгу выдерживали лошадь в конюшне без света, чтобы она потом хорошо видела в темноте и в ночном набеге не подвела... Ты что же, на Тимухово собираешься потом ночью напасть?

— Да почему? — хихикал сын, пробовал смехом поддержать мне настроение.

— На Аляухово, что ли?

— Вообще-то его можно пустить, Орлика...

— Куда?

— Ну, деревню развалить — справится.

— Справится?

— У него прикус, понимаешь?.. что-то все время должен грызть...

— Потому-то тебе его и отдали задарма?

— В общем, да.

— Так он тебе избу не сожрет?.. Начнет снизу...

— Ну, первый-то венец он слегка попортил... сильно погрыз. А потом я перевязал его на другое место. Правда, одну бечевку он тут же сжевал...

Я все же не выдержал:

— Как это так, слушай?.. Ничего для него не приготовив — и вдруг коня привести!..

— У меня уже, между прочим, скребок есть.

— Скребок? — принялся я насмешничать. — Это, конечно, главное — да, в конном деле, тут главное — скребок...

— А разве это не важно, в самом деле, чтобы лошадь ухоженная была?

— А где ты его купил?

— Да, купишь, как же — в продаже днем с огнем. Это мне одна бабушка передала с другого края деревни — лечил ее как-то... теперь внуки приходят: вот, бабушка послала, велела вам передать. И тут же спрашивают: а для чего эта штука, дядь Гоша? Что ею делают? Пришлось показать сразу. Ну, и приходят теперь каждый день — Орлика скрести...

— Ты, я вижу, не дурно устроился...

— А им плохо, что ли?.. Они катаются на нем...

— Ну, правильно: чего там в больнице дурака валять? Откроешь конноспортивную школу...

— Тут люди подошли звонить, — говорил сын. — Очередь.

— Ну, пока давай... Привет передавай.

Он спрашивал:

— Орлику?

— И Орлику тоже.

— Ты бы ему лучше хоть полмешка овса передал! — ехидно говорила жена, которая в такие минуты, когда он звонил, конечно же стояла рядом. — Не знает, чем кормить...

— А что? — сказал я. — Это ли проблема — полмешка овса... вот делов!

Тут же открыл записную книжку, набрал номер своего старого доброго знакомого Мухтарбека Кантемирова и, когда он, признаться неожиданно для меня сам взял трубку, победно глянул на жену: не отходи, мол, и тут послушай!.. Что ж нам осетинские братья, думаешь, полмешка не подкинут?.. Да для джигита это — раз плюнуть!

Поздоровался с Мухтарбеком — и сразу же быка за рога:

— А почему у нас нынче, Миша, овес?

Тут надо Мухтарбека знать: вот-вот стукнет шестьдесят, а все — как ребенок. Сдается иногда, что человека с более чистым сердцем вообще не встречал... Может, как раз потому, что всю жизнь — с лошадами? А они ведь редко обманывают...

И он так дружески, так благородно откликнулся:

— Спасибо тебе, дружище!.. Хоть ты мне хочешь посочувствовать. Нынче это уже невыносимо: был пять рублей килограмм, а теперь — восемь!.. Что мне делать? Ты же знаешь, что у меня их шестьдесят... и какие лошади!.. Как и людей, как наездников своих, всю жизнь собирал... Но кому он нынче нужен, конный театр?.. Когда кругом такое творится... Кроме нашей общей трагедии у меня своя, представляешь?.. Кони мои, но седла — их, вот они тайком берут свои седла и уходят потихоньку... им стыдно, но что делать?.. И что я ему скажу, если, он, профессиональный наездник, каких даже на Кавказе немного, получает триста рублей. А килограмм овса — ты представляешь?..

— Дела-а!..

И о причине своего звонка я, конечно, не заикнулся. Поподробней расспросили совершенно искренно посочувствовал — помог, словом, душу отвести... бедный Миша! Один из самых искусных и самых бесстрашных джигитов... Если на нынешней-то лад: лучший, пожалуй, несмотря на свой возраст, каскадер... Но разве выдержат и действительно нервы? Даже если, как у него пяток лет назад после травмы, десять часов подряд их сшивали самые опытные нейрохирурги...

Сын, когда позвонил, первым делом радостно сообщил:

— А меня уже хомут есть!

Как старый игрок словами — это конечно же чтобы не сказать о себе мастер слова — я просто не мог не воспользоваться тем, как он совершенно беззащитно подставился. С нарочитой строгостью спросил:

— Понял наконец?

Он, конечно, поймался:

— Что я понял?

— Насчет хомута...

— А откуда вы знаете? Кто сказал?

— Никто нам ничего не сказал. Это мы тебе сразу сказали, когда ты его только купил, коня своего. Сказали: понимаешь, какой хомут на себя надел?

— Вон ты все о чем! — сказал он беззаботно. — Понял тебя, понял, но я — в прямом смысле, понимаешь?.. Приходит одна старушка и говорит: должно ты мне, Гоша, дай какой-никакой мази, а то я спину не разогну... И знаешь почему? Надо было тебе сказать, чтобы ты на чердак слазил, а я сама, дурочка старая, говорит, полезла — давай там нагибаться по углам да рухлядь ворошить.

Помнила, что должен быть хомут — не ошиблась!.. Думала, уже совсем склероз, — нет! Еще когда гоняли, говорит, в колхоз, мы коней отвел, а хомуты оставили. И сам хомут, и седелка с подпругой — пойдем, заберешь, а то одна не дотащу, сосем из сил выбилась, пока лазила на чердак... ты представляешь?

— Да, представляю, — сказал я, представляю... и правда, трогательно, но чем кормить-то его чем кормить?

— Да в общем так... деревня... потихоньку...

И снова я почувствовал родительскую свою правоту:

— Что — деревня?.. Ну, что — потихоньку?!

— Да все спрашивают: не голодает ли конь?.. Мы-то, говорят, ладно, сами давно голодать привыкли, а коня жалко. Одна бабушка пришла: заberi, говорит, немножко сенца — осталось еще от кроликов.

— Что это у тебя там — все бабушки?

— Да нет: вчера пришел тракторист... Наверное, ты его не знаешь, он из барака, недавно тут. Я, говорит, ругался, что скирду неаккуратно забрали, не по-хозяйски вышло — половина зарода осталась; а ну-ка, давай теперь с тобой съездим, одонки заберем... так что вот! И хомут теперь есть...

— Да зачем тебе хомут?

Он сказал опять:

— Не знаю пока!

Зато в следующий раз с этого начал:

— Ты спрашивал, зачем мне хомут?.. А знаешь зачем?.. Был бы ты! Видел бы эту картину!.. Дядя Митя устроил, представляешь? Серебряков. Слышим через окно: забирай, ну ее, надоела, только место во дворе занимает!.. Выбегаю, а он стоит между оглоблей, нарочно их не бросает: забирай, кричит, телегу — твоя!.. Говорю: позвали бы! А он: нет!.. Специально один притащил, чтобы ты понял, какая легкая! Раньше умели делать! Думаешь, я одни гитары мастерил?.. Я и телеги ладил — вот увидишь. Стояла меня. Я про нее, можно сказать, забыл. Дровами заложил, она, говорит, и стояла, чурки и под ней, и на ней...

— Хорошая телега?

— Что ты! — радовался сын. — И новенькая, можно сказать, совсем, хоть ей уже лет и лет, как ты любишь говорить. Как на консервации у него стояла: все честь честью.

Я тоже не удержался:

— Ну, Петрович!.. Прикатил, значит?.. Телегу. «В ажуре — в темпе?»

— Да так и сказал, ага.

Бывший гитарный мастер — в нашем Кобякове почти до войны гитары делали — и добровольный участник всех — начиная с Хасана — войн... Когда маленько выпьет, начинает рассказывать: «В ажуре — в темпе, Серебряков!.. Опять война!.. Пойди в коридор и добровольно подумай: пойдешь ты или нет?.. То были пловцы родине нужны, теперь лыжники, а ты у нас — на все руки-ноги... Пойди добровольно подумай, е-мое, откуда раньше можешь вернуться: с фронта или с тюрьмы?!.. Если не пойдешь на фронт. Добровольно! В ажуре, в темпе!..»

— Он, наверно, никак решиться не мог, — рассказывал сын. — Думаешь, легко, говорит, Гошка, мне нею расставаться?.. Я, может, тоже хотел коня купить, да все некогда и бабка, говорит, не разрешает — тетя Наташа... Но обратно, говорит, ты меня домой на телеге отвезешь — запрягай!.. Чтобы видела бабка, какое к Петровичу на деревне уважение... запрягай, кричит!.. Знаешь, чего он говорит: мы с тобой на этой телеге за гуманидармовой помощью ездить будем. Она, говорит, мне от немцев как никому полагается: в ажуре — в темпе!.. Потому что я санитаром был и исправлял их немецкое безобразие — с поля раненых выносил!.. А если бы я автомат взял в руки?.. Тогда бы кому было нам эту помощь сегодня присылать, е-мое! Уж я бы их пошмолял — знаешь, какая злость была: за наших раненых?!

— Ну, и ты отвез его?

— А как же!.. Вместе запрягли... знаешь, какая тележка, и правду, легкая? И удобная — Петрович в ней сидел, как король!.. Едем, а он кричит: в ажуре — в темпе!

Пока я мысленно возвращался к «дохлятине» Орлику, которого потихоньку подкармливала теперь вся деревня, и к самой к ней, такой маленькой и, казалось, совершенно разоренной и беспросветно забитой, а на самом деле все помнившей, все хранящей — не только хомуты да уздечки, сын добавлял новые подробности:

— Помнишь, я тебе, про эту бабушку, что первая прислала скребок?.. А внуки ее мне теперь помогают... Так вот, мы Орлика запрягли в воскресенье и в Аляухово съездили к ее подружке — тоже бабушка старенькая... Вот ты смеялся насчет Аляухова — а если бы ты знал!.. В наших местах во время войны казаки-доваторовцы стояли... Перед этим сражением в Европе, где они с шашками — на

танки. Я раньше думал, что это преувеличение или как там? По-вашему? Иносказание?.. Нет! Люди говорят, что это правда... А бабушка эта, из Аляхובה, была тогда совсем молодая, и тяжело раненый казак седло ей свое оставил, сказал, чтобы сберегла, а он за ним обязательно приедет, ну и... любовь была, что ли, понимаешь?.. Он так и не приехал, но она все это время берегла седло, все ждала... И представляешь? Не строевое, а именно казачье седло, да не только старое — старинное... Ленчик — чисто казачий!

— Ты-то откуда знаешь? — не поверил я. — Казачье... старинное... ленчик... кто понимал бы?

— Как это кто?.. Дядя Миша. Кантемиров. Он тебе, кстати, привет передавал...

— То есть как? Ты его видел или...

— Летом, когда мы были на представлении... Как эта его программа называется?.. А то ребятишки тут в деревне заспорили. «Прощай, Русь — здравствуй, Русь»... Правильно?.. Ну, вот. Так он дал мне телефон — почему, думаю, и в самом деле не позвонить?..

— И позвонил?..

— Сперва позвонил, а потом съездил...

— Съездил?

— Ну, да, седло показать. Это он мне все растолковал. И еще, ты знаешь: он дал мне овса мешок...

— Овса?.. Мешок?! Да ты знаешь, почему нынче килограмм овса?

— Ну, я сперва оказывался, а он все равно дал мне, когда я ему — про своего Орлика...

— Ну, почему килограмм, как ты думаешь — почему?!

— Он говорит, будет у тебя — отдашь, а пока у меня есть... а что такого?

Недели через две или три он доложил:

— Заведующая фермой девчат прислала: пусть, говорит, он придет, посмотрим — там у нас под навозом плуг лежал...

Я воспрял было:

— Известный прием, да... Все ясно. Захотела, чтобы им навоз перекидал? В другое место? Давно надо было. А то из-за него уже фермы не видать.

— Нет, оказалось, — правда... Щечки деревянные на ручках сгнили, но мы с Петровичем уже новые приделали... А лемех — как гитарная струна звенит, это Петрович говорит — хоть куда лемех. Сталь хорошая...

— Конечно — если старой работы...

— А чего ж не спросишь, что я с ним буду делать?

— Тут-то ясно, — сказал я. — Бросишь работу в больнице...

В голосе у него слышалась явная вина — интонация стала почти как в детстве:

— Знаешь, я уже бросил...

— То есть как это — бросил?.. Как — бросил?!

— Зарплата как у нищего — это ладно, давно привык... Не только у меня — у всех врачей... Но теперь еще — ни лекарств, ни инструмента, а просто отбывать в больнице — это нельзя, сам понимаешь, — не тот случай... Домой все равно идут, как помирают в больнице, а ты ничего не можешь сделать...

Впрочем, это уже отдельный рассказ, очень грустный. А готовый — вот он. И в самом деле, готов...

Только вот готовы, кто прочитает понять его?

ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

Во времена лихой сибирской молодости, в ту пору, когда вопросов всякого рода бывает меньше, чем возникает на них скорых ответов, имелась у меня шутливая манера, которую, как водится, переняли потом дружки... Когда после очередного весьма авторитетного, а то и категорического заявления на какую-нибудь животрепещущую тему кто-то из них с сомнением спрашивал, откуда, мол, ты это взял? — с будничным вздохом отвечать:

— Видение было!

Как только они навсегда, думаешь нынче почти с ужасом, нас тогда не покинули?

Видения.

Как знаки не перестали являться?

И как мучительно пытаешься распознать их теперь!

1

Случилось это, пожалуй, в восемьдесят девятом году — уже в наши дни, как говорится... Уточнить можно бы, дозвонившись Володе Скунцеву и Марине: той весной по старинному обряду они обвенчались на Ставропольи у друзей своих, казаков-некрасовцев, и через несколько деньков после свадьбы нагрянули к нам в станицу.

Володя уже бывал и в Отрадной, и в старом моем родительском доме... Оставшийся без недавних заботников, дом пустовал, и, когда парни из ансамбля «Казачий круг» — великолепного мужского хора — приехали на съёмки документального фильма о нашем Предгорьи, друзья мои в нем их и поселили.

В ту пору мы с женой, покинув Москву, принялись заново обживать наш дом, намереваясь, коли даст Бог, остаться в нем навсегда... Давалось это — после стольких-то лет столичной жизни — непросто, и

появление Скунцевых было для нас не только подарком, потому, что мы хорошо знали их и чистосердечно любили, но и дорогим сердцу знаком, потому что, где бы ни жили, всегда истово исповедовали кавказское: гость в дом — Бог в дом.

Даже по прошествии стольких лет очень хорошо помню, как трогательно эта молодая пара тогда выглядела, как смущалась тоненькая большеглазая Марина, как, оберегая её, ходил вокруг заботливым петушком, Володя, особенно похожий в то время и русой бородкой, и вообще всем ликом, на императора Николая Александровича: недаром ему так шла русская полевая форма, которую стали тогда не только распродавать задешево, но чуть не силой навязывать: бери! Вроде того что: не выбрасывать же!

Как легко мы расстаёмся с собственными традициями и с собственной славой... может, кроме прочего, страдаем-то ещё и за это?

Не буду описывать, какой у Володи голос, не стану долго рассказывать, какой неоцененный пока духовный подвиг «Казачий круг», им собранный, совершил... Когда начала распадаться держава, и столь многие, обессилевшую, жадно бросились её обирать и грабить, эта голь перекатная, певцы, которым цены нет, совсем другим озаботились: может народная культура пропасть — затопчут. Старинная песня может исчезнуть навсегда — заглушат.

На жалкие, на последние гроши на все четыре стороны, в глухомань стали отправляться они «за песнями».

Через несколько лет чуть не за руку я привел к ним на репетицию знаменитого «эмигрантского» певца, потомка донских казаков Бориса Рубашкина (настоящая фамилия его чуть подлиннее: Чернорубашкин)... Будучи достаточно близко знакомым с некоторыми из зарубежных казачьих отпрысков, смею утверждать, что этот богато одаренный талантом нынешний австрияк — один из самых деловых людей, самых жёстких, и если бы не его душевный друг кубанец Александр Притуп — эх, нынче — болгарин! — мне бы наверняка не удалось удержать Рубашкина до той минуты, когда ребята запели, наконец...

«Где они? — кипел Борис, оглядывая пустой зальчик, который „Казачий круг“ на птичьих правах „арендовал“ в одном из московских дворцов культуры, по иронии судьбы — в ДК завода имени Ильича. — На моих часах ровно семь. Это безобразие, господа!.. Серьёзные люди не могут так поступать!... Какая работа, оставьте, причем тут метро?.. Кем, говорите, кем? Слесарем?! Ах, среди них есть архитектор и есть редактор... Два кандидата наук, да, но скажите, скажите мне: артисты среди них есть?.. Объясните мне, в конце концов, кто они и зачем вы меня к ним привели?!»

Вскоре мы с добрым моим землячком, нынешним болгаринном, высадившийся в Тамани почти три столетия назад предок которого шашкой рубанул на спор по дубовому пню, но не расколол его, только жало притупил, оттого-то и стал Притупом, буквально вдвоём держали слишком горячего и «делового» Рубашкина... Стих он, наконец, когда ребята начали пробовать голоса, а когда они вместе спели первую, со слезами на глазах бросился к ним, закричал прерывающимся голосом:

— Господа, господа, где вы смогли взять ноты этих казацких песен?! Их можно купить у вас?

Не всё пока на нашей Руси продается, слава Богу, — не всё... Долго объясняли заезжей знаменитости, что с нотами не работают, всё собирали с живого голоса, но для него, так и быть, распишут ноты: в подарок...

Теперь, когда к нам приехали Скунцевы, я первым делом позвонил доброй знакомой Надежде Николаевне Яловой в станицу Бесстрашную: мол, примете нас с гостями?

Когда вот тоже соберусь написать о ней, эх!

Удалая джигитка, удачливая охотница, не один раз на лошади догонявшая волков, лихая шоферша — не только в этих делах, но в каждом, за какое возьмётся, сто очков вперед даст не то чтобы любому

станичнику — вообще многим из отчаянных, умелых мужчин: дедова, говорит, закваска... С фронта вернулся без руки, хорошо, вернулся, отец, и ей пришлось не только ему сызмала помогать — помогать деду: и набивать патроны, и за убитыми утками вместо собачки плавать, а потом однажды на зорьке сели неподалеку богатым табунком гуси, глянула — а дед спит себе... И она тихонько из-под руки у него ружьё вынула, прицелилась и закрыла глаза: пальнула в стаю... думаю иногда: а, может, дедушка её как раз не дремал?..

Так внучку вымуштровать, как он! Так вышколить.

И как она её вышколила.

Жизнь.

Но первым делом мы заехали в дом культуры, где обычно собирался хор бесстрашненский... и опять за мной — должок, и — опять!

С краснодарской студией делали мы о нём передачу, я был в ней ведущим — «Земляки» наши дважды прошли потом по первой программе Центрального телевидения... А книжку вот обещал, да не написал: что ж ты, Леонтыч?..

Хор, в самом деле, уникальный: умерли последние два казака, женщины остались одни... Как ни теснил, как не пригнетал их мало что понимавший в кубанской старине заведующий отделом культуры Нышан Керселян, стояли «как скала»... помните эту кавказскую?

На завалах мы стояли как скала!..

Пуля жалила, жужжала как пчела...

Они и её поют: «Из-за леса, леса копыя да мечи... Едет сотня казаков-усачей!»

Уехали навсегда от нас усачи, уехали...

Оставили их одних в нетопленном зале... хоть песни родные свои «покрычать», и то!

Никогда у них не было какого-никакого хормейстера, вместо плавного взмаха рук — общий выразительный взгляд на ту, которая из-за простуды не совсем так вытянула, якобы незаметный для слушателей толчок локтем в бок, а то и дерганье подружкиной юбки сзади: ну, куда ты, мол, — в лес, если остальные все — по дрова?

«Крычат» бесстрашненки всё больше мужские песни — походные, боевые, и в них всегда, без принятых когда-то деликатных изъятий — ну, так и не дошло сюда, в глухомань эту, так и не дошло! — не ждал пощады черкес-басурман, и чеченец клонил перед Россией непокорную свою бритую голову...

Среди воинских песен есть у них одна уникальная: «В ружьё!» О Суворове. И поют они её так мощно и так выразительно, что невольно вдруг чувствуешь: да, так, — дух «дышит, где хочет.» В том числе и суворовский дух... и, может быть, как раз он — особенно?

Кроме всех прочих писательских дел мне выпало приложить руку к воспоминаниям знаменитого конструктора Калашникова «От чужого порога до Спасских ворот». Книгу потом хвалили за «дух Суворова», но я-то твёрдо знаю, что не из Ижевска проник он в воспоминания «последнего солдата Красной империи», нет — отсюда он, от вдов «города-героя Бесстрашки», «героя» потому, что, несмотря на все черные тучи над нею и непролазную грязь под ногами почти круглый года — жива станица, жива!

В доме культуры Володя расчехлил свой издававший виды магнитофон, подсоединил два в разных концах поставленных микрофона, и началось действие, в котором неизвестно что было

занимательней: удивительные старинные песни и молодо звучащие голоса женщин, которых походя называем бабушками, а то и старухами, или молчаливый перегляд наш глазами: «Ну, как, Леонтич, нонче поём?» «Молодцы, девчата, ой, молодцы?» «Да тебе-то всегда наши песни нравятся. И жинке твоей, она простая... А этому, что с собой привели?» «Ещё как нравятся, девчата — он дока, у-у!.. А — нравятся, нравятся!» «А его жинке? Неужели у него, и правда, — артистка?!»

Когда Володя с сияющими глазами подошел потом к каждой, обнял и расцеловал, самая бойкая из них, Оля Дзёма, сказала: «Вот вы нас записали, вы знаете теперь, как мы кричим песни, а как вы поёте, мы так и не знаем... Может, хуть одну спели бы?»

Володя зачем-то включил магнитофон и запел обычным своим, первым голосом задумчивую:

Не для меня придет весна-а.

Не для меня Дон разольё-ётся!..

Как благодарно они слушали!

Неожиданно для самих себя заплодировали, а он в это время перематывал ленту на кассете... Включил только что сделанную запись, сам себе взялся подпевать тембром погуще, уже вторым голосом, и песня зазвучала совсем по-новому...

Слушали, как зачарованные — не хлопали, а только изумлённо переглядывались, пока он снова там перематывал запись.

Теперь он запричитал-заплакал тоненько бьющимся подголосочком, соединявшим обе записи в совершенно новую, третью песню, до того сокровенную и жалостную, что «девчата» наши, все только лишь качавшие головами, теперь, не стесняясь, зашмыгали носами, захлюпали, а когда он закончил, снова Оля всплеснула сквозь плач руками:

— Боженьки мои! Да это ж настоящий хор, да какой, какой!

Володя глядел на них чуть загадочно: как мудрый император на простодушный свой народ в благостную минуту всеобщего счастья..

У Надежды Николаевны дома вдруг распелась Марина.

Красивым грудным голосом вольно и широко затянула вдруг:

Ка-а-ак по матушке по Во-олге,

по Вол-ге!

Сладким своим щемящим голоском Володя бросился молодую жену догонять... как пели они, как пели!

Как будто вижу их на той свадьбе на Ставрополье: среди причудливо одетых некрасовцев, триста лет проводивших в Турции, на чужбине, но так и не изменивших самим себе, а, значит, родине — той, какой они веками представляли ее... Вижу младших друзей среди казаков-староверов: словно в

далеком прошлом.

Но не рюмили также эти старой закваски казаки, когда Марина песней своей снова соединяла их с родною землей, с родной историей? Какая мощь и какая грозная сила в голосе её слышались!

В гостях у Надежды Николаевны был с нами и Иван Петрович Брунько, бесстрашненский старожил, много лет деливший напеременку с нашей хозяйкой две главных станичных должности: то он — директор совхоза, она — председатель станичного совета, то она — директор, он — председатель...

В этой последней должности Брунько опять находился, и, как главная местная власть, тоже решил проявить заботу о нас четверых:

— Думаю всё, как вас отблагодарить за чудесный вечер... а давайте-ка? Возьму я завтра «уазик», сам за баранкой — как раз поместимся, и покажу вам окрестные места — наши горы... Леонтьич-то здешний, жена давно тоже, а знаю — все равно не откажутся... а вы, москвичи?

Марина радостно в ладоши захлопала, а его величество государь Всея Казацкия Песни только согласно руками развели: отчего же, мол, — нет?

2

Дорога от Отрадной до «города-героя» Бесстрашки идёт сперва понизу широкой долины, такой широкой, что виден только крутой обрыв слева и тянущийся над ним горб, который именуется по названию реки Урупской грядой, а покатых холмов справа сперва не видать, только потом начинают подступать ближе и ближе. Но «бесстрашенская» дорога уже отворачивает, идёт по бережку Тегиня, левого притока Урупа, отделенного от него своими заслонами, здесь так: круч да разломов хватает на всех, и какой-нибудь тебе почти безымянный ручей тихинько — до первого ливня — струится посреди таких теснин, что ой-ёй!

Сперва не замечаешь и того, что дорога постепенно уходит все вверх и вверх, только за Спокойной тебе открывается, что горы подступили уже совсем близко, и ты почти вровень с ними, но тут шоссейку с двух сторон укрывает своими садами очередная станица — Подгорная, и только отъехав от неё и приблизившись к взлобку Бикета, — название, которое в этих местах встречается то и дело, потому что казачьи пикеты с вышками и балаганами возле них где только не стояли — ты обнаруживаешь себя на гребне хребтины, по обе стороны которой открыты такие дали!

Внизу слева раскинулись вольно яркозелёные бугры и прохладные впадины потемней, неслышно скользят по ним синие тени от облаков, наползают на крошечные островки кустарника, которые в наших местах зовут к ущарями, вновь открывают их, растворяются вдруг и тонут в море разлитого солнца, и тогда неровная кромка леса на горизонте проступает сквозь дрожащую марь, над которой вдалеке неизбежно стынут ледяные зубья Кавказского хребта... Справа насколько хватает глаз вал за валом катятся по обширной котловине такие же пологие, а где покруче, бугры, которые и зовутся тут катавалами... чудное место, чудное!

Как-то в Бесстрашной я услышал, что председательского — «надькиного» — коня и раз, и другой назвали «Покоритель Кавказа»... Спросил у пастухов, за что это у него такая кличка, и один — то ли очень пожилой, а то ли беспросветной жизнью да зеленым змием умученный, тут старого от молодого так просто не отличишь — ответил, посмеиваясь:

— А никогда не приходилось видать, как он по нашим буграм насаётся? Выскочит с Надеждой-то и на

самой макушке станет, гадство, как памятник... Ну, так гордо — кабутто кто научил. Треножить его — она ругается, а убежит — где искать? Да там жишь на буграх. Повертишь головой, а он на макушке — вонын: замер как статуи и стоит один... чего от-то понимал ба? А туда жа!

Передалось?

От ноющего сердечка не ведающей страха джигитки...

Возвышается Бикет над пологим спуском в станицу, лежащую в размыкающем хребет выймище, в богатырской седловине... было, и действительно, было время!

Когда Бесстрашная крепко держалась в казачьем седле.

Но теперь она выбита из него, давно выбита и больше похожа на тяжело раненого, почему-то оставленного своими вопреки всем писанным и неписанным правилам... Как в тяжелом беспамятстве лежит на своих тридцати трех горюшках — как на семи холмах жирующая нынче Москва, эх!..

Подумаешь другой раз: а не она ли прежде всего не подобрала раненых своих, без всякого милосердия и без надежды по всей по русской земле оставила... простится ли ей когда-нибудь этот тягчайший грех?

На торце дома культуры, того самого, где голоса по былой нашей славе рано увядшие от непосильной работы женщины, большими ярко-алыми буквами перед празднованием 130-летия станицы вывели кровоточащие слова: «ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! КАК НАМ ВАС НЕХВАТАЕТ!» Под ними печальный мортиролог: «1913 год. — 9 376 жителей. 1919 г. — 7 750. 1933 г. — 4 568. 1987 г. — 0 990 человек.»

В торжественный, как похоронная музыка, сценарий, с душевной болью составленный приехавшим на именины родной станицы из Горячего Ключа учителем истории Константином Дмитриевичем Ереминым, бывшим жителем Бесстрашки, кто-то из нынешних насельников счел нужным внести уточнение. Под последними цифрами углем коряво приписано: «вместе с чеченами».

Прежде чем сесть в машину с Брунько, долго мы стояли перед этой казацкой «стеною плача», а когда поднялись на взъём за станицей, на продолжение хребта и в первый раз вышли, чтобы оглядеться окрест, Володя вдруг запел — словно вскрикнул:

П-по горам К-карпатским м-метелица вьется,

сильные морозы зимою трещат...

Эту песню «Казачий круг», как правило, начинал, когда уже хорошенько распелись, когда всех объединило ощущение того самого товарищества, о котором почти две сотни лет назад воскликнул пламенно Гоголь: нет уз святее него!..

Значит, Володя не выходил из того душевного состояния, которое обрел на собственной свадьбе — среди тех, кто верность братству казацкому пронёс, и в самом деле, через века.

П-проклятый германец н-на нас наступает —

н-на нашу державу, н-на крест золотой!

Кабы один германец теперь — кабы!

К этому времени я уже начал корпеть над переводом романа своего адыгейского друга, кунака Юнуса Чуяко «Сказание о Железном Волке» и внутренним зрением уже видел, что одна из глав так и будет называться: «ЧТОБЫ ВСЕ ДЕРЖАВЫ БЫЛИ ВРАГАМИ РУССКИХ...» То были строки из тайного письма абадзехам, составленного Магомед-Амином, Карабатыром и другими старшинами, уехавшими в Турцию искать помощи после того, как в 1861 году черкесы отвергли предложения императора Александра II, с небольшой свитой приехавшего к ним в урочище Мамрюк-Огой возле бывшей станицы Царской, нынче — Новосвободной... все пошучивает над нами над всеми история, все пошучивает!

В объяснении к тому, почему в прошлом веке так надолго затянулась Кавказская война или, если хотите, покорение Кавказа, эта фраза могла быть ключевой... И вот снова: теперь уже стало очевидным, что в наших краях чуть ли не один к одному начало повторяться всё, что происходило тут полтора-два столетия назад: только и того, что число «доброжелателей» наших сильно возросло, сильно... То, что Турция опять ласкала жадными глазами Кубань, свой «летний сад» — это как бы само собой, это у неё уже в привычку многовековую вошло, но с каких это исторических пирогов должна были тут взяться Балтийско-Горская конфедерация? Или даже — Украинско-Горская?

А горцы между тем ведь и сами — давно с усами.

Только представить, каких мучений стоило пылкому, предположим, кабардинцу выслушать плохо говорящего по-русски медленного эстонца! Но — терпеливо слушали. И слушали прибывших от «нэньки» чернобровых парубков, которые думки свои запевали теперь не с бандурою на коленях — с автоматом Калашникова... И само собою — поляков, как без них, давно известно, что настоящий поляк — «до каждой стенки гвоздь», где бы стенка не возвышалась.

И вот между делом слушали — пока сами на родном-то, непонятном пришлецам языке перебирали местные варианты: может, все-таки Конфедерация народов Кавказа? С включением в неё Единой Черкесии — от Черного моря и до Каспийского? А то ведь можно, и в самом деле, досидеться до того, что весь Северный Кавказ незаметно, как в постели, подомнёт под себя любвеобильная Великая Армения: от подножия Арарата на юге и до московских Воробьевых гор — на севере...

По этой верхней дороге, которой мы теперь ехали, Бесстрашная соседствует со станицей Отважной, одним своим краем лежащей на хребте, как в Сибири сказали бы — на разломе, а другим — уже на спуске с него... тоже «город-герой».

А какая была станица!

До сих пор уцелели здесь дома дореволюционной, почти столетней постройки, и смотрятся они, хоть пребывают почти в запустении, не хуже остальных, нет. Когда в станицах окрест торопливые внуки решают покончить, наконец, с окончательно якобы обветшавшим наследием своих прадедов, зубья самых совершенных импортных пил начинают искриться над выдержанным когда-то в воде кубанским дубом...

Недаром именно из него сделаны столы и скамьи в привередливом и чопорном парламенте Англии... вот у кого не грех поучиться!

Ведь «Англия всегда права, права она или не права».

Это Россия сама себя во всём винит первая!..

Только ли чуткая от природы совесть в том виновата? Или стало слишком уж много тех, кто искусственно поддерживает в ней постоянную боль?..

Из расположенной за перевальцем, уже в долине Лабы станицы Цафисской мы повернули не на равнину направо, а влево — вглубь гор, и я удовлетворенно хмыкнул: угу! — В Ахметку, Иван Петрович, заглянем?

— До неё не доедем, на мост свернем, — охотно отозвался Брунько: земляки в его фамилии ударение ставят на первом слоге, а вместо «о» на конце произносят «а», так что в просторечном обиходе он — Брунька. — Переедем через Лабу, потом по той стороне заскочим в Псебай и через него — вниз, на Мостовскую. А из Мостов — снова на нашу сторону, и через Каладжинку — домой.

— Ну, спасибо вам! — чистосердечно восхитился я предстоящим маршрутом по местам удивительным по красоте и величию.

И Брунька вздохнул:

— Или мало кому должны? Гулять так гулять!

Спиртного у нас с собой как раз не имелось, но никто и не вспоминал о нем: и без него были пьяны майским солнечным днём, который с каждым часом становился все жарче, но нисколько от этого не терял первозданной весенней свежести — казалось, наоборот: он все набирал и набирал её...

Как только вылезали из видавшего вида «уазика» и отходили в сторонку от окружавших его разогретых запахов бензина и пыли, на неслышных лапах со всех сторон к нам подсакивала звенящая тишина, и только потом начинали проявляться в ней будто вдалеке возникшие звуки... Кукушка здесь не капризничала, не жадничала с обещанием будущего — с неумолчным трудолюбием громко отсчитывала такт заливавшимся обочь дороги в кустарниках и в ближнем лесу малым птахам. В цветущих травах миролюбиво гудели пчелы, путались и недовольно взжуживали шмели, тяжестью своей опустившие в гущину слишком тонкие пока стебельки со сладкими чашечками.

На изворотах дороги все четче, все ясней проступали сквозь тонкую синь вдали сахарные пики снеговых гор, и будто к ним бросался Володя, сбегая с края шоссе в травы. Замирал там, прислушиваясь к миру вокруг, и запевал вдруг — всякий раз неожиданно... Бывало, внизу оставались мы, а он взбегал на ближний бугор и голос его, то безудержно радостный, а то бесконечно печальный опускался к нам тогда как с небес.

Впереди хорошо стали видны две почти сходящихся друг с дружкой высоких горы: Волчьи ворота, которых в здешних местах почти также много, как и Бикетов. Одна была покруче и даже в солнечную погоду — угрюмей, я наклонившись к Марине, сидевшей впереди, рядом с Брунькой, сказал:

— Вот это и есть Ахметка. Высокая гора, та, что справа. Место знаменитое: кухня погоды для всего Северного Кавказа...

— Так уж — для всего? — засомневался Володя.

— Иван Петрович не даст соврать — спроси у него.

— И что на этой кухне готовят? — обернулась ко мне Марина.

— Когда что... смерч какой-нибудь. Ураган такой, что крыши в станицах будет сносить и с корнем деревья выворачивать. Ливень с градом. Знаешь, какие в здешних местах падают градины? По килограмму, а то и больше...

— Не преувеличиваешь, батя? — спросил Володя, как бы подчеркивая тем самым и общую нашу принадлежность к казачеству, и моё старшинство.

— Бывает-бывает! — поддержал меня Брунько. — Только это, конечно, не целиковый лед, а множество градин в одну слипнутся, да так крепко, что об землю ударится — и другой раз не

разобьётся...

— Хороша у вас «кухонька», — снова обернулась Марина.

— Дело в том, что у Ахметки сходятся два гигантских воздушных потока, — взялся я объяснять. — Два коридора... По одному несётся холодный ветер с Баренцова моря: через всю страну и — сюда. А горячий несется по Средиземному морю, пересекает Чёрное и тоже — сюда. Прямым ходом. Если они в разное время пришли, то ладно ещё... Но если в одно и то же, то ударяются оба в гору, как в стенку, смешиваются, свечой идут вверх... на целый километр бьют! Специалисты говорят: женятся.

— Венчаются? — с улыбкой переспросила Марина, и Володя тоже откликнулся:

— Ничего себе «свадебка»!

И мне вдруг расхотелось дальше рассказывать...

А дело в том, что предыдущим летом Саша Черняк, который был тогда ответственным секретарем «Правды», уговорил меня написать очерк о секретаре Краснодарского крайкома партии Полозкове. Ему он, судя по всему, позвонил, а, может быть, Иван Кузмич сам проявил и понимание и такт, которого на родине своей, на Кубани у высоких руководителей я потом больше не встречал. Ни знаменитого хлебосольтва, о котором тогда по стране ходили легенды и фельетоны писались, ни щедрости за казенный счет либо излишней предупредительности — ничего этого не было, а была как бы общая работа. Неделью — по шестнадцать часов, считай, — или сидел в кабинете у него в уголке или следовал за ним повсюду «как хвостик». Записывал, если нельзя было тут же поговорить, вопросы к нему, а вечером либо днём по дороге куда-либо в машине, он мне то или другое растолковывал.

Потом он дружелюбно спросил: а что, если недельку я сам по Кубани поезжу — в любой район, куда душа пожелает... А после мы снова поговорим.

На дружелюбие и обязательность его отвечал я черной неблагодарностью — чуть ли не ежедневно возвращался к больной теме: возможным последствиям от строительства атомной станции на Кубани, Краснодарской АЭС.

Строительство к тому времени уже шло чуть не во всю, а у меня лежали копии нескольких до отчаяния тревожных писем в правительство: нельзя строить, нельзя — ни в коем случае! Мало того, что станица Мостовская, рядом с которой должна была расположиться атомная станция, лежит на карстовых породах, и в случае аварии вроде Чернобыльской зараженными могут оказаться все реки и все, какие есть на Северном Кавказе, подземные источники, в том числе как знаменитые на весь мир Минводы, так и недавно открытые, с запасами ещё большими. Дело еще и в том, что Мостовская, Мосты эти самые, находятся ну, максимум в сорока километрах от Ахметки, а воздушные потоки, «женившись» там, — со «свадебки» этой самой — со скоростью курьерского поезда тремя коридорами с бешеной скоростью устремляются потом на восток: один через Астрахань, и два — один за другим — посеверней... Неудержимо мчат до Урала, а там, если метеоусловия не воспрепятствуют, переваливают через русский «Каменный пояс» и уже беспрепятственно летят через всю Сибирь к далёкому, но «нашенскому» пока Владивостоку... любопытная картинка, не так ли?

И думай, что хочешь: свои недоглядели с проектом? Или чужие слишком далеко видели?

Когда мы снова с ним встретились, Иван Кузмич сказал не только с явным облегчением, но как бы даже и с торжеством:

— Пришлось в Москву по другим делам, но заодно решилось и это, насчет атомной станции: удалось-таки убедить Михаила Сергеевича. Но чур уговор: ни в коем случае в печати об этом — ни слова. Это ведь не только над нами висит, в других местах — тоже... Узнают, что нам он пошел навстречу — от других не станет отбоя... помолчим?

Единственное, что меня тогда чуть царапнуло — придыхание, с каким Полозков о Горбачеве говорил... но мы потом дадим Ивану Кузмичу возможность ещё разок о бывшем нашем ставропольском соседе, будь не к ночи помянут, высказаться — договорились?

А тогда, в брунькиной машине, я вознамерился было печальным знанием своим поделиться, но вдруг, и действительно, расхотелось... Вон как заботливо усаживал Володя свою лебедушку на переднее сиденье: чтобы хорошо было видеть наши горы. Вон как руку ей подает, когда высаживает, как, обнявшись, идут они к закрайку дороги, чтобы глянуть вниз, на долину... Как, возвратившись после пробежки своей от полноты чувств или после того, как спел ещё песню, тут же ладонь её берет в свои обе.

Медовый месяц у них!

А горьких слов им ещё успеют наговорить, успеют...

Мы уже миновали мост через буйную Лабу, уже побывали в Псебае, поставили свечи в безлюдной после полудня церкви «Николы Морского», как тут её зовут, — по прихоти судьбы якобы, а в самом деле, само собою — по промыслу устроенной в сухопутной этой, предгорной станице моряками... Как раз проезжали мимо того самого городка для строителей атомной станции, который успели-таки перед Мостовской возвести, когда Иван Петрович досадливо крякнул:

— Эх ты, какое дело!.. Ведь вот: большое начальство даже за малый недосмотр вечно ругаем, а сами, сами-то!

Перед этим он только что рассказывал, что учился в одном институте с Рыжковым: на том же факультете, на том же курсе. Однокашники! И так теперь надеялся председатель станичного совета на Председателя Совета министров, но нет, нет: видно, что упустил он дело свое из рук, упустил...

— Что, Иван Петрович, случилось-то?

— А ведь думал ещё, — продолжал он как бы сам с собой разговаривать. — Думал: надо канистру с бензином взять, надо! Хоть и попахнет в машине, да зато гарантия, что не будем тут загорать...

— Бензин кончился?

— Да нет ещё, но вот-вот.

— Тут же рядом заправка, — сказал я тоном знатока здешних мест. — Как раз на этом краю Мостов... Будем мимо... или до неё не дотянем?

— Дотянуть-то, может, и дотянем, но кто ж нас там ждёт — с бензином, эх!

— На то и заправка, чтоб...

— Да тут его и в хорошие времена было не разжиться, — не дал мне Иван Петрович договорить. — Про посевную, Леонтьич, не забыл? Все подъела. А где-то ещё пересевают да пересаживают... эх, право! Думал, пожалею гостей... может, хватит. И хватило в другой бы день, а тут — и то показать охота, и это показать... заманивают! Места-то.

— Волшебные места! — горячо откликнулась Марина. — И правда, — волшебные...

— Вот... а теперь, видите!

Машину между тем стало поддёргивать, и Брунька остановил её:

— Давайте выйдем. Девчата постоят, а мы качнём её с бока на бок, там у неё как будто пазухи...

Из «пазух», как ни старались мы, вылилось, видать, совсем немного — скоро пришлось нам «голосовать».

— До заправки дотянуть! — убежденно говорил я притормозившим.

Усмехались почти все, а отъезжали, не дав ни капли, все абсолютно.

— Романтик ты, Леонтьич, — покачивал головой Брунька. — Ох, романтик — какая тебе в начале мая заправка?!

Но что оставалось?..

До заправки на старом «зилке» дотащил нас веселый парень в застиранной гимнастерке. Подмигнул забросившему в кузов трос Бруньке, повел на меня подбородком и пальцем возле виска повертел: мол, везёшь больного?

Мы остались на площадке одни: множество машин стояло поодаль, там и тут возле них кучковались водители. Почему так, я понял, когда на висевшем за стеклом окошка листке из тетрадки в клеточку прочитал написанное размашисто и категорично подстать почерку: «Бензина нет и не будет. Просьба не стучать!»

Но я-то уже успел завестись!

Как чуть ли не строевым подошел, так точно в стекло забарабанил уверенно.

Окошко открылось почти мгновенно, молодая женщина громко и с вызовом спросила:

— В чем дело?!

— Да в чем, в чем! — сказал я чуть ли не громче неё, широким жестом поведя на категорическую надпись в окне. — Всю жизнь о родной Кубани пишешь, а как купить литр бензина, чтобы до дому добраться!..

— А почему пишете всю жизнь? — переспросила она уже с интересом.

— Да потому что я писатель, и больше ничего не умею...

В голосе у неё любопытства ещё прибавилось:

— А фамилия ваша — как?

— Немченко моя фамилия, ну — Немченко...

Тон мой ясно давал понять, что это — только начало нашего диалога, только начало...

Но она вдруг там всплеснула руками:

— Ой, это правда?!

Я чуть не сбился:

— Что — правда?

— Что вы — Немченко?

— Да тут уж могу ручаться!

— А я ж вас несколько лет тут жду!

Пришел мой черед оторопеть:

— Это в каком смысле?

Она там все хорошела и расцветала: ну, так теперь вся и светилась.

— Да в прямом... Сижу вот и жду.

Мало ли, и правда? Я уже чуть не мямлил:

— А... зачем, прошу простить?

Зато у неё на лице такая была доверчивость, такая открытость!

— Вы же писали про Жору Бондаренко?.. Писали. А это мой папа.

— Жора? Бондаренко?

— Ну, да... Чабановал у Корнева дяди Вани...

До меня стало доходить:

— В Зеленчуке-Мостовом?..

— Ну, да... жили там. А когда помер папа, я уехала, здесь устроилась...

— Умер... он умер?

— Несколько лет назад.

Теперь я, и правда, его вспомнил, сочувственно завздыхал: ах ты, ах ты, мол!..

— Папка хороший был, — сказала она с любовью и благодарностью. — А вы ж про него написали тогда, в газетке я сама прочитала, а потом люди говорить стали: есть в вашей книжке... а я вот тут сидела и всё думала, думала: да проехал бы мимо нашей заправки этот писатель... А я б у него эту книжку, где есть про папу, и попросила бы. И он бы мне прислал...

3

Конечно, надо мною можно пошучивать, а можно и вволю поиздеваться: хорош, мол, народный заступничек, — хорош!

Десятка три или четыре машин стоят, ждут — нету для них бензина, ну, нету, и — не будет, а ему по самые ноздри в «уазик» залили, и — больше ему ничего не надо: счастлив форменно!

Но я тогда не слышал ворчанья и ругани, которые наверняка имели место быть, как говорится, не замечал косых взглядов в нашу сторону — так изумило меня и так умилило произошедшее...

Нет, правда: какую приветливой хозяйкой вынеслась она из своей деревянной, с решетками на окнах конторки, как засутилась, как вокруг нас не то что забегала — ласточкой залетала...

А я слёзы еле сдерживал: да милая ты моя! — все думал. — Сидела в этой своей бензином пропахшей будке, терпеливо ждала. Горячо верила, что нужный ей человек непременно поедет мимо и перед нею появится... недаром и звать-то её: Вера.

Пробовал за бензин заплатить, сунуть деньги в кармашек кофточка-разлетайки или оставить под окошком — куда там!

Она так искренне обижалась, так радостно повторяла одно и то же: мол, как не поймёте — это вам от нас с папкой... он бы за меня радовался-я!.. Что, наконец, вас нашла.

Не слышавшие начало разговора спутники мои сперва не очень-то разумели, что происходит, а только все таинственно переглядывались, и лишь Брунька, как человек дела да ещё какой, какой школы — бесстрашенной, стремительно и беспрекословно выполнял все команды нашей спасительницы и жалел теперь, по-моему, что зря, в самом деле, не захватил из дому две-три пустых канистры.

После, когда я все пересказал им, наш экипаж попритих, поудивлявшись, задумался, а Скунцев вдруг спросил:

— Какое нынче, братцы, число?

Шестое было с утра! — взялись над ним наши дамы посмеиваться.

— А праздник, батька, нынче какой у нас?

— Георгия Победоносца? — припомнил я, поскольку праздник этот чтит не только сам по себе, но ещё и потому, что с детства, считай, дружил с осетинами, а святой Георгий у них — один из самых почитаемых святых, да что там: главный!

— А отца-то Веры, покойничка, как звали? — продолжал Володя допытываться.

— Жора Бондаренко... Георгий, да!

И Володя накрыл мою руку ладонью и поприжал:

— Вот, батька, во-от! Святой Георгий и устроил нам эту встречу... По его, получается, жориному ходатайству...

У меня у самого всё это вызревало в душе, в уме выстраивалось, а тут вдруг возникло с такою ясностью: «Он бы за меня радовался-я-я!» — сказала о своём отце Вера... да причем здесь это возможное, это всего лишь предположительное «бы»?

Не знаю, как это происходит, но то, что случился и его праздник, пастуха Жоры Бондаренко, случилось и его торжество, и он стал не только зрителем его с горних-то высот — стал участником, а в какой-то мере и устройтелем его — это точно. Прав Володя: ходатаем был. За дочь свою. Перед покровителем путников... Одним из самых главных заступников России и переживающего нынче не лучший свой час православного её воинства.

В Отрадной я первым делом нашел дома экземпляр своей книжки «Человек-корень», с нетерпением принялся листать...

Вот эта страничка о знаменитом в наших краях чабане Иване Андреевиче Корневе и о его помощнике Жоре:

«Теперь уже повидал я Ивана Андреевича в разных, что называется, видах: и как метельной ночью в три утра бредет он, утопая в снегу, на кош с черною дерматиновой сумкой, в которой шмат сала, кастрюлька с варениками да хлеба краюха. И как поздно вечером осторожно, чтобы, упаси Бог, не поскользнуться да не упасть, спускается потом под гору, и в сумке у него лежит только недавно увидевший белый свет крошечный ягненок-доходяжка, а за пазухой такой же второй — опять будет работа тете Поле: угощай парным молочком, выпаивай травками!..

И слышал я об Иване Андреевиче тоже много. Знакомый агроном, с которым я недавно возвращался с хутора Зеленчук-Мостовой, из того самого отделения колхоза „Россия“, где работает Корнев, стал мне, сам над собою посмеиваясь, рассказывать:

— Я ещё тогда не знал его... А с мясом неважно. Я и подкатил: Иван, говорю, Андреич! Как бы у тебя — колхозной баранинки?.. Не выручишь? Думал он, думал, морщился, потом говорит: ладно, мол. Я тебя уважаю. Завтра вечерком подъезжай, буду дома. Подъехал завтра... выносит из сараюшки куль. И что-то у меня подозренье... Развернул, а там пять куриц, уже ощипанных. Иван, говорю, Андреич?! Да ты что? А он чуть не плачет: хоть режь, а барашка — не могу! Своих перевел, не держу пока — не успеваю!

Слышал об Иване Андреевиче много, но больше всего запомнилось то, что увидел однажды сам.

Студеным февральским утром, когда уже стали меркнуть огоньки и в хуторских домах под заснеженной горой, и дальше, в черкесском ауле Бесленей за темным, так и не поддавшимся льду Зеленчуком, мы с чабаном Жорой Бондаренко стояли среди овечек на корневском коше. Овцы уже торопливо жевали, уже перебежали от кормушки к кормушке, одна другую отталкивали, а мы теперь отдыхали, поглядывали на еле заметно выступающую из сини чуть розоватую верхушку Эльбруса и рассуждали расслабленно, что нынче она „без папахы“ — без облачка на макушке — значит, к погоде, да...

С возом сена на широких санях неслышно подъехал Иван Андреевич, остановился поодаль и — не то чтобы приказать — почти виновато попросил сверху:

— Ты тут поглядывай, Жорк!..

Бондаренко, тот наоборот — прикрикнул по-хозяйски и даже отмахнулся:

— Давай-давай!

Иван Андреевич ещё посидел с вожжами в руках, помедлил, потом спросил неуверенно:

— А не много я накидал?

И тут Жора взорвался:

— Хэх, ей-бо!.. Да езжай ты уже, надоел, ну тебя к шутам, а то сейчас за валенок стащу, а сам сяду!

И по тому, как Иван Андреевич, поднимая кнут, вдруг задержал его и покачал головой, я понял, что он вздохнул.

— Противно смотреть! — сплюнул Бондаренко.

Когда Корнев тронул, наконец, я спросил Жору:

— Куда это он?

И Жора сплюнул опять.

Но тут сперва придется несколько слов о самом о нем, о Бондаренко.

Жора тоже труженик, каких поискать, — недаром же пришел к Ивану Андреичу, недаром работают они в паре. Но до этого... Как-то, когда мы с Жорой, оставшись на коше ночевать, сидели у этой самой печурки, пили тот самый пастушеский — от сорока болезней — чаек и толковали о жите-бытье, он позвал меня за порог, под крупные в горах, словно слегка лохматые звезды, и там набок наклонил голову, поднял палец:

— Слышишь? Песни играют. Думаешь, на хуторе? Не-е!.. На кошу. Там, где и я раньше... О, дают песнячка! А теперь слушай: овечки должны крычать. На том кошу, кто громче — чи пастухи, чи овечки... или не слышать, глянь? — и он ещё внимательней в морозную ночь вслушался, сказал почти ошарашенно. — Неужель покормили?

Та — с песнячками — жизнь Жоре однажды надоела. И он попросился к Корневу. Тот ему поверил.

Бывает, правда, что поедет Жора в соседнюю станицу за какой-нибудь малой малостью и встретит там кого-либо из старых своих дружков закадычных. Тогда он вернётся на бричке гордый и недоступный, станет пыжиться и старшему чабану выговаривать: сам горб скоро наживешь и других не жалеешь. Кому оно это надо?!

Ну, тут уж их обоих крепко выручает, что Иван Андреевич недослышит.

Зато, когда в конце года получит Жора столько же, сколько старший чабан, а то, случается, и чуть больше, ходит он виноватый, бубнит другое: „Андреич!.. Если я када отто... ты уж энто... не серчай, а?“

Но другой раз приходится Жоре покричать на старшего и будучи ни в одном глазу, как говорится, — когда он, старший чабан, выкинет что-нибудь этакое, что с его, Бондаренки, точки зрения — ну, совсем уже ни в какие ворота!

Как в этот раз.

Сплюнул Жора и говорит мне:

— Ты представляешь?.. Он сено, что своей корове косит, каждый раз на кошу скирдует. А зачем, спрашивается?.. И комбикорма, и силоса хватает, да ягнтям, когда только что родятся, каротин нужен, а где он? Он в хорошем сенце. А с сенцом-то, знаешь, бывает... Вот он и давай тогда свою скирду потрошить, колхозных ягнаков угощать. Ну, раз ты такой добрый — угощай. Дело, сам знаешь, хозяйское. Только не забывай же и про свою скотину!.. А то своя ревмя ревет, Полина, бедная с вилами по соседям ходит, как побирушка — навильничек тут, навильничек — там... дал я ему вчера прочуханки! — и голос у Жоры набирает строгости. — Потихоньку, чтоб ты не слышал, страмил-страмил его. Что ж, говорю, что ты — Герой труда? Ну, что теперь делать?.. Вот это, говорю, пока я за тебя серьёзно не взялся, накидай, говорю, воз и отвези домой, а не то... Заставил-таки! Накидал он нонче с утра. А теперь подъехал, видишь, и ноет: а не много, мол, накидал?.. Нет бы посмотреть, не много ли на кошу оставил — хэх, ей-бо! Учишь-учишь!..

И Жора, убежденный в неисправимости Корнева, безнадежно махнул рукой.»

Какие-то две странички... Всего-то!

А радости было у Жоры в его не очень устроенной — чтобы беспросветной не сказать — жизни, — радости!..

Ещё и дочке оставил.

Вере.

Кроме этого, может, в наследстве у неё — и ничего больше: был не из тех, кто копит, гондобит по-

здешнему, эх!

Вспомнил, как Иван Андреич, когда мы только что познакомились, взялся меня расспрашивать, какой я писатель: газетный? Или — книжный?

Газетных писателей, говорит, у нас на кошу уже много перебывало, а из книжных вы — первый... милые вы мои!

Тоже вот, Герой соцтруда, а что в своей жизни видел? Ну, на какое-нибудь торжественное мероприятие — в «край», в Краснодар... Ну, в Москву разок: на сельскохозяйственную выставку. Недаром ведь Жоре иной раз больше начисляли: подменял старшего, пока тот был в отлучке.

А между тем ведь постоянно держал их в памяти: скольких добрых людей повидать пришлось, у скольких погостить... А более сердечных в простоте и открытости своей, пожалуй что, не встречал: может, это доля пастушеская делает людей мудрецами? Недаром ведь считается, что именно они, пастухи, были первыми астрономами. Звездочетами, да.

Раздумывая, я словно мягко провалился в те зимние деньки, которые несколько лет назад провел у Ивана Андреича и Жоры Бондаренко... вот же, вот!

Почему тогда об этом не написал? Посчитал, что не главное?

Как пришла пора уезжать, и на санях об одну лошадку мы с Жорой ранним рано спускаться начали к хутору, где я собирался сесть в автобус до Отрадной. Темень внизу уже была пробита неяркими желтками: огни в далеких окнах то почти растворялись в легком туманце, а то начинали длинно лучиться — мы поднимались на бугорок, но тут же снова подныривали под предрассветную кисею. Потом хутор исчезал, кругом белели призрачно снега и снега, и тут среди покрытых ими холмов и увалов коротко полыхнула яркая горбушка... луна?

Повел головой, шею вывернул, но сани опять покатились вниз, Жора накрепко вожжи и прикрикнул на лошадку начальственно, так — больше для острастки... И на макушке очередного горба мы вдруг очутились чуть не вровень с облитой алым, осиянной голубизной верхушкой Эльбруса.

— Жора! — ахнул я. — Погоди...

Но он остановил сани ещё до этого, сказал довольным тоном:

— Да, а я нарочно сюда... поглянуть!

В долине внизу ещё не один часок до рассвета, а там уже настал ясный солнечный день... Вглядываясь в царственную, с венцом на серебряной, раздвоенной главе гору, долго молчали, и я был благодарен Жоре за это молчание... что тут скажешь?

Проговорить, что красота неземная — всего лишь отметить факт, потому что это мы на грешной земле, а там всё — чище, девственнее, недоступней, целомудреннее... И в самом деле — возвышенной.

— Надо ехать, Жора, — сказал я, наконец, и вздохнул вздохом, как дитя малое.

— Надо, дак надо.

— Спасибо тебе: когда ещё такое увидишь?

— Да тут — хуть каждый день.

— В том-то и дело: тут!

— Дак а чаще приезжай до нас!

— Хорошо бы... как прижмет вдруг тоска в Москве... Как вспомнится родина!

— Да какая она у нас красивая... а, Леонтич? Какая теплая.

Прогостевал я у них тогда две недели. Была самая пора окота, и я на равных с Иваном Андреичем и Жорой отдежуривал своё ночью, но овечки почему-то предпочитали ягниться, когда не спали всамделишные чабаны, а не как я — зеваки... Видел это раньше мальчишкой, но теперь будто проникался каким-то иным смыслом, когда смотрел, как жадно поедает окотившаяся овечка студенистый послед, как терпеливо облизывает освободившегося из него крошечного ягнчка.

Утром, когда «итог били», Иван Андреич с карандашом в руке спрашивал:

— Сколько у тебе, Жорк?

— У мене двадцать читыры, — кричал Жора и для убедительности и на пальцах ещё показывал.

— И у мене двадцать шесть, — ставил очередную цифирку Иван Андреич.

— У Леонтича — тры! — кричал Жора.

Иван Андреич как будто нарочно переспрашивал:

— Скольки?

Жора большим пальцем мизинец к ладони пригибал, остальные выбрасывал навстречу внимательным очкам Ивана Андреича. И тот значительно повторял:

— У книжого писателя — тры!

Что ж, что «тры»: хоть кош давно остался позади, парные овечьи запахи сопровождали теперь наши санки и на морозном воздухе... Шли от лежавшей под нами соломы? От рабочей одёжки Жоры: замызганной «кухвайки»-стеганки и продранных штанов, через дыры которых видны были и вторые под ними поддетые, и — третьи?

Или — уже и от моей меховой куртки, недавно совсем новенькой, купленной в магазинчике мехового комбината в Отрадной, где на ней висела на черной ниточке бирка: «верх. спецодежда для работников ферм»?

К овечьим запахам прибавились вскоре конские, Жора деликатно выждал, пока над упавшими в снег теплыми «яблоками» они как будто достигнут пика, начнут потом на морозце таять и постепенно улетучатся...

Вожжами тронул лошадку, санки легонько скрипнули, покатались. Вокруг нас оказались снова снега и снега, краем и отчего-то сбоку мелькнули вдалеке теплые огоньки в хуторских окнах, дорога надолго пошла вверх и вверх...

— Жор! — сказал я, наконец. — Мы ж тут, кажется, уже проезжали?

— Дак, а чего нам? — откликнулся весело. — Я вижу, тебе нравится... а до автобуса ещё о-он сколько, мы успеем!

Тут до меня дошло:

— Гляжу, катаешь меня?

— Да, а чего плохого: время есть. А я ж помню, как ты с коша на гору, на Эльбрус все глядел... честно, Леонтич: знаешь, какой я довольный, что ты красоту эту понимаешь!

— Ещё б не понимать, Жор: своё!

— А тянет всё-таки, Леонтич, домой?

— Ещё как, Жора. Ещё как!

— Ну, и бросил бы уто Москву эту!

— Да как её теперь бросишь?

— Ну, дак хуть насмотришь тут — от пуза!

Вспомнил всё это, и — пронзило: стоп-стоп!

Да ведь и Брунька, считай, катал нас... тоже красоту нашего Предгорья показывал. Чтобы насмотрелись тоже — «от пуза». И как же так вышло, что к той заправке, где Вера так долго ждала меня, мы при очень похожих по смыслу обстоятельствах опять и приехали?!

Как это всё вообще происходит... но — что? Что?!

... В тот же день я пошел в Отрадной на почту, отправил Вере бандероль.

4

На этом бы можно поставить точку.

Или же — нет, нет?..

Всего лишь через год-два, во Дворце спорта в Лужниках конный театр, созданный младшим из братьев Кантемировых — Мухтарбеком готовился показать премьеру спектакля «Прощай, Русь! — Здравствуй, Русь!»

Как я в те дни за Мухтарбека радовался! За Мишу.

Старший из знаменитой династии цирковых наездников, Хасанбек был в это время уже на пенсии и в Ростове отводил душу, создавая семейный музей «Джигитов Осетии „Али-Бек“» — труппы, ещё в двадцатых годах основанной неувядавшим потом до глубокой старости, ещё в свои девяносто выезжавшем на манеж Алибеком Тузаровичем Кантемировым. Средний, Ирбек уже успел получить не только все, какие можно, звания и награды на родине, в Советском Союзе, но и заработать мировое признание и громкие титулы самых элитных клубов за рубежом... И тот, и другой шли, вернее — мчались классической, наезженной отцом цирковой дорогой, и только Миша взял резко в сторону...

Кантемировых знал три десятка лет и не однажды успел о них написать, с Ирбеком, Юрой стали не только товарищами — задушевными друзьями, и все вместе мы так давно ждали, что вот-вот, вот-вот настоящая удача улыбнется и Мише. Довольно долго он работал в группе Ирбека, на нём были самые ответственные трюки, потом ушел в кино, и кроме блестящей каскадерской работы, принесшей ему славу среди коллег-профессионалов, показал великолепную актёрскую, снявшись в заглавной роли

картины «Не бойся, я с тобой»... Но всё это были только подступы: к самому себе.

Каких только мук не натерпелся он со своею заветной целью — конным театром! На «бис» приняли постановку экзотического «Золотого руна», в которой Миша попеременно изображал нескольких героев сразу... Но пришла пора мудрой зрелости... как он над своею «Русью» трудился!

По сути то была непростая наша история, проходившая не только у зрителей на глазах, заодно — пред очами святого Георгия Победоносца, образ которого воплощал столько лет мечтавший об этой работе Миша.

Не только богатырь и красавец — благороднейший человек и умница, которого сама природа, казалось, создала для столь высокой и ответственной роли... С неизменным копьём в руке, как смотрелся он в серебристом шлеме и алом плаще поверх сверкающих доспехов на своем верном Эдуарде — мощном сером жеребце в яблоках!

Конечно же, сначала он побеждал змия и освобождал красавицу, возвращая её родным отцу-матери, потом, наблюдая за схваткой славян-русичей с кочевниками, врезался в самую гущу схватки, и его удары мечом со вздыбленного коня решали исход яростного боя... Помогал святой Георгий лихим гусарам, в меньшинстве оказавшимся против французских драгун под Бородино, помогал русской коннице против германской в первую мировую. И, в глубокой печали опустив голову, долго потом стоял скраю поля, на котором шла братоубийственная война белых казаков с красными. Гражданская...

Но вот на арену стремительно вылетали уже нынешние — тогда ведь так на них надеялись! — молодые казаки, радетели возрождения России. В обновленном образе той красавицы, которую когда-то давно спас святой Георгий от чудища, появлялась она сама — новая Русь, за руку ведущая светловолосого мальчика в национальном костюме... И Победоносец наклонялся с коня, брал мальчика, усаживал перед собою и, пока на арену высыпали многочисленные участники спектакля, с гордостью и достоинством совершал с ним круг почета: круг жизни. И — круг истории.

Действо получалось яркое, энергичное, богатое по смыслу и щедрое своими эмоциональными всплесками, которые придавали ему не только главные по сюжету, но и вставные номера — с ярмарками, гуляньями и народными забавами... почти полтора десятка лет спустя я всё ещё вижу, вижу это как наяву!

Правда и то, что я ведь не один раз спектакль просматривал. Несколько. И когда Миша звал на репетиции. И когда пригласил на видеозапись покупавшими представлением на корню, спорившими из-за этого меж собой японцами да голландцами.

Мы как раз снимали документальный фильм «Вольная Кубань», и я решил, что одна-две сцены из мишиного спектакля наверняка украсят нашу картину... но что такое, что такое?

Неизвестно откуда взявшиеся военные «гаишники» и раз, и другой, и третий завернули нашу машину с киноаппаратурой, могли опоздать, а тут вдруг — тоже откуда ни возьмись — на улице появились танки... наверняка опоздаем, не сможем пробиться потом сквозь толпу у входа, не успеем найти удобное для съемки местечко!

Притемненный зал Дорца спорта в Лужниках был чуть ли не полностью пуст — лишь кое-где кучковались молодые осетины, которых я видел на собраниях землячества, куда частенько приходил с Кантемировыми...

Десятка три или четыре зрителей — в зале, рассчитанном на шесть тысяч мест.

Это был день Преображения Господня в 1991 году — 19 августа.

Отвлёк москвичей другой спектакль: возле Белого, будь неладно это название, дома самый известный из русских режиссеров, Иван Хмель, с помощью многочисленных зарубежных помощников

и консультантов показывал свою новую работу: «Царь Борис, расейнин...»

Как знать: может, эта премьера каким-то образом задержала на улицах столицы и самого святого Георгия?

Но в Лужниках он не появился.

Спектакль, который так блистательно разворачивался на всех последних прогонах, теперь вдруг померк, замедлился, почти остановился... В самый неподходящий момент споткнулся вдруг под Мухтарбеком серый в яблоках его Эдуард, верный «Эдуля»...

Не от внезапного ли повеса головы у наездника это всегда случается?

Не от неверного ли толчка джигитского сердца?

Миша после спектакля уединился, и только чрезмерная настойчивость привела меня, наконец, в комнатку, где с серебристым шлемом на коленях сидел, ещё не снявши алого плаща, опустивший голову на грудь не знавший до этого не только поражений — на знавший усталости Победоносец...

Или у них там тоже все не так просто и случается всякое?

Каким отрешенным взглядом, каким печальным друг мой на меня посмотрел!

Спектакль провалился с треском, и первыми убежали из труппы ярмарочные плясуны из вставных номеров, акробаты с гиревиками, так выразительно и так весело изображавшие народные забавы... Потом, прихватив седло, которое у каждого джигита — своё, тайком стали покидать Мишу наездники.

Сперва только русаки, потом — осетины...

С немногими оставшимися с ним конниками несколько лет Миша то перебивался на Золотых песках в Болгарии, то бедовал на чужих манежах в Москве... Всё это время мы перезванивались, нет-нет да встречались на осетинских праздниках или в доме у старшего брата, у Ирбека, и когда в газетах замелькали сообщения о явлении в Осетии святого Георгия, я тут же набрал мишин номер.

— Тебе не кажется, Миша, что это на твой многолетний и почти непрерывный зов Георгий Победоносец откликнулся? — спросил Мухтарбека. — Во всяком случае, ты этому наверняка способствовал... звал его... тебе не кажется?

— Нет-нет, Гаринька, нет! — в дружелюбном мишином тоне так ощутима была его деликатная улыбка, которая не однажды заставляла меня задумываться: откуда в этом богатыре с его великаньей силой и ловкостью опытного поединщика, откуда столько мягкости и братской любви? — Это слишком щедрая награда за мой скромный труд. Чересчур высокая честь, я её не достоин. По-моему, это все осетины давно просили его защиты, и он появился, наконец, наш святой... наш Георгий Победоносец. Ты знаешь, какой потом в Дигоре был кувд? Люди пришли не только из соседних сел — из Владикавказа приехали. Везли с собой кто баранов, а кто быка. Не хватило всей улицы, чтобы сдвинуть столы и выставить на них все, что привезли с собой — столы тянулись и за селом, по обе стороны...

— Миша, Миша, — попытался остановить его. — Скажи другое: какие-то достоверные подтверждения есть? Или этот пир на весь мир — самое главное теперь доказательство...

— Такого общего пира в Осетии уже давно не было, хотя ты знаешь, сколько народу собирается всегда в святой роще на праздник Джергубы... того же Георгия Победоносца. Но там было больше! В Дигоре.

— Вот и спрашиваю: теперь это — главное доказательство чуда?

Мухтарбек вздохнул и уже другим тоном посоветовал:

— Позвони генералу Цаголову. Он человек серьёзный, ты это знаешь. И он с удовольствием с тобой встретится...

— Он был там — Ким?

— И там — тоже, — улыбнулся Миша.

— Сейчас же с ним свяжусь. Тут же.

— Перезвонишь мне потом? — попросил Мухтарбек. — Надо повидаться: у меня для тебя есть маленький подарок... к случаю как раз. Перезвонишь?

Генерал, работавший тогда заместителем министра в Миннаце — в том же здании на Ушинского в центре Москвы, где когда-то Иосиф Виссарионович Сталин в Миннаце начинал, — принимал меня запросто, в комнате отдыха рядом со своим кабинетом — все стены здесь были увешаны видами Кавказа собственной его кисти. Извинившись, я медленно пошел было вдоль картин, но тут же остановился, завздохнул...

— Кавказ подо мною? — спросил генерал насмешливо.

— Хоть бы на часок! — сказал я мечтательно.

— С удовольствием бы составил кампанию, — поддержал он понятный ему порыв. — Но... всё, что могу, как говорится!

Повел рукою на собственные пейзажи, и я снова и с интересом, и с ностальгической тоской стал вглядываться, но тут вдруг подернул головой — словно споткнулся обо что-то глазами.

— Совсем другие горы, — слышалось у него в голосе одобрение. — Афганистан, да.

— Неужели с природы?

— Нет, это по памяти...

Но тут надо, пожалуй, объяснить, откуда пошло наше с Цаголовым знакомство: в девяностом году, когда я ещё не успел наиграться в казаки-разбойники и был председателем Оргкомитета по созыву первого Большого круга казаков России, прежде многих других пригласил на него старого своего к тому времени друга Ирбека Кантемирова, Юру. А Юра пришёл на наш Первый круг с другим джигитом — наголо бритым горбоносым осетином в генеральском мундире. Вид у него был не только бравый, но чем-то явно довольный, пронизательные глаза дружелюбно посмеивались.

С Ирбеком давно понимали друг дружку с полуслова: подтолкнул его плечом, потихонечку спросил, кивнув на Цаголова:

— Есть причина?

— А у него она будет ещё лет десять, — рассмеялся Ирбек. — Столько, сколько моджахедом работал...

Сунул руку в карман пиджака, достал небольшое фото: угрюмый погонщик в драном халата и в чалме с мордой верблюда над плечом.

— Каких только не разузнал там секретов, а спрашиваю, что это за скакун у него за спиной: «араб» или «ахалтекинец», скажи Ким? Молчит!..

Когда рассказал теперь Цаголову о цели визита, генерал нисколько не удивился.

— Я вылетел немедленно, как только из Владикавказа позвонили в Москву, и ещё застал нарастающие следы от конских копыт на крыше школьной подсобки, — начал деловым тоном. — И сделал потом всё, что должен был сделать профессионал: всех до одного свидетелей расспросил, ответы записал, свел вместе, постарался анализ дать...

Где-то в архивах моих лежит крошечная кассета с записью подробнейшего рассказа генерала Цаголова... мне стыдно, что где — то, а не тут, сейчас — под рукой. Стыдно, что по горячим... по ещё нарастающим следам запись эту я так нигде не опубликовал тогда — после за меня это сделал в «Юридической газете» старый товарищ Юра Апенченко, однажды искренне удивившийся: «Как? У тебя это есть и ты — сидишь?»

Такие мы, русаки!

(Подумал было, вдруг повезёт, сунулся сейчас по многочисленным коробкам и ящикам, нашел такую же крошечную кассетинку от «Сони» с надписью карандашной: «Босфор»... Это — к тому же, и лишь подтверждает, что я сейчас вроде бы на верном пути... на курсе, который прокладывал тогда снимавший учебный фильм для будущих штурманов России Евгений Геннадьевич Бабинов — Главный штурман Военно-Морского Флота...)

И всё же не в этом суть.

В том, что сам генерал все в осетинском селении Дигора случившееся воспринимал с той же уверенной деловой серьёзностью, с какой относился к своим афганским странствиям караванными тропами...

— Что любопытно, — рассказывал, зажигаясь. — Все слышали, как святой Георгий сказал: вы перестали слушать старших — это очень плохо... Около сотни человек опросил, и все: да, слышал. А какой у него, спрашиваю, был голос?.. Чем он запомнился? Удивляются: причем — голос? Он как-то так: молча. Но каждый слышал одно и то же — слово в слово... Я потом одному из наших высших церковных иерархов тут уже, в Москве, об этом рассказываю, а он: все верно. Воистину в писании сказано: молчание — язык будущего века!

Выходит, зря я всё-таки в разговоре с Мухтарбеком пошучивал насчёт вселенского пира — зря. Сказал об этом Цаголову, и он будто вспомнил:

— Будешь звонить, поздравь его. Недавно он окрестился...

Надо сказать, что прежде я об этом не думал: крещен Миша, нет ли?

— Вот как? — откликнулся теперь с неожиданной радостью. — И где он окрестился?

— Отец Артемий его крестил, — чему-то улыбался Цаголов. — Может, помнишь: в самом начале перестройки этот батюшка вел передачи для детишек — такое доброе лицо, весь светится, — и переменял тон. — Так и не пойму до сих пор, почему он с телевидения ушел, а все эти бесы появились...

Загадка, которую не в силах даже опытному аналитику одолеть?..

О Полозкове «Правда» так ничего и не дала: по вольной своей, не стесненной работой в штате привычке я тогда замахнулся чуть ли не на роман о Кубани, а положение в стране менялось стремительно — не успел. Две сотни машинописных страниц под весьма многообещающим названием «Возвращение человека» и поныне дожидаются продолжения уже в одном из самых дальних углов на нижней полке вместительного стеллажа — молчаливого пожирателя так и не воплощенных, не доведенных до ума замыслов...

Но ведь обещал тут вернуться к «рыцарю-наоборот», к ставропольскому оборотню Горби, из-за которого — чтобы мог на своем комбайне без препятствий проехать через Кубань — слетело столько краснодарских головушек!

Как-то стоял в Москве перед концертным залом «Россия» с картонками пригласительных билетов на выступление Кубанского казачьего хора — раздавал землякам. И вдруг появился один незапланированный, как бы примкнувший к нам уже недавно земляк: Полозков.

Не богатырской внешности, а тут ещё худой и бледный больше обычного после всех наших общих горестей и тяжкой персональной беды под названием «обширный инфаркт», двигался он медленно и как будто осторожно, но глаза из-под очков смотрели по-прежнему остро, и я пошел навстречу, мы обнялись.

— Позвольте, Иван Кузмич, не только поздравить вас, но — позавидовать, — сказал от чистого сердца. — Очень дельную вы написали работу!

Он вскинулся:

— Успели прочитать? Спасибо, братское спасибо!

— Вам спасибо, — сказал обычное.

А он вдруг как будто вернулся к давнему разговору — оба мы понимали, о ком это:

— Какой оказался предатель!.. Какой сукин сын!

И как, придется добавить, хорошо, что «Правда» не дала тех, сказанных с придыханием слов Полозкова о тогдашнем его высоком патроне...

Но Саша Черняк, так и не дождавшийся заказанной им статьи, терпеливо продолжал свое дружеское, спасибо ему, шефство надо мной: может, он решил, что мне необходима строгая редакционная узда? .. Или — свет не без добрых людей — просто пожалел меня, бившегося от безденежья как рыба об лед?.. Так или иначе это он позвал меня «обозревателем по культуре» в «думский» журнал «Российская Федерация сегодня», где был в ту пору вторым заместителем главного редактора. Это он потом по-братски поддерживал, пытаюсь не давать в обиду ни ответственному секретарю, высокомерному — эх, на пустом месте! — однокашничку, ни первому заму — ненадежному кемеровскому землячку с подзанятым на Кавказе именем Руслан.

После насытных, но зато далёких от начальственного присмотра «вольных хлебов», мне, конечно же, приходилось кисло, но изо всех сил старался я должности своей соответствовать...

Дело было три года назад, в начале июля. Опаздывал на «летучку» и, невесело потешаясь над собой, придумывал: что бы такое в своё оправдание сказать?.. Как там наши редакционные гиганты: не завелась, мол, машина, пришлось оставить в гараже и — на метро... Может быть, и мне так? Не завелась, мол, машина, как ни старался, да, — не завелась!... Как ни бился — так в шестьдесят слишком и не завёл её — ну, нету у меня машины: пришлось пёхом!

Пусть, мол, поулыбаются — пусть...

Но отшучиваться мне в тот день не пришлось: вместо летучки шел «круглый стол», да какой гость во главе его восседал!.. Главком Военно-Морского флота адмирал Куроедов с внушительным офицерским синклитом по бокам.

Конечно же, я уши наострил, как говорится: часто ли приходится теперь видеть умные лица с озабоченными глазами, слышать искренние, не скрывающие внутренней боли голоса...

Когда начались вопросы, кто-то из наших не без лихости предложил сформулировать «главную проблему» Военно-Морского флота, но Главком сказал медленно и жёстко:

— У Военно-Морского флота нет проблем: есть задачи, которые он должен решить, во что бы это ни стало.

В торжественно-горьком тоне послышалось тоже почти позабытое: твёрдая воля воина обязанного стоять до конца.

И во мне отозвалось что-то древнее, что-то от предков — спросил громко:

— Это девиз?.. Как раньше на Кавказе: настоящий джигит не должен был спрашивать, сколько врагов. Он спрашивал только главное: где они?

Старшие офицеры в желтых форменках с черными погонами, сидевшие по обе стороны от адмирала, вскинули оживлённые лица. Главком усмехнулся вроде бы снисходительно, но с видимым одобрением:

— Это девиз, да.

Разве не устали мы от череды предательств, и тайных и откровенных? Разве не истосковались по достоинству и чести, оказавшись вдруг на грязных задворках всемирного торжища?

И меня, штафирку гражданского, вдруг понесло — вскочил снова:

— Много лет назад, я тогда жил в Сибири, мне пришло разрешение Главного штаба побывать на наших военных судах в Средиземном море. Тогда обстоятельства не позволили им воспользоваться. Вы только что говорили о походе отряда кораблей с нашими миротворцами — в Грецию... Нельзя ли, товарищ адмирал, и нынче считать мою бумагу действительной?

Не исключая, он кожей ощутил эту символическую возможность: на разрыве времен связать ещё одну тонкую, пусть очень тонкую ниточку. Поглядел на меня построжавшими глазами и чуть помолчал. Сказал коротко:

— Вылет послезавтра в девять ноль-ноль с аэродрома Военно-Морских сил в Астафьево. Бумагу — при себе.

Сослуживцы поглядывали на меня не без усмешки: придумает же! Какая ещё «бумага»?

Но тут я как раз не сочинил.

Дома первым делом бросился к шкафу с давними, как леденцы прилипшими одна к другой записными книжками в ледериновых переплетах, принялся ворошить старые папки, разгребать вороха бумаг с фирменными бланками тех времен, которые из дня нынешнего, и в самом деле, виделись допотопными... Ну, фанфарон! А что, если так и не найду?

И все же ближе к полночи рабочий мой кабинет, где все вверх дном было, как при хорошеньком обыске перевернуто, огласился торжествующим ором.

— Немедленно включи уют и разгладь этот лист! — сказал я возникшей в дверях и готовой за сердце схватиться жене.

Не знаю, заметила ли она, но в голосе моём, само собою, слышались отголоски шторма и звучала сталь флотских приказов...

Когда самолёт Главкома приземлился на военном аэродроме возле Анапы, там уже стоял готовый взмыть вертолёт с работающими винтами: донесения высшего командования черноморцев Владимир Иванович выслушивал уже в воздухе. Но вот, наконец, разомкнулся кружок из голов, склоненных над столиком в салоне вертолёта, видна стала разноцветная карта туапсинского побережья с бухтой Агой, где готовился к походу отряд «больших десантных кораблей» — БДК.

Понял: настала моя минута.

Привстал и положил перед адмиралом листок: и красная звездочка Минобороны СССР в левом углу на синем бланке Главного штаба ВМФ, и фамилии высоких чинов, и подписи в размахе, и — дата: 15 августа 1968 года.

Хмурясь, Главком долго вглядывался в бланк. Развел руками, заодно протягивая мой раритет командующему Черноморским флотом Комоедову:

— Где мы с тобой тогда были, слушай?

И Владимир Петрович качнул головой:

— Да-а, скажу вам...

Тут уже металл в голосе послышался и действительно. Когда, скрывая нахлынувшую было лирику, Главком приказал, произнося слова медленно и четко:

— Взять... на головной... корабль. Обеспечить... каютой!

Через две недели, когда мы вернулись из Салоник, и наш БДК «Азов» первым подошел к берегу и опустил грузовые сходни, чтобы принять вторую партию десантников-миротворцев, таможенники долго не хотели меня выпускать.

— Ни в одном из списков вас нет — на каком основании находились на борту?! — допытывался моложавый капитан-пограничник. — Можете объяснить, откуда взялись?

— Из прошлого, — сказал я, наконец, доставая свой магический бланк.

Протянул пограничнику, и тот, всмотревшись, усмехнулся:

— Ин-ти-рес-нинь-кая дела! Выходит: храните старые бумаги — вам они могут пригодиться?

— Выходит, да!

Так я и назвал потом свой репортаж из Салоник: «Храните старые бумаги.» Не дельный ли, и правда, совет?

Но это было уже потом, после возвращения из морского похода, а в тот день, когда моторный шлюп, подпрыгивая на волнах, только что притаранил меня к «Азову», и мне пришлось долго выбирать момент, чтобы перескочить на трап и принять потом два своих сумаря с книгами для раздачи десанникам и со своими шмотенками, — в тот день первым, кого я, поднявшись, увидел на борту, был бородатый священник в черной, из легкого полупрозрачного шелка рясе.

Я шлепнул свои сумари на разогретый солнцем металлический пол, сложил одна на одну ладони:

— Благословите, батюшка!

Он широко перекрестил меня, спросил строго и чуть насмешливо:

— Никак — верующий?

— Стараюсь, батюшка, — отвечивал я как можно смиренней. — Стараюсь воцерковиться...

— Ну-ну, — как будто разрешил он заниматься этим и дальше. — А «Верую» знаешь наизусть?

— Вроде бы....

— Вроде бы или — и точно, знаешь?

— Знаю.

— Читай! — приказал он.

— Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, — начал я медленно, чтобы не сбиться: и в самом деле, с вертолета — на корабль, на корабле — тут же на молебен!..

— Молодец! — одобрил он, когда я закончил. — Иконки при себе имеются?

Взялся расстёгивать нагрудный карман рубахи, достал дорожную, в тисненном кожаном окладе иконку, подаренную мне Мишей Кантемировым: в овале, формой и размером с конскую подкову — цветной, в сиянии Георгий Победоносец, поражающий копием лежащего под ногами солового коня темносинего, с опавшими крыльями змия.

— Освящена? — деловито осведомился священник.

— Да, батюшка, а как же...

— Имей при себе, когда помогать мне будешь, — сказал он как о деле решенном. — Повесим над моей, когда крестить стану... И морячков, и миротворцев... много некрещенных. А захотят. Вот и будешь пономарить... справишься?

— Постараюсь, батюшка, — пообещал я не очень уверенно. — А как мне вас... как вас звать?

— Тёзки мы со святым на твоей иконке, с Победоносцем, — сказал он, отчего-то повеселев. — Отец Георгий я, видишь!

Но видел я тогда, по правде сказать, совсем мало...

Каюту мне дали в удобнейшем месте на носу. Слева от моей была капитанская, где со всем — понищенским-то временам нашим — возможным комфортом расположился контр-адмирал Владимир Львович Васюков, командир похода кораблей, а слева — выходит, штурманская: в обстановке куда более спартанской — привычка, как я понял потом, старого «подводного волка» — поселился Главный штурман Военно-Морского флота контр-адмирал Евгений Геннадиевич Бабинов, родня того самого Бабинова, ну да, да, родня — что делать, если защитников Отечества с морским кортиком знаем куда меньше, чем защитников с хоккейною клюшкой?

За обеденный столик в кают-компаниии нас с батюшкой посадили вместе с двумя этими высшими на борту начальниками, и в первый же вечер спросил Васюкова: мол, чем я могу отблагодарить за прекрасную каюту и за эти великолепные макаронны по-флотски?.. Должником оставаться не привык: как отработать?

— Сможете, — ответил Владимир Львович с улыбкою не очень веселой. — И я вам буду весьма признателен. Очень у многих из моряков, особенно первогодков, прямо-таки бросается в глаза такая беда: дефицит общения. Много замкнутых или ушедших в себя: и бирюки, простите, и нелюдимы. Какой из него матрос?.. Пожалуй, не открою вам тайны: кто идёт нынче в армию да во флот? Те, за кого побеспокоиться было некому: остальные пристроены. Платные учебные заведения. Отсрочки по состоянию здоровья... хотя самая неблагополучная категория в этом смысле — как раз у нас. В армии. И во флоте. Скольких мы вынуждены в госпиталях сначала до нормального веса докармливать!..

— А нам с тобой окормлять предстоит, — наставительно изрек отец Георгий. — Так что засучивай, Гурий, рукава, и — в народ!

Не тем ли занимался всю жизнь на добровольных, как говорится, началах?.. На волонтерских.

А тут вон как по-барски поселили, и дружелюбный помощник кока, стюард с улыбкой предлагает ещё стакан компота из сухофруктов... в народ, Гурий, — в народ!..

С кем я потом и где только не выстаивал часами за непростою беседой: лишь бы слышать было друг дружку под порывами ветра наверху или при машинном грохоте внутри нашего «десантника». Постепенно одного и другого разговорив, сколько рвущих сердце историй пришлось потом выслушать: о безотцовщине и спившихся матерях, о голодающих дома в деревне младших сестренках и старших братьях в тюрьме... милые вы мои, милые!

Как тут опять не вспомнить Лескова: «И даны мне были слёзы обильные... Всё я о родине плакал.»

Но вот и контрактники, записные здоровяки, а то и «качки» постепенно перестали таиться... у них ли всё хорошо, идущих за море, в Сербию часто не по братскому долгу, больше — за «длинным долларом». Помните, как мы когда-то стыдили на миру, как осуждали и корили «длинным рублём» жадных до настоящего дела и не терпящих несправедливой оплаты работяг... как предали их потом, оставив со сраным, от рыжего Толика ваучером в дырявом кармане?!

А командиры «Азова», эта бедующая теперь в чужом Крыму русская голь?.. А прошедшие «Крым и Рим» и оставшиеся теперь ни с чем дядьки-старшины?

Ульем гудел и «офицерский клуб», который в свободный час собирался где-нибудь поближе к носу в теньке: чтоб хорошо было видать и разваленные, отлетающие назад синие волны, и ныряющих в них под борт, чтобы под днищем проскользнуть и появиться уже с другого бока, черных, с белым брюхом дельфинов, и утреннее либо вечернее алое солнце, расплющенное о морскую гладь на зеленоватом горизонте... Тут были и штабисты-черноморцы, и определенные на «Азов» дублерами капитаны кораблей, оставшихся на севастопольском рейде, и бывшие судовые врачи с грозных когда-то, просторы мирового океана бороздивших крейсеров-великанов, томившиеся теперь однообразием службы на берегу, в госпитале, и старшие офицеры Главного штаба ВМФ — тоже счастливики, потому что дальних походов ни на одном из флотов давно уже не было... Изнывавшие ещё недавно от скуки в далеких экзотических странах, теперь они как мальчишки радовались пустынному виду паханого-перепаханного ещё недавно Черного моря, среди старинных названий которого не зря имелось когда-то и название Русского.

Нынче не только территориальные воды — вся прилегающая акватория нейтральных ну, как вымерла... Единственный чуть не за всю дорогу до Босфора далекий силуэт корабля на горизонте вызвал горькую усмешку:

— Турок-спиртовоз. Прёт в Батуми. Оттуда спирт в Грузию, контрабандой в Осетию, а там по всей России — уже сивухой...

Когда начались облеты нашего каравана чужими самолётами, все оживились:

— Старые знакомые: небось узнают...

- Сейчас качнет тебе крыльями, ага.
- Турки?
- Америкосы.
- Откуда тут?
- С базы какой-нибудь...
- Далеко!
- У них горючки залейся — сто верст не круг.
- Поход, говорят, раньше должен был... Когда они только намечали Югославию бомбить. Тогда бы через наши головы не посмели... И миротворцев посылать теперь не пришлось бы.
- А почему отменили?
- Официально — из-за топлива... Теперь еле наскребли.
- Фигня это, ребята.
- Само собой: полная. Просто алкаш наш не захотел тогда вмешиваться.
- Продали мы тогда сербов.
- С потрохами.
- Теперь бы хоть мальчики успели в Приштину во-время!
- А слышали, греки америкосов не хотели в Косово пропускать? Заблокировали дороги...
- А наших, говорят, ждут?..
- Там понимают. В Греции.
- А наши стратеги...
- Это ты им слишком большой комплимент: наши.
- Вон-вон! Разворачивается, сейчас опять зайдёт...

Но не только тут отводили душу.

Когда в капитанском своём люксе Владимир Львович устроил адмиральский приём для нас троих, соседей по столику, речь шла — хоть в более сдержанных тонах — почти о том же: может быть, это наша всеобщая беда нынче — дефицит братского общения?

Не его ли и мы с тобой, дорогой мой читатель, взаимно пытаемся сейчас, спасибо тебе, восполнить?

Был июль, стояла жара, небо к полудню начинало выцветать, но тут и наступала пора, когда командиры выкраивали часок-другой, чтобы освободить матросиков от вахты мирской: дабы заступили на вахту духовную...

Когда на «Азове» крестили первых, заметил, как ребята стараются не наступать на полную ступню босыми ногами: стальной пол дышал жаром. По настоянию батюшки дядьки-мичманы тут же велели обдать его забортной водой, но высыхала она как на кухонной конфорке стремительно и чуть не с шипеньем — пришлось искать деревянные решетки, класть под ноги.

Над большою иконой Николая Чудотворца, подвешенной в каком-нибудь бронированном уголке корабля, батюшка определял и дорожную мою, в кожаной оправке — святого Георгия, рядом с купелью ставили и покрывали куском желтого бархата столик, из крестильного ящичка я выкладывал рядом с Евангелием большой крест, пузырек с миром, кисточку, свечки, ножницы и полтора-два десятка маленьких крестиков уже со шнурками. Не таким простым делом оказалось вдруг для меня раздуть кадило, и я насмешничал над собой, вспоминая московских своих землячков, ловких мальчишек-прислужников из церкви Николая Чудотворца в Старом Ваганькове, уверенно помогавших нашему отцу Виктору... до меня и сейчас, когда пишу это, вдруг донесся печалью и страданием пронзающий душу батюшкин голос: отец Виктор дружил с Игорем Тальковым, светлая ему, незабвенному, память, они любили петь вместе, и, когда погиб Игорь, в голосе у батюшки, какой бы из псалмов он ни пел, всегда звучал теперь и надрывный плач по ушедшему соратнику, который ещё вернется, вернётся к нам в сиянии славы...

— Отрекаешься ли от сатаны, и от всех дел его, и от всякого служения ему, и от всякой гордыни его?! — намеренно строго вопрошал отец Георгий.

Худосочные, телом напоминающие картофельные ростки в темном подвале по весне матросики, которых из-за впалой груди и торчащих как неоперенные крылья лопаток звали «птенчиками», шептали тихинько:

— Отрицаюсь...

Какая, и правда что, рвущая сердце разница была меж ними и стоявшими теперь бок о бок десантниками, заботившимися о поддержании формы, кормилицы своей нынешней, здоровущими «контрактниками»!

— Сочетаешься ли Христу? — громко вопрошал отвернувший их всех от «сатанинского» запада лицом к Господу, на восток отец Георгий.

И у десантников звучало как немедленный отзыв на приказ:

— Сочетаюсь!

Громко, в унисон батюшке я прочитывал «Верую...», он раздавал в это время зажженные свечки, из-за порывов ветра они вдруг гасли в руках, и тогда наши «крещаемые» явно оживлялись и начинали делиться огоньком... Господи! — кричало все во мне. — Если бы они и дальше точно также выручали друг дружку!..

Я далеко не реформатор, нет, но, но в те часы, недостойный, думал иногда, да простится мне, с болью: может быть, уже давненько бы стоило ввести в таинство крещения слова о братской взаимной помощи, о национальной солидарности среди русских — ведь пропадаем, пропадаем без неё... так и — пропадем. Ни за понюх табаку. Ни за грош!

Опять трепетало свечное пламя, и я вдруг вспоминал Владикавказ, закрытую тогда ещё церковь на

Осетинской горке: служба шла рядом с ней на открытом воздухе, иконы висели на длинных, прикрепленных к веткам пышных туй полотенцах, и также подрагивали под ветерком огоньки над широкими кругами бронзовых, на высоких ножках чаш с песком, куда втыкали зажженные свечи... С Игорем Икоевым, режиссером, с которыми неподалеку, на телестудии монтировали снятые в наших закубанских краях кадры древних аланских городищ и погибающих, будто спешащих им вслед, предгорных казачьих станиц, мы договаривались так, чтобы я успевал к началу службы, где прихожан сперва было немного, но все прибавлялось и прибавлялось — мне казалось таким это важным, поддержать осетин, вымаливающих возвращения церкви... Как меня радовала их настойчивость, как завидовал их сплоченности, которой так всегда не хватало русакам... может, Мухтарбек этой иконкой Георгия Победоносца, висевшей на корабле над образом Николая Чудотворца, не сознавая сам того, отдался? А, может, это знак святого Георгия нам всем: в трудное время быть вместе?

— Печать дара Духа Святого! — произносил теперь священник значительно. — Аминь.

— Аминь! — произносили еле слышно «крещаемые».

Кисточкой с миром оставлял еле видимые крестики на лбу у них, на ушах, на груди и на руках, наклонялся поставить крестики на ноги, а следом я крошечной губкою их тут же стирал... Невольно как бы обследовал глазами каждого: стреха слегка отросшего «ежика» над вытянутым как скворечник лицом, тонкая шея и куриная грудь, худющие, с грубыми пятернями руки и под закатанными штанами ноги — одни мослы с растоптанными, не видевшими обуви по размеру ступнями, привыкшими к доставшимся от деда безразмерным «опоркам» от сапог либо к материнским галошам. Цыпки, трещины, отросшие ногти, под которыми залёг невыведенный пока чернозем погибающих от водки и конопли русских деревень...

Подбирал губкой еле видные полосы мира, оставленные священником на стопе — будто кланялся в ноги и выростившим ребят в холоде-голоде матерям-одиночкам, и самим этим мальчикам, о которых родина только тогда и вспомнила, когда настала пора идти в армию... кланялся им: за нас всех.

В очередной раз поднялся, омочил губку и выжал, потянулся к лицу длиннющего тонкошеего парня с большими глазищами и увидел вдруг счастливую улыбку... Губы у матроса радостно подрагивали, рот широко открылся — видны стали голые, как у младенца-грудничка пустые десны... я вспомнил!

Как стоял у лееров среди офицеров-врачей, и полковник Калинин, начальник морского госпиталя в Севастополе, говорил, печально посмеиваясь:

— Не верите?... А вы спросите у моего тезки, у Шепелева — это по его части, — и обернулся к коллеге, майору-стоматологу. — Подтверди, Саша, писателю. Или — опровергни...

— Что ж тут опровергать, если он с нами на борту? — вздохнул Шепелев. — В девятнадцать — ни единого зуба. Выпали все. Голод, полный авитаминоз и как следствие — цинга... А парень, скажу вам, — золото. Из безотказных. Говорю зубному технику: сделай, как родному сыну — будь другом. Как самому себе. Он там с этими челюстями для матросика завозился, а тут — поход за три моря, что там ни говори, и «птенчик» у меня просится: ну, можно? Так хочется дальние страны посмотреть... для этих-то морячков — и Турция да Греция теперь: дальние... А с голоду не помрёшь, спрашиваю? Да ну! — он говорит. — Уж если дома тогда не помер...

И снова вспомнил своё общение с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, со знаменитым конструктором, на работу с которым подвигнули ободравшие меня потом как липку «черные полковники» из «Росвооружения»: столько военной техники распродавшего за бесценок «Росвора». Если бы они с такою же страстью объегоривали миллионеров из Арабских Эмиратов и деньги отдавали в казну! Может быть, наши морячки, почти дети, выглядели бы не так жалко... Может, сами они не лоснились бы бесстыдным жирком, а переползавшие через поясные ремни животики не напоминали бы прущую через край дежки опару... господ офицеры, эх!.. Чуть не каждый из них потихоньку и как бы мимоходом сообщал о себе, что он, ну, само собою, — полковник ГРУ, так что в конце концов, я прямо-таки не мог не подумать о существовании ещё одной организации — самой

многочисленной, самой мощной и самой беспощадной нынче в России, в которую столько высших офицеров и генералов независимо от должности своей вцепились нынче зубами: ЖРУ.

Какою оживленной сделалась морская дорога на подходе к турецким берегам, уже к Босфору!

Сердце возрадовалось было писаным по-латыни русским названиям на бортах, но пыл мой тут же остудили стоявшие рядом опытные морские «волки»:

— Вы на порт приписки глядите: во-он, буквами помельче...

Кому только теперь не принадлежали наши суда! Кто их только не арендовал! Вместе с командой.

Не очень весело махали нам в ответ нынешние невольники, проходившие мимо кораблей доблестного некогда Военно-Морского флота на судах, выходит нынче, тех стран, о которых раньше и слухом было не слыхано... Шли они все по правому борту, ложась на курс до Румынии, до Болгарии, до незалежной Украины, наконец, — только не домой, нет...

Но вот и пролив, вот они — ворота русской славы и русской трагедии... Может, здесь как раз и рождался державный смысл двуглавого орла на русском гербе?.. Когда ещё князья наши, стоя на носу идущих к Царь-граду ладей с дружинниками, строго поглядывали на берег слева и справа; когда столетия спустя по водному разделу меж Азией и Европой спешили к местам морских сражений покрывшие себя неувядаемой славой русские адмиралы?..

Какое оживление царило в проливе, сколько наших судов торопились навстречу нам!

И снова все — под чужими флагами.

Рудовоз «Знамя Октября», порт приписки Анталия.

Танкер «Магнитка», порт приписки Пномпень...

А по бокам от нас проплывал двуединый, спаянный историей — жестокой учительницей — древний город-легенда с минаретами между вековыми домами-крепостями и ажуром современных «высоток», с пестрыми коврами на балконах домов по обе стороны, с кофейнями на близких берегах — там и тут: Истанбул-Константинополь. Стамбул.

— И правда, сказка, — и правда! — невольно вздохнул я, как бы сам себе отвечая в этом непрерывном внутреннем диалоге, то поднимающем душу к небесам, то опускающем её на грешную землю.

— И знаете, кто её сделал былью? — с горькой усмешкой спросил Евгений Геннадьевич, Главный штурман, с которым успели мы подружиться и часто теперь бывали вместе. — Это мы с вами, да-да, не удивляйтесь: ещё недавно по мировым меркам, скажу я вам, довольно скверный был городишко. А расцвел теперь благодаря нашим челнокам — верней, «челночихам», которым мы с вами переплачиваем за гнилой турецкий текстиль.

Им бы детей рожать!

Таких же выносливых, как сами. Таких же бедовых и бесстрашных.

Но и они теперь — как в плену.

Раньше отбирали у нас красавиц-девчат кривою турецкой саблей, а отнимали их и возвращали домой острой казацкой шашкой. Но прошли времена булата, прошли. Злато нынче диктует законы чуть ли не всему белому свету...

И нам теперь с вами тоже. И — нам!

Навсегда уже?

Я всё поглядывал на батюшку, который уединился на носу: как одинокие в грозных своих решеньях князя. Как знающие, куда ведут моряков своих адмиралы: недаром ведь говорят, что тем от генералов они и отличаются, что те солдат посылают в бой. Адмиралы матросов своих ведут.

Теплый воздух был почти неподвижен, но черная батюшкина легкая ряса начинала вдруг трепетать как флаг на ветру, и недлинная борода тоже обозначала почти неощутимый порыв.

Его неистощимая энергия не только мне была по душе — появление священника всеми встречалось радостной и дружелюбной улыбкой. Как-то сказал ему об этом, и он откликнулся живо:

— Это в других храмах и в других городах могут позволить себе лениться. Мне расслабляться нельзя. Я — в нашем Севастополе.

— Приходится туго, батюшка?

В голосе у него послышалась доверительная нотка:

— Настолько... иногда. Что братию приходится звать...

— Братию?

— Владующую и ай-кидо...

— И?..

— И русской рукопашной, конечно.

— Рукопашной?

— Да, — ответил он с убежденностью, которая так влекла к нему. — Господь посылает мне верующих, крепких не только духом.

Почти на выходе из пролива бросился к нам, стоящим от него чуть поодаль, вытянул руку к правому берегу:

- Святая София, перекреститесь на неё! Крестились, глядели молча на проплывающие вдали очертания древнего храма, знакомые, казалось, не только по рисункам в старых книгах и фотографиям в новеньких путеводителях — ещё и по току в себе русской крови... Обширный купол с православным крестом и минареты по всем четырем углам...

А батюшка, перекрестившись ещё раз истово, воздел руки:

— Жди нас, Святая София, жди — мы ещё непременно вернёмся!

Как-то очень знакомо щипнуло глаза.

Вспомнил эту горькую песню, которую на рыдающем разрыве гармошки пели после победы просившие Христа ради инвалиды — «завей горе веревочкой»?

А немцы ж дошли до Ростова...

Идуть и конца не видать!

А русский мужик — из окопа с винтовкой:

«Попались, туды...»

Прости, Господи!..

Но — ведь попались же. Ещё как!

Правда, куда раньше нас от самой страшной войны оправились: нас никак она до сих пор не отпустит.

— Жди нас, София! — снова грозно прокричал севастопольский батюшка. — Жди!

Такая непреклонная вера слышалась в его искреннем голосе, что и на меня, никогда об этом дотоле не размышлявшего, словно просветление нашло: да ведь, и в самом деле, — предсказано ещё Иоанном Богословом! Не раз подтверждено другими пророками... Но, столько всякой чепухи помним словно таблицу умножения, а это главное знание, держим, выходит, на дальних задворках памяти?

Считается, «попущением Божиим» Константинополь с древней Софиєю отдан был туркам за грехи наши... Но с тех пор они только умножились. За что же возвращён будет?.. За бесконечное наше долготерпение и за страдания, которых никто не принял столько за историю свою, как Россия — за последнюю сотню лет? Или — по молитвам праведников, о которых знаем бесстыдно мало? Деланием тех, кто в отличие от самих нас не ведаёт сомнений, не знает устали?..

Но существует такая книжица, изданная в Москве в 1878 году: «Славная история Царьграда с пророчествами и предсказаниями прозорливых мужей и мудрецов о будущем бытии его». С давних пор очень хорошо известная туркам — существует!

Проходили уже Дарданеллы, когда на боковой мостик, где у приборов стояли наблюдатели да те вроде меня, кто их добротой — чтобы на чужие берега через мощные окуляры взглянуть — пользовались, вышел из капитанской рубки Владимир Львович Васюков, командир похода. Тронул меня за локоть, спросил дружески:

— Не прозеваете? Хотя бы обернуться в ту сторону. Километрах в тридцати от берега — то, что нынче осталось от древней Трои. Та самая воспетая Гомером Малая Азия.

На нем была синяя рубаха из хлопка с распахнутым воротом, буднично смотрелись на ней желтые, с черной звездочкой адмиральские погоны, да и тон у него был достаточно деловой, а на меня опять нахлынуло праздничное ощущение необычного: когда снова вдруг очень остро осознаёшь, что нету отдельно ни прошлого, ни настоящего, ни будущего — всё существует вместе, одно в другом, и лучший образ этого триединства, и в самом деле, — зерно, хранящее в себе все состояния сразу... но разве не подобны мы в этом смысле зерну?

Разве они не живут во мне — скифы, арии, этруски, славяне? Стародавние герои Трои и почти уже нынешние, ставшие только родней с течением времени «белые» офицеры гражданской войны, с надеждою и с тоской глядящие теперь с галиполийского берега на наш проходящий мимо «Азов»?.. Или земляки мои, кубанские казаки, чьи могилы зарастают травой на острове Лемнос — уже не справа, а слева по курсу?

Наши морские волки не опускались до этого: до трюмных туалетов для рядового состава, где забортная вода будто под собственным напором лупила из душа. Я сбегал туда по нескольку раз на дню, чтобы хоть так ощутить на себе струи сначала Черного моря, после — Мраморного, потом — Эгейского... Не для того, чтобы осталась память на будущее, нет, — мне всё казалось, что эта солёная, имеющая тот же состав, что и кровь человеческая, вода прямо-таки оживляет во мне память о прошлом...

Что вспомнить благодаря ей смогу? Что, выходит, предугадать?

Мысленно возвращался к долгим нашим беседам с «казачьим» художником Сергеем Александровичем Гавриляченко, другом Сережей, проректором Суриковского института, который каждый год непременно устраивал для студентов концерт «Казачьего круга» со своими комментариями к историческим песням и былинам: всякий раз это и впрямь было путешествие в глубокую глубь... Может быть, как раз общение с учениками всё добавляло ему и строгой академичности, и душевной широты — как мальчишка заслушивался размышлениями его на излюбленную тему: античная драма русской истории. И дал Бог — привел Уастырджи: это ли вокруг не красочные декорации драмы, продолжающейся и ныне в масштабе, и действительно, планетарном?

С отцом Георгием мы стояли у борта, когда справа вдалеке потянулась над зеленоватой гладью тоненькая полоска Афонского полуострова и еле заметно, словно больше — в воображении, начали проступать в глубине очертания Святой Горы. Переполненный смутным ощущением тайны, которую только предстояло мне, коли даст Бог, открыть, я стал рассказывать ему доверчиво, как мальчишка, и пылко:

— Месяца за два или три перед этим походом, батюшка, я приобрел большой образ святого Пантелеймона и с благословения своего старого товарища, священника и духовного писателя Ярослава Шипова повесил его на кухне... вернее, скажем, — в столовой. Где, как не там, чаще всего на дню и приходится обращаться к иконам...

— Перед вкушением, — отозвался отец Георгий, давая мне понять, что, несмотря на всю торжественность момента, он меня слушает.

— Начиная с чайка утреннего, ну да... И я, конечно же, постоянно молился на образ Целителя, хотя ни о чем специально не просил, но вот теперь мы идём мимо Афона, мимо самого славного русского монастыря — Пантелеимоновского... Это что же, батюшка, — как бы какой мне знак?

— Для начала и мимо, но вблизи пройти... что ж, — задумчиво сказал отец Георгий, как бы чего-то не договаривая.

Вечером в кают-компании за столом он как бы между прочим спросил меня:

— Обратю из Салоник тебе надо непременно в Туапсе — на «Азове»?

— Само собой! — воскликнул я горячо: ведь постоянно как бы держал в уме разницу между удивительным житием своим на борту и скучным редакционным житьём. — Никто не верил, что я пойду, считали, что вместе с Главкомом на самолете — в Туапсе и обратно. А теперь надо будет срочно отписываться.... тут же!

— А если пересесть со мной на «Цезаря Куникова» и — в Севастополь? — как будто искушал меня батюшка. — Этот «десантник» один из всех должен туда вернуться сразу: в параде будет участвовать. Поглядишь парад, а там...

— Нет-нет! — восклицал я простодушно. — Евгений Геннадьич говорит, что штабного самолёта в Москву может не быть и неделю, и десять дней, а у меня с собой — ни гроша!

— А как же птицы небесные? — спрашивал батюшка уже чуть насмешливо. И переменял тон. — «Не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их...»

Но я, видать, прислушивался тогда лишь к первой части обращенного ко мне батюшкина вопрос — уверенно отвечал:

— Н-ну, — птицы!

Что меня, и правда, побудило остаться тогда на гостеприимном «Азове»? И в самом деле, — мой долг перед журналом? Или желание заскочить в Краснодар и хоть на денёчек-два задержаться на родной кубанской земельке: пока попрошу у братика денежку, пока он, нарочно не торопясь, раскачается

купить мне билет на самолёт до Москвы?

В Салониках, ещё на борту «Азова» батюшка на прощанье щедро одарил меня крестиками для нас с женой, для детей и для внуков, а на берегу о чем-то поговорил со встречавшими его греками, и один из них преподнёс мне коробку с великолепным кофейным набором: темной сини посуда с яркожелтым античным орнаментом.

Сколько потом об этих дарах я размышлял!

Ещё в Салониках нас захватил мощный циклон, но до выхода из Босфора щадил, зато уже в Черном море кораблики наши попали в жестокий шторм. После ночи тяжелой маеты меня всё-таки хватило на то, чтобы добраться до кают-компания к завтраку. Свисавшие до этого по всем четырем сторонам стола узенькие деревянные бортики теперь были подняты. Мелкие тарелки и железные миски пытались ускользнуть из-под рук и бесстрашно удариться друг о дружку на середине или вывалить содержимое у бортика, и меня ещё хватило на то, чтобы мрачно пошутить: мол, может, сделать самому это — сразу?

— Не думайте, юнга, что шторм достаёт лишь новичков, — улыбнулся Главный штурман: намекал, что я и теперь — мореман. Ещё по дороге в Салоники посветили нас с батюшкой в моряки, посветили: заставили выпить по стакану морской воды, вручили каждому тельняшку с черной пилоткой, а вечером Евгений Геннадьевич постучал ко мне в каюту, полушутливо приказал стать «смирно» и протянул толстую книжицу небольшого формата: «Устав корабельной службы» с дарственной надписью. — До рубки доберетесь? Или помочь? У начальника походного штаба есть одно любопытное сообщение, пока о нем немногие знают... ждёт вас!

Капитан первого ранга Василий Павлович Синицын протянул мне вынутый из телеграфного аппарата листок донесения Главкому ВМФ Куроедову:

«Докладываю: По согласованию с греческими властями 15.07.99 г. впервые за последние 90 лет военный корабль (БДК „Ц. Куников“) Российского Флота подошел к Свято-Пантелеимонову монастырю на Святой Горе Афон. Монахами монастыря Максимом и Сидором были доставлены на борт БДК частицы святых мощей апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, святого Иоанна Русского.

В ожидании монахов у монастыря протоиереем Георгием был отслужен молебен о здравии экипажа, после чего личный состав корабля приложился к святым мощам и получил благословение. Членам экипажа были вручены иконки с печатью Святой Горы.

В монастырь святого Пантелеимона были переданы списки миротворцев-десантников, убивших в Косово на кораблях бригады, а также высшего состава Флота во главе с Министром обороны Сергеевым.

Командир 30-ой бригады надводных кораблей

Черноморского флота контр-адмирал Васюков.»

Только выпрошенный у Василия Павловича Синицына этот листок и остался мне на память о благодатной возможности, которую я так бездарно тогда упустил...

Или которой я лишен был?

Не отцом Георгием, разумеется: он лишь вслушивался в то, что хотел услышать вместо меня... или — обо мне?..

Может, если бы я горячо и осознанно попросил, Тот, Кто решает, был бы щедрей ко мне и в конце концов смилостивился?..

Задним числом стал теперь потихоньку доходить до меня смысл слов, сказанных Главкомом уже на борту «Азова»... Только что вручил миротворцам Андреевский флаг: пусть и он развеивается над сухопутною Приштиной!.. Только закончил напутственную речь, обращенную ко всем, кто уходил в поход... Старшие офицеры уже прощались с Владимиром Ивановичем у трапа, ведущего на адмиральский катер, ожидавший его борт о борт с «Азовом». Приложив ладонь к сердцу, я только издали коротко поклонился, но он сделал знак подойти и, придерживая руку, проговорил чуть загадочно:

— Обратите внимание на миссию отца Георгия, который идёт с вами...

— Конечно! — горячо пообещал я. — Непременно.

Мне-то потом казалось, что крещение и было главным в миссии севастопольского батюшки...

А они и впрямь соединяли времена: Главком и священник.

Но ко многому ещё, видать, была не готова душа моя...

Или сказать о себе пожестче, а, скорее всего, — гораздо честней?

7

Коллеги мои, братья-писатели, — особенно, кто моложе — иногда говорят: ну, почему бы вам, Г.Л., хоть иногда не отрываться от факта, как бы интересен он не был... Не подниматься над жизненными реалиями и документами... Учитесь, мол, со всем этим играть — побольше фантазии!

Поздно, милые мои, учиться этому, поздно!

Как гусару, которому красоток не завлекать — от них отбиться бы, так и мне: разгадать бы, наконец, то еле уловимые, а то и явные знаки судьбы, которых в моей жизни было достаточно, открыть бы их сокровенный смысл...

Правда-правда: хорошо-то подсолнушку!

Куда светило наше, туда головкой своей — и он: славно!

А нам, случается, в спину бьет несказанный свет, а мы, отвернувшись, стои-им себе пеньком бесчувственным, эх!

Только вчера посеяли, а сегодня уже пытаемся плоды пожинать. Иконку великомученика Пантелеимона приобрел, видите ли, на стенку повесил, и уже через месяц — на борту корабля, который идёт в виду Святой Горы: рукою подать — вот, вот она!.. Недаром ведь один из самых любимых нынче нами, скороспелыми новообращенными, образов — тоже афонский: икона Божией Матери «Скоропослушница»... в век скоростей живем, нам помощь срочно нужна — ещё вчера!

Но ведь бумага-то моя с разрешением посетить наши корабли в Средиземном море почти три десятка лет, выходит, ждала своего часа.

До Средиземного, правда, мы не дошли... мало лежала?

Всякая дельная, говаривали раньше, бумага должна до желтизны вылежаться...

А наше дело известное: терпи, молись, работай.

И — жди.

Когда вручал мне Мухтарбек дорожную кожаную иконку, в мягкой своей манере наставлял дружелюбно:

— Помни всегда, что это наш с тобой покровитель — святой Георгий: мужчин. Путников. А когда придется, и воинов. И шутку осетинскую не забывай: Уастырджи недаром у нас — министр путей сообщения. Куда попросишь, довезет. Откуда необходимо будет, — вывезет. Только обращай к нему: проси!

Отчего же, и правда, не попросил?

Яркий овальный образок висел над иконою Николая Чудотворца отца Георгия, освящая таинство крещения на борту нашего «Азова»: как я этим гордился!

Но дальше гордыни этой размышления мои не простирались... для горнего поиска душа мертва была.

Почему лишь теперь, когда взялся за этот рассказ, вспомнил о ходатаях своих на небесах, о давно ушедших заботниках и печальниках?.. В поминальничке моем один Георгий записан в части «О здравии»: младший сын. И два в раздельчике «О упокоении»: ни за что, ни про что десять лет отбухавший в магаданских лагерях родной дядя, Георгий Миронович, страдалец, и сын его, которому биография отца жизнь испортила, мой двоюродный брат, мой товарищ и рано ушедший сверстник.

А покойный друг детства и соратник всей жизни Георгий Черчесов, осетинский писатель, породнивший меня со своею древней Аланией?..

На аллее Героев во Владикавказе теперь их могилы рядом: его и легендарного джигита Ирбека Кантемирова, тоже принявшего после святого крещения на склоне лет это дорогое всякому кавказскому сердцу, а осетинскому — тем более, имя: Георгий.

Может, эти мои размышления — заодно венки всем Георгиям?

Победоносцу прежде всего, великомученику:

«При усилении гонения на христиан св. Георгий раздал свое наследство нищим и, придя в сенат, исповедовал себя христианином, обличил лживость языческих богов и призвал всех признать истинную веру во Христа. „Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об истине.“ „Что есть истина?“ — повторил вопрос Пилата один из сановников. „Истина есть Сам Христос, гонимый вами“, — отвечал святой. Изумившись дерзновению любимого воина, император Диоклетиан просил не губить его своей молодости, славы и чести и отречься от Христа. После отказа его заключили в темницу, где забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На другой день на допросе, обессиленный, но твердый духом, св. Георгий вновь отвечал императору: „Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою“. Тогда Диоклетиан повелел подвергнуть мученика самым изощренным пыткам. Его сажали в ров, засыпав негашеной известью, надевали раскаленные железные сапоги, били воловьими жилами так, что тело и кровь смешались с землей, травили чародейственными травами, но святой остался невредим. Мало того, перенося тяжелые мучения, св. Георгий творил чудеса и исцеления... Великомученика укреплял Сам Господь, являясь ему в сонном видении.»

Как до сияющей под первыми лучами белоснежной макушки двуглавого Эльбруса?

Нам — до него.

Из темной, наполненными животными запахами долины...

И это — венок святому, но не только ему, но и всем носившим его имя ушедшим: и праведникам, и грешникам, и тем, в ком, как во всяком из нас, непростая жизнь наша грешное с праведным смешала... И это — заздравная всем живущим, имена которых напоминают нам о горних высотах.

Ну, что это за знак был мне тогда на этой бензозаправочной станции, где столько лет выглядывала меня терпеливая Вера Георгиевна?..

Мы с женой как раз решали в ту пору, и как нам жить дальше, и — где жить... Может, это сама родная земелька, сама Кубань-матушка в образе Веры Георгиевны, свято чтущей память отца, звала нас, блудных детей своих, наконец, вернуться домой, в Отрадную?

Мы не вняли.

И попрежнему ты в дороге. И за тридевять земель от родного порога, с которого в ясную погоду хорошо видать макушку Эльбруса, на холодной скамейке сибирского аэропорта, в Кемерово, разворачиваешь как бы случайно взятый в дорогу ежемесячник «Спецназ»... И в глаза бросается крупно набранный заголовок: «КУБАНЬ ОЖИДАЕТ СУДЬБА КОСОВО?»

А ты — здесь, думаешь... Нынче. Завтра — там. Ещё за пять тысяч километров от отчего дома.

Встречаешь врага на дальних подступах?

Но как знать!..

«Мы стоим посреди неизмеримых бездн пространства и времени: там и тут проникают только одне догадки».

Это строчки из книги писателя Ивана Тимофеевича Калашникова, вышедшей в 1847 году в Санкт-Петербурге. Книга называется: «Автомат».

«Автомат» Калашникова, а?! Тоже неслабо.

Написанная ещё в позапрошлом веке высоконравственная и мудрая, с внезапными вспышками прозрения книга о святой любви к родине...

Но не она по всему миру разошлась в миллионах экземпляров и не с нею подмышкой бегут теперь каждый день из гарнизонов своих наши голодные солдатики...

«...одне догадки», воистину!

Эта, последняя, правда, — как бы уже по части другого из самых почитаемых горних насельников: Архангела Михаила, архистратига, предводителя небесных сил бесплотных и покровителя земного воинства...

Но о знаках от него... о том, что неопытным в духовной работе тружеником могло, как знак, быть истолковано — обо всём этом, коли даст Бог, в другой раз.

д. Кобяково, Звенигород

Конец июня — начало августа 2002 г.

ЛИЧНОСТЬ

или

ГОРЫ ОСЕТИИ

В баню мне идти не хотелось, и я канючил: да знаю, мол, эти парилки на юге — по Краснодару, по Майкопу, по Кисловодску! Чем твой родной Владикавказ лучше-то? Только и разговоров, что жар, а будем сидеть-мерзнуть... Другое дело, в Сибири где-нибудь: в твоём любимом Прокопьевске или в моем Новокузнецке. Уж там бы я поработал веничком, там бы я тебя, Ирбек Алибекович, ублажил!

— В Москве за мной Сандуны, — пообещал он. — Записали?.. А тут надо после лошадок пот смыть, тем более, что парилку специально для нас держат: больше не будет никого — понедельник.

Несколько кабин в раздевалке были полуоткрыты, рядом на деревянных лавках лежали вещички, а в мойке, когда мы вошли, двое молодых мужчин старательно массировали распластанного на каменном лежаке третьего. Деловито, но вежливо поздоровались и снова склонились над своей жертвой.

— Кто-нибудь из конников? — спросил я Ирбека.

Он плечами пожал:

— Нет вроде.

Баннх причиндалов — традиционных резиновых «вьетнамок» да рукавиц с шапочкой — не было и у них, в хорошо прогретой парилочке тоже и приплясывали потом на раскаленном кафеле и пытались осторожно примоститься на краешке дощаного полка.

В мягкой своей полушутливой манере Ирбек сказал:

— Это мне что-то напоминает... тебе не кажется?

— Грешников? — спросил я. — В одном не очень прохладном месте...

— Кино твое про петушка!

«Кино про петушка» тогда ещё не успели забыть.

Поставленный студией Довженко по моему рассказу цветной фильм «Красный петух плимутрок» два десятка годков исправно показывали по телевизору и летом, и непременно в дни каникул зимой: как под веселый балалаечный наигрыш накрытого сапеткой, плетеной круглой корзинкой, подпрыгивающего кочета удерживают на горячей сковородке, «учат» под балалайку плясать, и развлекает он потом ребятню, когда балалайку опять услышит, не от большой радости — от страха и ожидания боли...

Рассказ этот больше других нравился Жоре Черчесову, он тоже именно так всегда говорил — «про петушка». В голосе у нашего общего друга я как будто уловил теперь тронувшую сердце печалью жорину интонацию и невольно вздохнул:

— Завтра собираемся с Ольгой и Аланом на кладбище. Навестить Жору.

— Тоже не успел, — сказал Ирбек. — Может, вместе?

И я благодарно откликнулся, назвав его на московский лад:

— А представляешь, Юр? Как Жора вчера бы радовался...

Праздник, и правда, получился на славу: давно я не ощущал такой объединившей всех искренней гордости и такого всеобщего достоинства, которое виделось не только на лицах и прямо-таки читалось в глазах... Мало того, что оно прямо-таки заполняло все пространство под высоким куполом новенького, с иголки, цирка-шапито, где на сером своем любимце Асуане Ирбек Кантемиров принимал поздравления с семидесятилетним юбилеем — принимал как парад... Достоинство это было словно растворено и над всем знаменитым городом, и над всею Осетией... дай нам, Великий Бог, побольше таких праздников, которые отрывают понурый наш взгляд от грешной земли и заставляют с надеждою глядеть в чистое и высокое небо!

Сам я, признаться, испытал на нем двоякое чувство...

Человек дружелюбный и безусловно чтущий кавказский этикет, я бы также радушно встречал дальних гостей, как принимали меня здесь... и все-таки: не настолько же горячо и почтительно!.. Несколько смущенный излишним вниманием, попробовал сказать об этом министру культуры Анатолию Дзантиеву, которого многие именовали дружески Томом: будьте добры — не возносите, мол!

Анатолий рассмеялся:

— Вознесся сам!

Пришлось удивиться:

— То-есть?

— На самолете! — взялся объяснять министр сперва весело, но тут же вздохнул. — В Москву отправили пятнадцать телеграмм с приглашением на юбилей Ирбека Алибековича... И только один гость...

— Что, только я и прилетел?

И Дзантиев ответил горьким вопросом:

— Вы представляете?

Не мог этого представить, и правда, — ну, не мог! Это к Ирбеку-то?! Которого справедливо можно назвать одним из ревнителей дружеской верности, одним из самых строгих хранителей традиций товарищества...

Сказал уже не Анатолию — как будто им всем, не прилетевшим:

— Да вы что, братцы?

— К нам теперь даже ревизоры предпочитают не ехать, — грустно посмеивался молодой министр. — Верим, кричат по телефону, что у вас там все бумаги в порядке, верим!

Что же ты, подумал, Москва?! По сути сама на Северном Кавказе всю эту кашу заварила, а теперь нос показать сюда боишься?

И так стало горько на душе — ну, так горько!

И — стыдно.

Ну, со мной, предположим, — случай, как говорится, особый: для меня Владикавказ давно стал родным. Когда-то после войны на Кубань приезжали отдохнуть и подкормиться жители многих кавказских городов. Нашу Отрадную тогда буквально наводняли бакинцы, было много народу из Тбилиси, из Грозного. Как-то через улицу от нас поселилась семья из тогдашнего Орджоникидзе, и мы подружились с ровесником Лёвой, Львом Невским, да так горячо, что перед отъездом домой родители его пришли к нам и уговорили мать отпустить меня с ними «посмотреть большой город». Мама слыла в станице «цветошницей» и добрячкой: буквально охапки георгин или хризантем из нашего обширного палисадника то отправляла с нами, детьми кому-то на свадьбу, на день рождения, то сама, печалась и охая, несла на чьи-либо похороны... Но ещё она слыла «трусихой» и «квочкой»: как тогда решилась отпустить меня с ними?

И мы с отцом Льва где проехали, а больше прошли по осетинскому отрезку Военно-Грузинской дороги, добрались до Казбеги, поднялись к знаменитому православному храму, который и сейчас будто вижу перед собой... Два дня потом «без задних ног» мы с Левой отсыпались, а после он повел меня в музей, повел в парк, куда я стал сам приходить потом каждый вечер — слушать игравший в деревянной «раковине» большой симфонический оркестр...

Сколько я потом во Владикавказ приезжал уже по делам, на Северо-Кавказскую студию, озвучивать документальные фильмы, снятые режиссером Игорем Икоевым и оператором Валерием Льяновым на Кубани, в моей Отрадной, сколько приезжал в гости к «распределенному» после МГУ на родину Жоре Черчесову!.. В свободные часы с удовольствием бродил по улицам, пропадал в библиотеке и в книжных магазинах, сидел за чашкой кофе в мастерских у великолепных владикавказских живописцев, отправлялся по воскресеньям либо в церковь на Осетинской горке, где служба была ещё на улице, иконы висели на полотенцах меж туями, огоньки свеч трепетали на ветерке, либо в храм во имя Ильи, где начал вдруг собирать материалы о похороненной неподалеку от него Анастасьишке, спасшей, как рассказывают, от немцев город местночтимой святой...

Что-то необычное, как бы слишком родственное по отношению к городу, даже сокровенное, я начинал временами вдруг ощущать, все чаще над этим задумывался и однажды вдруг понял...

Перед первой мировой во Владикавказе в казачьей артиллерии несколько лет служил мой дедушка по маме: Мирон Иович Лизогуб. Вышло так, что малых детей, оставшихся после неожиданной смерти жены Стефаниды в роковом восемнадцатом — умерла от разрыва сердца, увидев, как срубили шашкой человека на улице, думала, что — её отца — он по сути бросил, воспитывала их бабушка Татьяна Алексеевна. Когда «перед смертью» приехал потом в станицу просить у мамы прощения, она велела нам, внукам его, идти в дом, закрыла ставни и сама больше во дворе не появилась...

Может, каким-то недоступным нашему скудному знанию образом мы с дедом все-таки во Владикавказе теперь встречались?..

Мама осуждала потом себя, как мы догадывались, за жестокосердие...

Может, потому-то она и решилась отправить меня погостить во Владикавказ, откуда привыкла ждать отца совсем крохоту: для неё он так и остался, судя по всему, городом веры в добро, сказочным городом последней надежды...

А нынче так получилось, что городом надежды Владикавказ стал для всей России...

Неужели не понимаем?..

...Ирбек засобирился в раздевалку первым — мол, все, все, тяжелый груз предпраздничных забот смыт! — а я, отдавший жизни в Сибири не один десяток лет, только начал входить во вкус.

Он не удержался:

— Кто-то говорил, не будет парку?

И я начал чистосердечно руками разводиться — грешен, мол, — и с нарочитою виной по сторонам кланяться:

— Извини, Ирбек Алибекович!.. Извини, банька!.. Извини, дорогой и любимый Владикавказ!

Эти двое, которые все продолжали ублаговывать третьего, дружелюбно поулыбались, а когда я опять вышел из парилочки, один из них спросил: мол, вы — осетин?

— Русский, — словно сожалея, что не могу им уважить, развел я руками. — Если хотите, — казак.

— А нашего Ирбека давно, видно, знаете?

— Что правда, то правда...

— Мы видим, друг его...

И я нашел нужным подчеркнуть:

— Младший, да.

Оба они одобрительно улыбнулись, а третий приподнял голову и даже кивнул.

— Я вижу, вы так стараетесь, — подбодрил я. — Спортсмены, что ли? Или кто?

— Вообще-то в милиции служим, — объяснил один из них. — Все офицеры...

— Вон как! — сказал я с чистосердечным одобрением: не только о «петушке» ведь писал — есть в творческом-то «багаже» и роман «Пашка, моя милиция», детектив, как же — их тогда ещё не пекли, как блины. — Это вы молодцы, молодцы!

— Вчера у нашего друга свадьба была, — кивнул на лежавшего все тот же, видимо, старший по возрасту.

— Во-он оно! — начал я и с пониманием, и с нарочитым сочувствием в голосе. Провел пальцами по щеке возле горла. — Малость того, значит?..

Старший удивился:

— Да что вы?.. Вчера он — вообще ни капли!

Теперь удивился я:

— Даже так?

— Это само собой, — пожал плечами мой собеседник. — Свадьбу старались вести по обычаю... Жених не должен ни грамма: он только принимает поздравления. Невеста в другом конце... А сегодня — тоже ни капли. Ни в коем случае!.. Сегодня у него — первая ночь.

Пока это говорилось, друг их приподнялся на лежаке, сидел теперь, расправив крутые плечи, уверенно глядел на меня, слегка приподняв выразительное лицо, а они, два ладных крепыша, остались с той стороны, но каждый, словно не желая прерывать передачу сокровенной энергии, держал руку на заплечье у новобрачного: богатыри и красавцы — и правда, как молодые языческие боги! Как нарты!

— Счастья вам! — сказал я растроганно. — Мужу молодому в первую очередь. И жене... и детишкам будущим... Дай Бог вам всем!

Все ещё расслабленно отдыхавший под простышкой Ирбек глянул на меня, спросил чуть насмешливо:

— Почему такой вид... что-то случилось?

С нарочито-горьким укором я ткнул себя пальцем в грудь:

— Знаток Кавказа, а? Опростоволосился я, Юра!..

— Что такое?

Но я все виниться продолжал:

— Все подбивал тебя кино снять... Помнишь, — «Возвращение странника»? О возвращении лучших традиций.

Ирбек согласился:

— Хорошее могло быть кино. Главное, нужное сейчас...

— А вчера какую речь говорил?

— И речь была очень приличная, скажу тебе...

— В том-то и дело: речь!.. А как до дела...

Накануне вечером, после всеобщего праздника под куполом шапито, Президент Алании-Северной Осетии Александр Сергеевич Дзасохов устроил в честь Ирбека прием. Перед застольем Ирбек подвел меня к нему, с добрыми словами представил, и я счел возможным момент знакомства продлить: отдал свой первый том, начинавшийся с «Проникающего ранения», в котором Исса Александрович Плиев так и остался маршалом, и взялся «расшифровывать» написанную малопонятным своим почерком дарственную надпись, а когда сказал, что с Георгием Черчесовым мы были не только однокашниками по школе на Кубани и Университету в Москве, — были душевные друзья, Дзасохов явно растрогался. Из-под маски опытного политика потеплевшими глазами на меня глянул бесконечно уставший от череды нескончаемых дел, но не сдавшийся обстоятельствам искренний и благожелательный человек:

— Поверьте, это приятно... Георгия помним и чтим. На Аллее Героев успели побывать?

— Собираемся завтра вместе, — ответил Ирбек.

Чего уж там о важности персоны: как единственного московского, единственного дальнего гостя, меня посадили рядом с именинником-Ирбеком, поближе к Дзасохову, среди старших, и слово предоставили в числе первых. И я принялся рассказывать, как совсем недавно поздравлял своего друга с семидесятилетием в элитной московской газете «Вечерний клуб»... не все же, понимаете, в «Конеvodстве»!

С главным редактором «Вечернего клуба» Валерием Евсеевым знаком был достаточно близко: когда-то вместе работали в журнале «Смена», в котором, как посмеивались в ту пору сотрудники, один год за три засчитывался: чего-то да стоит! Позвонил теперь Валере, рассказал о предстоящем юбилее Ирбека, и он охотно пообещал: дадим день в день, только «материал» приноси заранее...

За мной ли заржавеет?!

Пусть не обижается, писал я, глава представительства республики Алания-Северная Осетия в Москве

толковый и работающий Казбек Дулаев: даже с его энергией, с его общительностью нельзя сделать столько, сколько для сближения наших народов, русских и осетин, сделал неофициальный горский посол в России — всеобщий любимец, Народный артист Советского Союза, знаменитый цирковой наездник Ирбек Кантемиров.

Была в моей заметке строчка о том, что любимое слово отца, основателя династии Алибека Тузаровича, — «порядочность» стало заветным и для Ирбека. И был кратенький, но емкий рассказ о том, как мы с ним, переживая, что после гибели великого Союза так называемый «идеологический вакуум» стал наполняться вовсе не национальными, как ожидали, много лет угнетаемыми либо остававшимися втуне духовными ценностями — стал стремительно захлестываться привезенной вместе со второсортными товарами зарубежной белибердой, мы с Ирбеком вроде полушутливо, а на самом деле очень всерьез договорились всегда и везде свято следовать лучшему из кодекса чести предков — чем он хуже навязших у всех в зубах «общечеловеческих ценностей»? В сумасшедшее время в сумасшедшей Москве оба пытаемся свято блюсти «горский этикет».

Договорились с Евсеевым, что он оставит для меня пяток номеров, но утречком «юбилейного» дня я все-таки не выдержал, спустился со своего двенадцатого этажа и купил в газетном киоске три экземпляра. Ещё не отойдя от киоска, развернул газету, увидел заметку, пробежал по ней взглядом: не сократили?

Поздравление моему высокому побратиму было напечатано полностью, но одна из строчек заставила меня, как раньше выражались, «исторгнуть стон».

«С Ирбеком Кантемировым в сумасшедшей Москве, — напечатано было черным по белому, — мы договорились, несмотря ни на что, блюсти городской этикет.»

Едва дождался я начала рабочего дня, позвонил в «Вечерний клуб», взялся Валерию горячо рассказывать, что произошло. Он, занятый по горло другими делами, тут же передал трубку отвечавшей за публикацию сотруднице.

— Мы решили, что у вас опечатка и поправили «горский» на «городской», — объяснила она уверенным тоном. И уже заинтересованно, но все-таки не без насмешки спросила. — А что, есть и такой этикет — горский?

— В том-то и дело, что горский, слава Богу, пока остался! — попробовал втолковать ей. — А вот есть ли ещё, скажите мне, городской? Это в чем же он? В какой руке пятнадцатилетняя кроха должна нести бутылку пива, а в какой — сигарету?!

С какими понимающими улыбками, с каким одобрением кивали мне после моей речи «старшие», какой еле сдерживаемый смех раздался на том конце длинного стола, за которым собралась молодежь!

Но вот и сам я, пересмешник, оказался в положении этого городского цветка — московской редакторши... Недаром говорится: век живи — век учись.

А было, было чему рядом с Ирбеком поучиться!

На следующий день приставленные к нему и явно счастливые этим доверием младшие повезли нас в горы...

На выезде из Владикавказа, на переходящей в предгорную степь окраине, рядом с дорогой паслись несколько отар, почти возле каждой толпились люди, и я подумал было, что пастухов скоро станет не меньше, чем овец, но тут увидел, как по-городскому одетый богатырь взвалил на плечи овцу, понес к стоявшей обочь дороги «волге», скинул в открытый сопровождавшими багажник... вон в чем дело!

— Заскочим сюда, когда будешь улетать, — деловито сказал Ирбек. — Возьмешь с собой?

— Хоть тут бы попробовать! — подначил его.

— На этот счет не волнуйся, там у ребят небось давно все готово — ждут!

Что правда, то правда. Во дворе дома, расположенного на вершине горного села, на таганах стояли над огнем три исходящих парком котла один больше другого, возле каждого кто-то священнодействовал: один полешко подкладывал, другой орудовал на доброе весло похожей мешалкой, третий уже снимал пробу... Вокруг был разлит сытный дух, смешавший в себе теплый запах вареного мяса и пряные ароматы приправ.

На узком и высоком, похожем на стойку, длинном столе, под которым стояли несколько ящиков со спиртным, молодые мужчины расставляли нехитрую посуду — граненые стаканы, алюминиевые чашки с эмалированными кружками.

Чуть поодаль по-двое, по-трое чинно стояли участники предстоящего пиршества...

Невольно припомнилась священная для осетин роща Хетаг, куда мы однажды с Жорой Черчесовым приехали в самом начале мая, сквозившего мокрыми, еще не распустившимися в полный лист деревьями — в день святого Георгия Победоносца... Сотни котлов над огнем, тысячи людей вокруг них, грозный бычий взмык и жалобное овечьё бляенье там и тут, горки дымящегося мяса на столиках, духовитая кукурузная арака.

Перед этим который год я был в «глухой завязке», но тут друг мой, старый шутник, сверкая через очки смеющимися глазами, стал упрекать меня, что называется, громогласно:

— Слышишь, что люди говорят?.. Одно дело — не выпить водки. Не так обидно: только и того, что не уважил кампанию. Но арака — национальный осетинский напиток. Самый народный. Не выпить араки... ты понимаешь, понимаешь?

Ну, разве мог я, и правда что, обидеть нацию, обидеть народ, да ещё какой, какой народ!

— Куда мы попали, Юра? — спросил теперь негромко Ирбека. — Может, это «малая Джержуба»?

Он ответил, посмеиваясь:

— Такие джигиты собрались, что могут и большую устроить!

Вокруг заметно оживились, кое-где прекратили разговор. Потихоньку продолжали рядом со мной:

— Он ведь собирался — два этажа? Не хватило денег?

— У него хватило бы и на три, не в этом дело.

— Почему передумал?

— Да, пожалуй, он прав. Говорит: мне стыдно будет смотреть на лачуги внизу из своего дворца... А каково будет им там: глядеть наверх?

Понял, что речь идёт о новеньком доме принимавшего нас хозяина... что ж, новому осетину не откажешь в деликатности особого рода. В отличие от родных новых русских, каких только каменных замков да дворцов не наворотивших под Москвой: им нищающие соседи «по барабану».

Из-за невысокой каменной ограды вглядывался в красиво разбросанное ниже село, когда подошел улыбающийся человек средних лет, протянул большую глиняную кружку с бульоном, который, казалось, и в кружке всё ещё продолжал кипеть:

— Из первого котла. Бычок. Для начала...

— Молодой сильный здоровый бык? — улыбнулся ему в ответ.

— Все верно, — сказал он не то что дружелюбно — с особой сердечностью. — Все соблюдено: видели бы этого красавца!

Не успел с обжегшим рот вкуснейшим варевом покончить, как тот же человек, что называется, возник рядом:

— Давайте добавлю — не пожалеете.

Да уж конечно!

Но почему он улыбается будто бы с загадкой в глазах?

Его сменил примерно такого же возраста человек с дымящимся на тарелке мясом на ребрах:

— Очередной номер, как говорится: барашка!.. Сверху не берите — под ним.

А голос, голос!..

Ну, будто бы они тут соревновались, у кого он будет благожелательней!

Вовсе не с сиротским, скажу вам, куском подошел я к своему старшему другу:

— Послушай, Юра, эти ребята с таким желанием угощают...

— Не узнал? — спросил он. — Наши ребята-пенсионеры ... наездники ещё из той программы, когда ты первый раз пришел к нам, — и обернулся к одному из них. — Валера, подойди...

И я воскликнул:

— Фарниев!

— А это Юра...

— Дацоев! — закричал я. — Ну, конечно, конечно!

Сколько лет пронеслось с тех пор! Четверть века...

— А я гляжу, гляжу, — радовался я. — Что это они меня так потчуют?

— Вы тогда хорошо о нас написали, — сказал Валерий, как будто это было только вчера.

— Спасибо, — бормотал я. — Ну, братцы, спасибо!..

— А ты ещё спрашиваешь, чего они тебя угощают, — нарочито серьезным тоном укорил Ирбек. — Награда нашла героя!

— Через столько-то лет, да! — подхватил я. — В виде бараньей лопатки.

— Лопатка — ладно, а вот почки вас ещё ждут, — пообещал Валерий.

— А я сразу, как только вы с нашим Ирбеком вошли, начал припоминать, — весело говорил Дацоев.

— Где-то, думаю, эту личность...

— Насчет личности, — словно припомнил Ирбек. — Не рассказывал тебе, как мы с Асуаном ехали из Ростова?..

...За Асуном он поехал, когда понял, что земляки его не только ждут праздника — готовы сделать всё, чтобы он надолго запомнился: один только новенький шатер просторного «шапито» чего стоил!

Во Владикавказе «коневозки» не нашлось, в Целинном, что под Ростовом, тоже помочь не обещали, и тогда он отправился туда на грузовике: Асуан как всегда обрадуется встрече с хозяином — неужели не постоит потом в кузове на привязи? При такой, как у них в последние годы, жизни и не к такому поди привык!

Нет!

Характер стал проявлять ещё при погрузке, а стоило всего ничего от конзавода отъехать, как забастовал по полной программе.

Жеребца явно беспокоил и встречный ветер, довольно крепкий в тот день, и поднимаемые им с пола опилки... Да и потом, потом: столько не видеться, и вдруг хозяин, которого он заждался, преспокойно садится себе отдельно... Зачем тогда приехал? Куда везет?

Сперва Асуан стучал копытами, дергался, потом начал биться так, что в таком положении ехать с ним дальше стало небезопасно.

— И что — ты? — спроси я примолкшего Ирбека.

— А что мне оставалось? — сказал он с видом человека, который потерпел поражение. — Забрался в кузов, стал впереди него, и он лизнул ухо, шею на плечо мне положил и тут же, тварюга, успокоился... Так до Владикавказа и ехали!

— Всю дорогу стоял?

— Представь себе.

— Н-не очень, признаться, представляю, — сказал я. — Мало того, что ветер...

— Я был в кожаной куртке, хорошо, что надел — как знал, веришь...

— Ну, Ирбек Алибекович! — только и сказал я.

Дацоев с Фарниевым тоже покачивали головами.

Он будто отмахнулся:

— Это все ладно... Самое главное, что каждый встречный мент останавливал. Я сперва слезал, пробовал что-то объяснить, потом уже протягивал деньги прямо из кузова — все быстрее...

— Ну, Асуан! Ну, любимчик твой...

— А их, ты веришь, — ну, как нарочно кто им сообщил, что можно хоть полста да содрать. А кому и полста мало: вынь сотенную — и весь разговор. Чем больше звездочек на погонах, тем больше сумма...

— Надо было отсюда своего мента брать, — задним числом подсказал Дацоев. — Для сопровождения. Наверняка бы дешевле обошлось...

— Да ребята бы и так небось, — поддержал Валера Фарниев. — Но кто ж знал?

— В Нальчике деньги закончились, я уперся: веди меня, говорю, к своему начальству, сержант!.. Гляжу, в будке у них русский полковник. Вытащил я все свои документы: и что заслуженный, и народный, и чемпион... как знал тоже: весь этот хлам с собой в тот раз захватил, — посмеивался Ирбек. — Долго он все это рассматривал... долго! Потом говорит: а ведь это личность, сержант!.. Ты знаешь, какая это личность?.. А тот глаза вытарщил: может стоять в кузове?

Опытный рассказчик, Ирбек примолк, давая нам вволю посмеяться и продолжил тоном «русского полковника»:

— Может, сержант. Может! Но не должен. Один!.. Поэтому забирайся-ка в кузов. Проводишь до следующего поста, а там пусть они дадут человека: скажешь, приказ! Сопроводить до места прибытия... все понял? Я проверю. И — руку под козырек: честь имею, товарищ народный артист Советского Союза!

— Смотри ты! И помогло?

— Мало сказать! — посмеивался Ирбек. — Только и того, что денег не вернули... Да я бы уже не смог их взять — рука не действовала. Так горячо каждый пожимал, когда прощался. На каждом посту...

— Повезло с полковником, Юра!

— Что ты! — воскликнул он. И посерьезнел. Расправил плечи и даже грудь выпятил. Сказал значительно. — Офицер!

Оба бывших джигита тоже невольно подобрались:

— Это — офицер!

— Тут ничего не скажешь, да!

Ирбек приподнял стакан:

— За общим столом потом поднимем... напомним, если что. Но давайте сейчас: за настоящих офицеров, а не этих, которые теперь набивают карманы!

И оба бывших джигита... или джигит не бывает бывшим?

Так же, как настоящий офицер?..

И оба джигита в один голос сказали:

— За настоящих офицеров!

...А мне тогда снова неожиданно представилась картина из прошлого века, совсем вроде бы недавнего, но постепенно тускнеющего за чередой стремительно сменяющихся друг дружку событий нынешних...

Начало шестидесятых, Париж...

По одной из самых оживленных центральных улиц идут трое казаков в «царской» форме при «георгиевских» крестах, при кинжалах: посредине высокий пожилой генерал в серой черкеске терского войска и серой горской папахе и по бокам — два кубанца в темносиних черкесках, в низких, черного цвета, лихих «кубанках».

Все трое так озабочены важным разговором, что не заметили, как пошли через улицу на красный цвет светофора. Но вид их настолько строг, что полицейский-регулирующий вместо того, чтобы остановить их громким свистком, перекрывает движение, чуть ли не церемониальным шагом подходит, берет «под козырек», говорит со значением старшему:

— Месье генерал! Спасибо за эту встречу. Я старый служака и всегда отличу в толпе настоящих воинов!

Генерал тоже поднес руку к папахе:

— Скорее всего вы не ошиблись, месье! Этого молодого человека мы провожаем в Алжир — кровью благодарить Францию за приют, который сорок лет назад она дала русским эмигрантам!

И французский офицер четко повернулся к ним боком и с ладонью у виска торжественно перевел на противоположную сторону...

Эту историю рассказал мне тот, кого они тогда провожали, — живущий нынче в Брюсселе «на пенсии» Мишель Антон Идвановф — Жданов Михаил Антонович, Миша, кубанский казак, бывший каскадер, один из двух последних в Европе профессиональных джигитов: пусть ещё долго здравствует там и его донской собрат Пьер Пахомовф!

Отец Михаила, хорунжий, ушел с генералом Шкуро и был потом наездником у него в гамбургском цирке: тесен мир, тесен!.. Не он ли, думал я иногда, грустно посмеиваясь, в числе других казаков упрекал осетин из группы Алибека Тузаровича, впервые выехавших на зарубежные гастроли, в Германию: хлеб отнимаете, земляки!..

В Россию Миша приезжал несколько раз: искать кубанскую родню. Так вышло, что я помогал ему, мы подружились, и в очередной приезд позвал его в Новогорск, к Мухтарбеку Кантемирову.

Когда знакомил их, Миша Жданов, давно не мальчик, воскликнул почти восторженно:

— О, как я рад, поверьте, видеть джигита-осетина! Мальчиком во Франции меня воспитывал генерал Мистулов... Он был моим аталиком, Асламбекович!

Всегда благожелательный Мухтарбек стал, казалось, еще деликатней:

— Это не ради красного словца, как говорится?.. Он знаменитый осетин! И правда, наставлял вас... чему-то учил, что — то показывал. Во Франции?

— Какое «красное словцо»! — искренне удивился наш «бельгиец». — Асламбекович был человек дела. Я, как полагается ученику, несколько лет жил у него... Правда мой отец, он был помоложе, все ещё джигитовал и кое-что зарабатывал, нет-нет, да выручал нас: то давал денег, то продуктов накупал... Асламбекович жил очень скромно. Бедно, если честно сказать. Но одет был всегда с иголочки, по виду никогда не подумаешь... Знаете, что он мне всегда говорил? Главное, чтобы ты не вырос «пантюшей»...

— «Пантюша», это — кто? — спросил Мухтарбек.

И я, уже по привычке к доставшейся ему от наездников генерала Шкуро разговорной речи «бельгийца», перевел на принятый в Союзе цирковой жаргон:

— «Понтюша», это понтярщик, Миша!

— Великий завет, великий! — радовался Мухтарбек. — Судя по всему, понтюшей вы не стали?

И Жданов посерьезнел:

— Когда решили, что я должен «благодарить Францию кровью», так русские тогда говорили... Когда это решили, Асламбекович сказал отцу: теперь покажем ему всё до конца. Там ему пригодится... И они научили меня таким вещам, которых ни в одной военной школе не узнаешь, я потом убедился... В Алжире я был сперва «грязный русский», а через два месяца в палатку ко мне приходили офицеры: ну, как, сержант? Будем наступать или ещё денек обождём?

— Это ему так понравилось, — сказал я на полушутке, — что Антоныч потом продолжил карьеру уже в «иностранным легионе»...

Жданов протестующе вскинул руки:

— Это не может понравиться! — заговорил горячо. — К этому нельзя привыкать... только кони меня потом и спасли. Была такая страшная депрессия. И Асламбекович сказал тогда: только лошадка его выручит... вынесет, он сказал!.. Привыкать нельзя, нет!.. Но знать надо. Чтобы выжить. Они были офицеры, и они это знали. Это по ним было видно, — и повел в мою сторону подбородком. — Леонтьичу я рассказывал: как в центре Парижа регулировщик перекрыл сумасшедшее движение, чтобы прошли трое казаков!

У француза Альфреда де Виньи есть книжка о солдатском долге, который он определяет так: и неволя, и величие.

Как нельзя больше подходит к военной косточке в эмиграции: какие были орлы!

Сколько я потом вспоминал об этой вроде бы неожиданной беседе в горах под Владикавказом: о русском офицерстве... Почему — там? Именно тогда?.. Когда Ирбек отмечал свой праздник, который больше был нужен не ему, всякого на своем веку повидавшему — нужен был оказавшимся в «злом обстоянии» его землякам, нужен переживавшей трудную — дай Бог, чтобы она поскорее закончилась, наконец! — пору любимой его Осетии...

Где только мы с ним потом не побывали, у каких только его друзей в разных концах республики не гостили... Что там банька! Радость от встреч на родной земле смыла с него московскую усталость и прямо-таки заново одухотворила лицо. Эта явная перемена пробудила во мне, давно уже ставшим его добровольным биографом, теперь ещё и заправского фотографа: снимал его в пути и в горах, на городских улицах и возле отчего дома с мемориальной табличкой в честь Алибека Тузаровича, у памятника родителям на старом, заросшем уже вековыми деревьями кладбище и у блестящих гранитом да мрамором надгробий на Аллее Героев...

Самому ему, казалось тогда, не будет сносу, да так и должно, если бы не слом времени, начавший плодить хамство и убивать честь.

Вышло так, что поездка его на родину стала прощальной, а речи, разговоры, да просто слова сделались заветом и тем, кто хорошо знал его, и кто узнает уже из рассказов старших, из книг, которые, не сомневаюсь, появятся, из фильмов, которые ещё непременно будут... Опомнися ведь, наконец, — опомнися!

Лет двадцать назад, когда работал заведующим редакцией «русской советской прозы» в издательстве «Советский писатель» и был в силу этого лицом, к руководству творческим нашим Союзом приближенным — ох, лучше бы всё-таки не «приближался»! — меня позвал к себе Владимир Яковлевич Шорор, помощник Маркова: через пару месяцев, объяснил, у Георгия Мокеевича юбилей, «стукнет» семьдесят. Не мог бы я к этой дате подготовить «праздничную» статью о нем?

Не ожидавший такого поворота в нашем разговоре я, как мог, попытался вывернуться: мол, что там ни говори, я не теоретик, сугубый практик, а тут надо всё глубоко осмыслить... Да и вообще: служба ну, прямо-таки не оставляет свободной минуты — недаром же в последнее время занят не прозой — все больше публицистикой...

Шорор, пользуясь борцовским термином, тут же провел очередной захват:

- А, может, о публицистике Георгия Мокеевича и написали бы? Он тоже плодотворно работает в этом жанре...

Уже легче! — мелькнуло у меня. — Что-что, а очерк-то последним дерьмом быть не может — удержит сама фактура, сама жизнь...

— Соглашайтесь, соглашайтесь!

Я согласился.

В библиотеке Центрального дома литераторов тут же взял последний том собрания сочинений Маркова, дома первым делом открыл его...

Стыдно мне и перед светлой памятью Георгия Мокеевича: добрый он был человек и что-то пытался делать, как говорится... Неловко перед Ольгой, старшей дочерью, с которой вместе работали и хорошо понимали друг друга: земляки, что там ни говори, — сибиряки!

Но что делать, что делать...

Отложил книжку и набрал номер телефона своего друга Николая Луценко, тоже сибирячка, теперь — генерального директора объединения «Череповецметаллургхимстрой», с которым у нас был заключен договор о творческом содружестве московских писателей, тогда это было модно, со строителями «крупнейшей в мире домны „Северянка“».

Коля! — попросил его. — Выручай!.. Срочно дай мне на службу телеграмму, что без меня там твоя домна рухнет... ещё что-нибудь, чтобы я немедленно выехал к тебе: спасай, Коля!

Через день я уехал в Череповец, там тут же «простудился»... далее, как говорится, везде...

Ну, не смог в силу обстоятельств, которые бывают сильнее нас, написать о гражданских мотивах в творчестве Георгия Мокеевича — ну, не смог!

Как малоопытный жулик все-таки я попался...

Открыл «Огонек», в котором обещали напечатать мой материал о пятидесятилети работы Ирбека в цирке, и оторопел: сперва следовала взятая в рамку небольшая статья о юбилее Маркова с крошечной его фотографией, а на обороте — ну, как будто нарочно номер журнала так «смакетировали»! — сверху донизу полосы в форме венгерского гусара красовался Ирбек на соловом своем Сёме и рядом начинался мой рассказ о нем: «Белый конь на асфальте»...

- Когда же вы успели? — с явной подначкой спросил позвонивший в тот день Шорор.

Я стал что-то такое мямлить: мол, это не специально написано, а задолго до того, отрывок из романа, нельзя было не попросить «Огонёк» — что там ни говори, я чуть ли не штатный биограф Ирбека Кантемирова...

— Это меня больше всего и смущает, — уже как бы озабоченно, как бы даже не без печали сказал Владимир Яковлевич. — Серьезный писатель, мастер производственной прозы... За вашими плечами не только громадный металлургический завод — за вашими плечами Сибирь. А тут вдруг — цирк... джигиты... Невольно напрашивается: причем тут?

Сколько я после думал: как хорошо, что так оно все сложилось! Ну, не подарком ли судьбы стала для меня тоже сперва смущавшая было давняя просьба моего старинного друга Жоры: написать об осетинских наездниках?

Ничто на свете не происходит случайно, нет: «громадный металлургический завод» теперь уже несколько раз успели продать и перепродать, кое-кто уже и на Сибирь замахивается: а почему бы и её не «толкнуть»? Всю сразу. И рекламировать не надо — это давно уже за нас Ломоносов сделал...

А наработанное Ирбеком не выдуришь на ваучер — на «толькину грамоту». Не украдешь, не приватизируешь, в бессрочную аренду не возьмёшь...

Сделалось общим навсегда.

Недаром предупреждали святые старцы: Россия будет ограблена и уже не станет богатой материально, но просияет духом и даст пример всему в пороках погибающему миру...

В это «сияние духа» и вложил Ирбек Кантемиров свою мировую славу, мастерство, благородство... как бы нам все это сегодня достойно сберечь. На добрую память тем, кто придет после нас: помоги, Господи! Дай, Бог, силы!

Часто, очень часто все вспоминаю его рассказ о поездке во Владикавказ в кузове грузовика рядом с любимцем Асуаном, вспоминаю рассказ о «русском полковнике», неожиданно положившем целебный пластырь на давно саднившую рану джигита, вспоминаю этот вроде бы неожиданный тост в честь «настоящих офицеров»... тоже — завет?

В моем «кантемировском» архиве, невольно собранном за три десятилетия дружбы с осетинскими наездниками, есть и как бы особая, «воинская» папка, куда вместе с другими документами перекочевали теперь и две тоненьких книжечки покойного Георгия Черчесова, школьного товарища, тогда ещё — Жорика, незабвенного друга: «Завещание полководца» — об Исса Александровиче Плиеве и «Человек с засекреченной биографией» — о Хаджумаре Джиоровиче Мамсурове. Обе изданы Северо-Осетинским Институтом гуманитарных исследований благодаря бескорыстным жертвователям, по сути — на нищенские гроши. Серая бумага, простенькие обложки с полутемными фотографиями внутри, но какие лица на них, какие, и действительно, личности!

К ним мы ещё вернемся, а пока остановимся на ксерокопии сделанной мной когда-то давно газетной вырезки с «Информационным сообщением Министерства обороны Союза ССР ко дню 50-летия Советской Армии» — не его ли содержание всю жизнь вело Георгия не только к этим маленьким книжкам, но и большим романам и кинофильмам? Не оно ли с юности было символом его неиссякаемой любви к отчему краю?

Когда-то мы над ним, когда заводил осетинскую «старую пластинку», благодушно посмеивались, но с годами все яснее и четче осознаёшь: это не может и не должно стареть!

Кроме прочих граф в любопытном сообщении есть, и в самом деле, такая: «Занимаемое место по числу героев». По порядку в первой десятке в ней значатся: осетины; калмыки; адыгейцы; русские; абхазы; украинцы; мордва; кабардинцы; башкиры; белорусы.

Хранится в моей «воинской папке» экземпляр владикавказской газеты «Отчизна», которую в общую тяжелую пору 1993-го года прислал мне Георгий Ефимович. В предисловии к объемной публикации Мухтарбека Санакоева «Осетинское казачество» есть несколько строк, которые мне придется привести не ради собственной славы, как говорится, — ради общего братского дела: «По воспоминаниям писателя Г. Немченко, казаком был „осетин Владимир Кокаев, который в нарушение строгих правил трижды подряд выбирался атаманом станицы Бесскорбной на Кубани.“ Разве не интересно нам знать, что этот brave офицер построил на свои деньги памятник к 200-летию Кубанского Казачьего Войска!»

Вслед за предисловием идут три фотографии, тоже из-за качества бумаги, уже пожелтевшие: «Бичерахов Сабан (Федор), отец генерал-майора Бичерахова Лазаря, автор известной черкески „бичераховка“»; «Генерал-майор Бичерахов Лазарь Федорович»; «Командующий Терским фронтом генерал-майор Эльмурза Мистулов. „Человек высоко доблестный и честный, смелый и решительный“ — так отзывались о нем в царской армии».

И — какие значительные, какие благородные лица у этих троих!

Тоже: какие личности!

«Лазарь в составе Русского экспедиционного корпуса находился в Месопотамии в 1914–1917 годы Первой мировой войны, — сказано в статье. — Командуя отдельным отрядом, он успешно сражался против турецких войск. В 1918 году английский представитель при его отряде полковник Клотерберг, его друг, пригласил Бичерахова в Англию. Там Лазарь был награжден двумя орденами Великобритании и произведен в генералы английской армии.»

И сколько ещё — строка за строкой — блестящих осетинских родов: Габитаевы, Абаевы, Кургосовы, Гурджибековы, Татоновы, Тургиевы, Хабеевы, Занкисовы, Мугуевы, Газдановы, Кусовы, Сосиевы, Гокинаевы...

А как вслед за автором статьи не упомянуть мне полковника Василия Цугулиева, который командовал четвертой Кубанской пластунской бригадой — самым элитными, как бы теперь сказали, войском, «казачьим спецназом», чей девиз был: «Волчий рот, лисий хвост»? Любое горло перехватить — ни малейшего следа не оставить...

Как не сказать о генерал-лейтенанте Афако Фидарове, командовавшем первым Хоперском полком, во «втором комплекте» которого служили мои предки? А не обидятся ли мои друзья в нынешнем Лабинске, если молча пройду мимо генерал-лейтенанта Инала Кусова, командовавшего Лабинским казачьим полком, а после — второй Кавказской казачьей дивизией?

И уж, ну никак не могу не повторить названную в обзоре фамилию Хутиевых: что потом подумает обо мне, неблагодарном, полковник медицинской службы Сергей Хутиев, который, слава Богу, орудовал скальпелем, а не шашкой или кинжалом, когда «резал» меня, так получилось, в Центральном госпитале наших Главных космических войск во «втором Голицыне» под Москвой, в Краснознаменске — об этом я написал потом в рассказе «Лезгинка для смертельно больных»...

И это лыко — в строку, и — это!

Потому-то и привел этот давний, чуть не сплошь генеральский список из большого очерка Мухтарбека Санакоева, чтобы перейти ко дню нынешнему.

В книге у нашего, с Северного Кавказа писателя Владимира Гнеушева «Полынная слава» описан мало известный, к сожалению, факт из истории Второй Отечественной войны: в концлагерь, где заключен был генерал Красной Армии Карбышев, немцы привезли отказавшего сотрудничать с ними белого генерала Деникина. В собольей шубе он стоял и смотрел, как несговорчивого пленника, бывшего его однокашника по Академии генерального штаба ещё той, «царской» армии, обливают на морозе, совершенно раздетого, ледяной водой, и тело его постепенно превращается в одну большую сосульку. Когда лагерные врачи, наконец, засвидетельствовали смерть, окружавшие Деникина высокие чины уставились на него с почтительным любопытством: разве не ясно, мол, что ожидает тех, кто не хочет помогать великой Германии?

Деникин запахнул шубу и четко сказал своё:

— Вот смерть, достойная русского генерала!

Нынче, когда политические визажисты «Единой России», облепленной и мелкими, у которых в кармане — вошь на аркане, демократическими выскочками и крупными, с большими деньгами, присосанцами, озабочены поисками национальной идеи, так и хочется сказать: вот же, вот! Это и есть единство: прошлого с настоящим — во имя будущего.

О народном герое Плиеве уже было на этих страницах: обратимся теперь к генерал-полковнику Хаджумару Джиоровичу Мамсурову.

В Московском Университете шестидесятых годов, на факультете журналистики мы прямо-таки росли и крепили на романах Эрнеста Хэмингуэя... Тем сильнее было потом желание моего друга Жоры отщипнуть от лаврового венка маститого американца десяток-другой глянцевиных листиков, когда все больше стал узнавать, что зарубежный классик пасся и на лугу среди его родных гор: якобы «македонец», диверсант-взрывник Джордан из романа «По ком звонит колокол» был осетин.

Роман «Противоборство» («Под псевдонимом Ксанти») Черчесов создавал в годы недоговорки и полусекретности и как тосковал потом, как мечтал «дописать», когда один за другим стали известны факты поистине удивительные, и масштаб личности Мамсурова открылся во всей полноте и величии... снова вспомним Альфреда де Виньи с его книжицей о солдатском долге? Тем более, что для разведчика неволя как бы даже его естественное состояние... Это потом он будет придерживать руку у груди: «как всякий человек с больным сердцем».

Тоненькая книжечка Жоры «Человек с засекреченной биографией» как раз и есть направленное на одного из самых любимых его героев «увеличительное стекло» — представляю, как он, также в последние годы державший руку у сердца, радовался и как волновался, узнавая истории, подобные этой, взятой им из опубликованной в той же газете «Отчизна» статьи Темирсолтана Худалова «Человек-легенда».

«Плененный фельдмаршал Фридрих Паулюс обратился к Сталину с просьбой выволить из Германии жену и дочь, над которыми расвирепевший от сдачи в плен командующего группировкой немецко-фашистских войск Гитлер мог совершить расправу», — пересказывает Георгий Черчесов. — Сталин «вызвал начальника разведуправления Генерального штаба Советской Армии, которому поставил задачу прислать к нему самого прославленного разведчика. Через некоторое время в кабинете Верховного появился подтянутый стройный полковник. Верховный был удивлен, признав в нем давно известного ему Х. Д. Мамсурова, и тут же спросил его: „Не приходилось ли тебе похищать скъаефгае невесток на Кавказе?“ Хаджумар ответил: „Нет, не приходилось, но я знаю, как это делается“. Верховный кратко пояснил, что дочь и супруга фельдмаршала Паулюса, проживающие в Берлине, должны быть доставлены сюда и спросил, сколько для этого нужно времени. Хаджумар ответил, что для этого потребуется неделя.

Через неделю в кабинете Сталина сидел фельдмаршал Паулюс и, находясь в хорошем настроении, давал весьма ценные показания.»

Для горячо увлеченного, бесконечно влюбленного в свой народ романиста, каким был Георгий — разве это не клад, не бесценное сокровище? Тем более, что у всех на слуху постоянно были некоторые из прямо-таки записных героев, прямо-таки «дежурных» разведчиков с полусотней взятых ими в плен «языков»... Подумаешь невольно: сколько десятков вражеских солдат, боевых офицеров и генералов отдали бы они за этот деликатный трофей: жену и дочь фельдмаршала Паулюса!

Но что мы все — об ушедших?

Думается, и они там, давно поменявшие родные горы на ещё более высокий, горный мир, обрадуются упоминанию имен живущих нынче героев: ведь они были их старыми товарищами, верными друзьями.

...Заканчивал в прошлом году документальную повесть «Вольный горец», у которой такой подзаголовок: «Записки о народном Пушкиноведении». Работал над ней как бы параллельно с переводом на русский язык романа своего адыгейского кунака Юнуса Чуюко «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой», первого по сути черкесского романа о Пушкине. Друг мой обошелся в тексте без осетин, но я-то в своем «Вольном горце» просто-таки не мог себе такого позволить!

Позвонил в Москве генералу Цаголову: можно, мол, мне приехать, чтобы сфотографировать висящий у него в кабинете портрет Александра Сергеевича?.. Об авторе портрета, мол, о художнике Цаголове, я кое-что написал, но хотелось бы дать в книжке и сам портрет.

— А привезешь, что ты там сочинил? — с напускной строгостью спросил генерал.

И пока я, как по галлерее, расхаживал по увешанному его картинами просторному кабинету, останавливаясь то напротив скупых афганских пейзажей, то возле красочного, уверенными и сильными мазками написанного Уастырджи в осетинских горах, пока «прицеливался» к Пушкинскому, ради которого приехал, портрету, Цаголов, нахмурясь, вчитывался в мои о нем строчки.

— Ты где это взял? — спросил вдруг с интересом. — Об этом мало кто пока знает...

О чем он, я конечно, догадывался.

Читал накануне книгу «Одинокый царь в Кремле», подаренную авторами, старыми моими товарищами Виктором Андрияновым и Александром Черняком, и вдруг наткнулся на обнаруженную ими в секретном архиве откровенно-горькую, открытую, как свежая рана, докладную записку генерала Цаголова на имя Горбачева — из Цхинвали, из Южной Осетии, где тогда шла война...

— Не слишком тут меня превозносишь? — ворчливо сказал генерал, подушечкой указательного постукивая по бумаге. — Вот, ну, куда это!

Тоже пришлось склониться над листком:

«Теперь скорбной этой запиской можно гордиться, но как за неё тогда не оторвали голову?

Или кровавая школа Афганистана чего-то да стоит, и правда-матка боевого генерала родом ещё и оттуда?

Оттуда мы ушли.

Но не можем же мы уйти с Кавказа, он — наша родина!»

— Кто тебе дал эту записку? — снова спросил Цаголов.

И я сперва сделал вид, что и мы не лыком шиты:

— Разведка донесла, — сказал вроде бы небрежно.

Он печально хмыкнул:

— Разведка ему!..

И я тут же вернулся к задушевному тону профессионального просителя:

— Ну, разве я не прав, Македоныч?! Разве что переврал? Давай оставим!

И генерал снизошел:

— Оставляй.

Свой человек, что там ни говори.

Не только собрат по творчеству, но побратим по Ирбеку, с которым был неразлучен. По другу Георгию... да что там!

Давно уже для меня: побратим-осетин...

Но почему этот разговор о воинской доблести, о чести начался высоко в горах, в Осетии?

Размышлять об этом где только не продолжал потом, но ведь отправной точкой, и в самом деле, был рассказ Ирбека о «русском полковнике».

Упал на благодатную почву, как говорится?.. Вернее — на подготовленную. Потому что самой благодати как бы и незаметно пока на том, что связано нынче не только с воинской службой — со служением Отечеству вообще.

Мало того, что, работая с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, посмотрелся на многочисленных его прихлебателей в погонах не с мелкими звездами: не только из «Росвора», где воровать тогда было даже как бы по штату положено — вообще на многих. Потому-то вместо овечьих легендами ГРУ с тысячами его негромких, невидимых воинов и появилась в одном из моих рассказов горькая шутка насчет сладко пьющих по всей по большой стране, смачно жующих теперешних «полковников ЖРУ» почти в опереточных фуражках: если знаменитый грузинский кепарь с длиннющим козырьком называли «аэродром», то эту, с высоко взлетающей тульей, вполне можно окрестить авианосной палубой.

Может быть, к общей боли за состояние воинского духа в нашей «легендарной, непобедимой, в боях познавшей радость побед» у меня присоединилась так и не затихшая до сих пор своя, личная боль?

Старший наш сын, Сергей, тогда капитан, служил в том единственном в России полку, офицеры которого с оружием и полным боекомплектом в октябре 93-го пришли в Белый, будь он неладен, дом: «защищать Конституцию».

Из армейской солидарности их потом спасла «Альфа», — родительское вам спасибо, ребята! — и не успели добить «менты». Чудом остались живы по дороге, где их уже ожидала засада, обратно в казармы. А наутро приехавший из Москвы инспектор отобрал у них знамя, и полк объявил расформированным. Всех их вышвырнули из армии за то, что «опозорили честь русского офицера»...

Может, и действительно, опозорили?

Потому что не пошли до конца. Потому что отдали знамя...

Но это уже другой, вовсе не простой разговор.

Когда все это случилось, мы с женой были в Майкопе. Вернувшись и узнав некоторые подробности, первым делом спросил его: почему ты влез в эту неразбериху?.. Потому что давал присягу, — был ответ. И ты, отец, специально приезжал в Рязань, в училище, чтобы при этом присутствовать. Я думал, мы с тобой и там тогда были вместе... поговори с ними!

Почему, чуть ни кричал я, вы, сами отыскавшие Руцкого, впервые его увидевшие, поддерживали потом его нетрезвую руку, выводившую приказ вашему командиру полка об этой самой «защите Конституции», а никто из его боевых товарищей не примчался, не прилетел, не стал с ним рядом?..

Это их дело, был ответ. Мы своё попытались выполнить.

Когда они, почувствовав себя, в самом деле, «опозоренными», подали встречный иск об изменении угнетавшей совесть формулировки, я трижды присутствовал на заседаниях военного суда в подмосковной Балашихе и со счастливой гордостью наблюдал, как горстка офицеров раз от разу все яснее себя сынами Отечества осознает, как на глазах буквально преобразается и обретает потерянное было достоинство...

Эх, восстановить бы этот столькое переживший, почувствовавший братскую спайку полк, думал я тогда. Эх, вернуть бы им знамя, о котором они не перестают говорить: не было бы в России боевой единицы, где бы командиры острее и ответственней ощущали, что такое, и действительно,

офицерская честь!

Эти бы не стали, уверен, посылать солдатиков на строительство генеральских дач и уж тем более продавать в рабство владетельным кавказским хозяевам... как вспомнишь!

Для русского офицера-кавказца когда-то считалось недостойным подойти к солдатскому костру, если вокруг него не было свободного места.

А знаменитая «кавказская дуэль»? Когда офицеры, ставшие вдруг непримиримыми врагами, без оружия рядом шли впереди под пулями горцев, и пистолет либо шашку вынимал, наконец, только один из них: кто остался в живых...

Неужели когда-то было?!

Как это сопоставить с грустным окончанием попыток однополчан сына Сергея «восстановить» униженную офицерскую честь: через несколько лет их чуть не постоянных мытарств нашелся в Генштабе, наконец, искренне «сочувствовавший» им, глубоко «понимавший» их человек — ненавистную для них формулировку твердо пообещал изменить.

За пять сотен «зеленых» с каждого...

Но почему все-таки, печалюсь об этом обо всем, снова в который раз мысленно переношусь в горы Осетии?

Не потому ли, что со времен седой, как белые вершины Кавказа, древности, в черные дни горьких поражений в горы уходили не только чтобы самим укрыться — спасти народную память, сберечь тысячелетнюю традицию, сохранить вековые обычаи и нравственные устои героических предков...

Дошло до этого уже и у нас?

Горы не выдадут, как всегда.

Горы спасут.

Тем более эти, о которых недаром сказано: горы Осетии — ключи от Кавказа.

Помоги осетинам, пекущийся о них грозный Уастырджи, помоги Великий Бог, ключи эти удержать!

Вспомни, Россия, зачем ты давала не сдающейся своей крепости это властное и суровое имя: Владикавказ.

СТРАНА УМЕРШИХ ГЕРОЕВ

или

КОЕ-ЧТО О СОВРЕМЕННОМ РЫЦАРСТВЕ

Никогда из меня не выйдет «настоящего» писателя — высоко парящего над миром, отвлеченного от сиюминутных бед и горестей, от дней календаря, отсчитывающих годы старым товарищам...

Нынче в Майкопе, на Северном Кавказе, душой ловлю, кожей ощущаю, как мучается в Подмоскovie Мухтарбек Кантемиров, которому на днях стукнет семьдесят... Когда в мае мы сидели за двумя пирогами, поминали его старшего брата и моего старшего друга Ирбека, великого наездника, Мухтарбек предупредил о предстоящем своем празднике во Владикавказе, и мы с черкесом Мурадом Гунажоковым, бывшим летчиком-истребителем, полковником, учившимся тогда в академии МЧС, пообещали Мише чуть ли не клятвенно: на «жигульке» Мурада вместе, мол, прикатим в «Орджо» из Майкопа...

Тогда, видно, кто-то из богатых людей обещал Мише дать деньги на юбилей... это ведь не только день рождения самого Мухтарбека, нет: среди «работающих» нынче Кантемировых Миша остался старшим, и его святой долг поддерживать престиж знаменитой фамилии, заработанную поколениями джигитов славу династии. Положение обязывает!.. Но как это неписанное обязательство поддерживать нынче, как?

В начале декабря, перед отъездом в Майкоп, позвонил ему, чтобы уточнить число, и Миша грустно сказал: знаешь, Гаринька, праздник во Владикавказе не состоится... У Юрика там были старые наездники, которые с ним когда-то работали, а после удачно занялись бизнесом... они тогда за все заплатили. А что я туда поеду — как нищий?

Слово сказано. То самое слово: мы — нищие.

А-эй!..

Как раньше, выхватывая из ножен шашку, черкесы кричали.

И я начал вспоминать...

В годовщину смерти Ирбека доехал до «Речного вокзала», дождался автобуса до подмосковного Новогорска, где на тренировочной базе МЧС на птичьих правах приютил Сергей Кужегетович, спасибо ему, Конный театр Мухтарбека с его каскадерами. От остановки пошел пешком...

Все последнее время настроение было поганенькое, а тут вдруг из глубин памяти неожиданно выплыло: «Надев перевязь и не боясь ни зноя, ни стужи, ни града...»

Заметил уже давно, знаю точно: когда вспоминаются эти строки американца Эдгара По... точно не помню, в чьем, но — в лучшем, лучшем переводе! — это значит, что я «пошел на поправку».

Тут же с нарастающим пылом дальше подхватил: «... весел и смел, шел рыцарь и пел в поисках Эльдорадо.»

Любимый с юности рыцарский цикл: помню, как на Главпочтамте Новокузнецка, еще в 59-ом, у меня отказывались принять телеграмму, в которой я сообщал в Москву «любимой женщине»: «Эльдорадо в Сибири нет...»

Как бы сказала нынче молодежь: исследователь, блин!

Потом-то я его именно там и обнаружил, Эльдорадо, но дело не в этом.

В «Рыцарском цикле».

Дальше там у Эдгара По: «Но вот уж видна на висках седина, сердце песне больше не радо: хоть земля велика, нет на ней уголка, похожего на Эльдорадо. Устал он идти. Но раз на пути увидел тень странника рядом. И решился спросить: где может быть чудесный край Эльдорадо?»

И вот каков был ответ странника: «Ночью и днем млечным путем за кущи райского сада держи свой путь. Но и стоек будь, если ищешь ты Эльдорадо!»

Все больше вдохновляясь, дочитал стих до конца и тут же принялся за другой из того же собранного мной цикла: «Углубясь в неведомые горы, заблудился старый конкистадор. В дымном небе плавали кондоры, надвигались снежные громады...»

Это уже наш Николай Гумилев. И тут вдруг я подумал: стоп-стоп!..

Сколько лет уже ты бормочешь стихи об этих мифических рыцарях... А между тем тебе повезло, как никому другому: ты дружил с настоящим, совершенно реальным рыцарем — разве Ирбек им не был?

«Восемь дней скитался он без пищи. Конь издох. И над крутым уступом он нашел уютное жилище, чтоб не расставаться с милым трупом.»

Конечно, с копьем в руке он не мчался на лошади навстречу врагу, Ирбек... не выхватывал меч из ножен, хотя, убежден, мог бы сделать и это... он многое мог бы, многое!

Но его рыцарство в последнее время заключалось в том, что каждый день вставал в четыре, пил чай, прогуливал собачку, готовил себе завтрак и с первым поездом в метро ехал на Цветной бульвар, в цирк...

Там в денничке жеребец Асуан, свой брат-пенсионер, которому за старые заслуги дал кров все понимавший Юрий Владимирович Никулин, уже начинал волноваться в ожидании хозяина, тихим своим, а потом все погромче, ржаньем будил зверей, и один за другим они начинали реветь, мычать, рычать, захлебываться криком... нехорошо!

Морковочки старому Асуану, скорей — морковочки!

Можно и сахарку...

От «Крылатской» до «Цветного» почти полтора часа езды. Мне от моей «Савеловской» — всего пару остановок. Сколько раз я бывал свидетелем того, как Ирбек, подставляя под ждущие губы жеребца ладонь с конфеткой либо сухариком, миролюбиво выговаривал своему любимцу: «Разве можно, дурачок, разве можно?.. Тут бы еще спали да спали, а ты всех артистов разбудил... ай-яй.»

Дома у Ирбека стоял на полках собранный по всему миру большой, около сотни, табун лошадок: бронзовых, чугуновых, стеклянных, фарфоровых, из слоновой кости, из красного и черного дерева, из папье-маше, глины — каких только нет. Но живая лошадь одна: верный Асуан.

Потому-то и позволял себе то капризы, а то баловство... Есть коротенький, но удивительно емкий, лиричный фильм, снятый тогдашним выпускником ВГИКа Вадимом Цаликовым, который только на этом и построен: как стоящий у деревянной ограды просторного манежа Ирбек пытается подзвать Асуана, то ласково уговаривает его, то журит, и Асуан делает вид, что все понял, послушно идет к хозяину, но когда тот протягивает руку к уздечке, взбрыкивает, снова уносится на другой край и поворачивается мордой, глядит на Ирбека тоже с укором: оставил, мол, на конном заводе и столько не приезжал — думаешь, не ждал я тебя, не тосковал?!

Ирбеку ли его не понять?

Оттого-то он так печально великодушен, оттого с такой всепонимающей и всепрощающей любовью смотрит на Асуана... да что там!

Это вообще как будто мудрый взгляд царя природы на одного из самых верных и самоотверженных, самых любимых подданных...

И разве Асуан не знал, какой ответной любовью он пользовался?

Потому-то на людях, во время работы не подводил никогда...

Припоминались уже не лучшие дни Ирбека: как-то приехал посмотреть на его выступление в перерыве между Всероссийскими состязаниями конников... Грустные подробности его безденежной, неустроенной жизни были мне известны, как, может быть, никому другому, я волновался за него, но как безукоризненно точен в движениях, как грациозен во время танца был под ним умница Асуан!

Как только они закончили, я бросился поздравлять Ирбека. За недоуздок он вел Асуана на конюшню и я, пристроившись сбоку, обнял своего друга за плечи, пошел рядышком:

— Оказывается, джигит, в свои семьдесят с лишком ты чуть ли не в лучшей форме... здорово, Юра, просто здорово!

— Это Асуан, — сказал он, как бы не принимая похвалы на свой счет.

Мне пришлось согласиться:

— Да Асуан само собой — старый боец... а что это за музыка, под которую ты работал, напослони? Великолепная музыка!

— Думаешь, я её слышал? — спросил он насмешливо. — Говорю тебе, Асуан...

— Ты что, хочешь сказать, что даже не думал о нем?

— О нем-то как раз и думал, — сказал он горько. — Как его прокормить...

Глянул на меня сбоку, и столько в его взгляде было усталости!.. Не физической, вполне понятной после напряженного выступления, нет...

— Ничего пока нового — с Мариком?

— Пока нет.

На нем была черкеска ярко желтого цвета и косматая белая папаха, но и то другое заметно нуждалось если не в стиральном порошке, то в одежной щетке — наверняка... Впервые я это увидел почти с болью: всегда изящен, всегда щегольски одет, всегда свеж... Хочешь-не хочешь, давала себя знать затяжная болезнь Недды и свалившиеся на него домашние хлопоты: вдобавок к двум каждодневным — утром и вечером — поездкам в цирк, к Асуану.

Но главной заботой было другое: Маирбек подписал выгодный контракт с Саудовской Аравией, отработал там уже половину срока, но тут выяснилось, бумаги, составленные на русском и английском недействительны — необходим текст на арабском языке: мол, пустая формальность!

Цифры в бумагах остались те же, он все, не колеблясь, подписал, но не успели, как говорится, просохнуть чернила, как стало ясно, что конников самым вероломным образом кинули...

Мало того, что группа вернулась без заработка — осталась должна: в Саудах под залог арестовали всех лошадей, и, чтобы выкупить их, Маирбек должен был срочно найти пятьдесят тысяч долларов. Само собой, что за дело взялся отец...

... должен это сказать, хоть говорить стыдно.

И мой товарищ детства, впоследствии самый задушевный друг Жора Черчесов, Георгий Ефимович, которому обязан знакомством с Ирбеком, и все Кантемировы, с которыми я потом сошелся, волей-неволей внушили мне такое уважение к осетинам, что иногда я откровенно завидовал их спайке, их, казалось мне, в закон возведенной привычке помогать попавшим в беду, защищать слабых, выручать несправедливо обиженных...

Не то что у нас, у русаков: ни до кого не достучишься-не докричишься, никого на помощь не

дозовешься.

И как я радовался за изболевшегося душой Ирбека, как радовался за попавшего в беду Марика — великолепного наездника, но слишком простодушного администратора, как радовался, когда Юра однажды сказал с облегчением: мол, всё! Пятьдесят тысяч долларов ему пообещали твердо: дали слово! Кто пообещал? Конечно, осетин! Благородный человек: сказал, через два-три денька отправит с нарочным. У него очень мощная, знаменитая нынче в России фирма: пошли ей Великий Бог процветания и дальше!

«Нарочного» все не было, Ирбек решил позвонить, и благородный земляк ответил: все, все, человек с деньгами только что вышел от него, завтра будет в Москве.

— Не знаю, почему, но я вдруг переспросил, — рассказывал потом ошарашенный Ирбек. — Все пятьдесят тысяч?.. Пятьдесят, успокойся, пятьдесят! — благодетель мой говорит. Долларов? — переспрашиваю. Ну, увидишь, успокойся, увидишь! — он говорит.

На следующий день Ирбеку Кантемирову, и в самом деле, вручили под расписку пятьдесят тысяч.

Родных «деревянных»...

Такие нынче наши дела.

«Там он жил в тени сухих смоковниц, песни пел о солнечной Кастильи. Вспоминал сраженья и любовниц. Видел то пищали, то мантильи. Как всегда был дерзок и спокоен. И не знал ни зависти, ни злости...»

Это уже немного не о нем: дерзок был в молодости, когда пять лет подряд он, армейский чемпион, побеждал на всесоюзных соревнованиях. Когда вместе с отцом в «Смелых людях» ставил первые в отечественном кино конные трюки... Когда уже в почтенном возрасте снова садился на коня, чтобы впереди лавы «белых», уже в черкеске с генеральскими погонами, падать на всем скаку вместе с лошадей в фильме о гражданской войне.

Все остальное — правда.

До чего мягок, до чего добр, сердечен и обаятелен был он в обычной жизни. За все время нашей тридцатилетней дружбы не слышал от него дурного слова, и даже в анекдотах, которые он так любил и которые не однажды одалживал Никулину для передачи «С легким паром», скабрзные слова с удивительным мастерством заменял достаточно деликатными.

Один его задушевный тон чего стоил!.. Даже по телефону:

— Как ты там поживаешь? Хорошо? Значит, сегоняшние газеты уже просмотрел... Это как у одного чудака, знаешь, спрашивают: как живешь? Хорошо, говорит. А газеты читаешь?.. А как же! — говорит. — Откуда иначе знал бы, что живу хорошо!

Отсмеешься, а он опять:

— А с глазами как?.. Лучше не стало?.. И у меня тоже: не вижу денег!

Опять смеешься, хоть плакать хочется. Спросишь: чего это, мол, взялся с утра пораньше?

— Юра сейчас звонил. Никулин. Надо идти, говорит, на запись, а на душе... Из головы все анекдоты — как ветром... Какие там анекдоты, когда вся наша жизнь — один сплошной анекдот!. Но давай, говорит, с тобой наскребем!.. Скребли, скребли — хватит, говорит!.. Видишь, и для тебя ещё осталось маленько.

«... и не знал ни зависти, ни злости...»

Не знал, нет, — не знал!

«Смерть пришла, и предложил ей воин поиграть в изломанные кости...»

Чего-чего, а изломанных костей при таком-то, как у него, деле было достаточно... как он у «костлявой» тогда не выиграл!

Если бы это случилось в Москве, его бы скорее всего спасли... Или даже в Ростове, почти в родном городе: давно стал таким из-за старшего брата, Хасанбека, устроителя семейного музея Кантемировых... Не надо ему было садиться в седло, если неважно себя чувствовал!.. Или Асуан опять так бурно радовался его приезду, что не хотелось его огорчать?

И хоть хирурги в этом Целинном, недалеко от Ростова, сделали потом все что можно и все, говорят, что нельзя прободная язва оказалась сильнее... ещё бы!

Какие только беды и горести вместе с постоянными заботами о хлебе насущном для себя да о сенце для Асуана её не подпитывали, язву...

Поминальные столы были накрыты в одном из помещений, где конники МЧС занимались теорией: это была отработка Мухтарбека за проявленное Шойгу гостеприимство — обучение солдат-срочников и курсантов Академии верховой езде.

Поминальные!..

А давно ли, неволью думалось, давно ли за столом с похожими яствами слышался дружелюбный говорок Ирбека, одного из самых уважаемых людей осетинской общины в Москве — не даром же его избрали потом её главой... Давно ли он поднимался с бокалом в руке, чтобы сказать заздравный тост...

Но тогда на тарелках лежали по три больших пирога.

Теперь — два.

Остро ощущавший без него в среде осетин свое сиротство, пошел было в дальний конец стола, на то самое место, где по известной поговорке, никто тебя не попросит подвинуться, но садившиеся во главе стола старшие громко о чем-то заговорили, и дорогу мне вежливо преградили несколько молодых людей, чуть не торжественно повели обратно.

— Ты что это? — с нарочитым укором сказал генерал Ким Цаголов. — Не знаешь обычай?.. Даже если бы вы не были с Ирбеком знакомы, место твое здесь — ты давно смотрел в зеркало на свою седую головушку?.. А вы с ним друзья были. Говорить после меня будешь первым: готовься.

И я уселся вроде бы на привычном месте, в голове стола...

Только его не было, с кем, как друг, сидел всегда рядом.

И тут я и подумал: а что?

Разве не стоит сказать о том, как с запоздалой горечью только сейчас открыл для себя, что столько лет, не отдавая в этом себе отчета, дружил, выходит, с человеком, который был воплощением рыцарства в его современном виде?..

И какой, какой он был рыцарь!

Так слово свое и начал потом, как по дороге в голову пришло: с любимого стиха Эдгара По...

Как внимательно и с каким интересом все слушали!

С каким пониманием отнеслись ко всему, сказанному дальше! Как пылко, нарушая традицию застолья, тем более такого строгого, заговорили потом наперебой.

— Но ведь аланы и были первыми рыцарями! — начал врач Амирхан Торчинов, доктор наук, — сколько счастливых часов провели мы с ним вместе с Ирбеком! — Помнишь, конечно, эту работу Франка Кардини «Истоки европейского рыцарства»? Он там прямым текстом говорит, что из скифских степей аланы привезли его на своих лошадях... А книжка Бахраха «Аланы на Западе»?.. Так что Ирбек блестяще продолжил традицию... кстати!.. Ребята наши, знающие английский, переводят сейчас самую последнюю книжку о рыцарстве, которая только что вышла на Западе... Может, уже читал её — ты говорил, похоже, прямо по ней!

Не по ней я, конечно же, говорил: по пониманию сердца. По душе, тоскующей по неожиданно ушедшему старшему другу...

Кое-кто из русаков тут может подумать: дался ему старший друг!..

Но тут уж ничего не поделаешь: это либо есть, либо нет... Ясное осознание того, что ты — «часть тех, с кем встретиться пришлось». Слова какого-то достаточно известного философа, но не хочу рыться в старых записях либо в книжках копаться, искать — это давно стало и моим тоже... может, нехорошо?

Когда-то мы дружили со знаменитым нынче Радзинским...

В зимней Гагре ходили по набережной, и он ну, почти по часу подряд мог цитировать кого-то из древних мудрецов, подолгу наизусть читать Бунина либо себя, любимого... Я слушал и поражался: феноменальная память!

Юра, Юрий Павлович Казаков, прекрасный писатель, говоря о Бунине там же, в Гагре, только шмурыгал носом и начинал искать платок, забытый в «хашной», где в тот день похмелялся... Юра, Юра!

Так вот, не стану долго объяснять, но так вышло, что очень ершистый в молодости и по этой причине оставшийся без щедрых учителей и добрых наставников, уже в зрелом возрасте я имел счастье подружиться с двумя великими, потом это многие поймут, кавказцами: с черкесом Аскером Евтыхом, прекрасным писателем, — называю его первым, потому что он на десяток лет старше Юры — и с Юрой-Ирбеком... Дело, в общем-то, достаточно простое: либо ты младший, либо — старший. Но на Кавказе это еще и традиция: должным образом к этому относиться. Так почему, чтя память моих добрых товарищей, я, тоже кавказец — родившийся на Кавказе кубанский казак — должен ей изменять?

Речь моя, судя по всему, задела Мишу за живое — грустный до того, почти потерянный, он вдруг повеселел:

— Кому-то я об этом уже рассказывал... многим — нет, сейчас расскажу. Как-то пригласили нас в один старинный итальянский городок, который считается центром сохранения рыцарских традиций... вообще рыцарства. Каждый год в один и тот же день со всей Европы туда приезжают с коневозками, привозят снаряжение... а мы были в первый раз, вы представляете? Незнакомы ни с правилами турнира, ни с тем, на что способны участники... И лошадки не привыкшие к нам, а чужие... И вдруг мы всех побеждаем, вдруг берем все призы. Деньги ладно, но там еще — наградные шлем, щит, копье, рукавицы, латы... Сгребаем все это, и тут вдруг слышатся жалкие голоса, чуть ли не мольба: пощадите нас, будьте великодушны!.. Все эти призы никогда не покидали пределов города, все оставалось в его стенах... Победители всегда жили тут!

Миша прямо-таки светился, когда об этом рассказывал!

— Предлагали остаться? — раздался голоса.

— Хоть деньги-то вы взяли?

— Они были так удручены, что сразу ничего не сказали, — вздохнул Мухтарбек, уже как бы потухая.
— Но потом оттуда пришло письмо, где как раз обо всем об этом и говорилось... Приглашали приезжать... обещали гражданство...

— И даже «конный театр»? — наступил кто-то на большую мозоль.

Миша сказал печально:

— Представьте себе: они его, и в самом деле, обещали...

— Говорят, что в Москве, наконец, приняли решение... так это, Мухтарбек?

Миша печально покачал головой...

Почти столько же, сколько его знаю, слышу это бесконечное: будет, наконец, в столице Конный театр... построят там-то и там-то. Несколько раз вместе с Мишей отправлялся и я осматривать место... Если хотя бы часть этих обещаний исполнилась, то на месте элитных домов для «новых русских» — армян, азербайджанцев, евреев, выходцев из Средней Азии и всех концов бывшего необъятного Союза — стояли бы конные театры... куда не пойдешь — непременно на конный театр наткнулся бы...

Когда все стали потихоньку прощаться, Миша, провожавший нас с Амирханом к его машине, задержал меня у дверцы:

— Скажи: будешь готов лететь во Владикавказ на годовщину Юрика?

— Без разговоров! — ответил я коротко.

— Обещали помочь с деньгами, ты будь готов...

— Как пионер!

— Я тут кое-что написал, хочу сказать там... может, посмотришь? Сунул руку под борт пиджака, достал из кармана несколько свернутых листков, и я переложил их к себе.

Дома прочитал первым делом, и сердце кольнуло острое сочувствие Мише... что изменить?!

Как вообще можно подправлять горький крик раненого судьбой на полном скаку горячего всадника!

«Дорогие мои земляки-осетины и не говорящие по-осетински, но чьи корни также в этой земле, возрадившей великое множество героев-мужчин и достойнейших женщин, чья жизнь и деяния были примером не одному поколению людей!

Прошу меня простить, но я начну свое обращение на осетинском...

Мои дорогие старшие — достойные уважения мужчины и любезные женщины, наша сильная и красивая молодежь — надежда нации, позвольте вас поблагодарить за то уважение к нашему труду, которое помогает нам быть на должной высоте.

Сегодня мы отмечаем годовщину со дня ухода из жизни Ирбека, который всегда был кумиром для меня и десятков своих учеников.

С Вашего позволения я хочу поделиться с Вами не совсем радужными своими мыслями.

Наше несчастье в том, что мы сильны задним умом. Потеряв достойного человека, начинаем горевать и восхвалять его деяния — лучше бы ценили их и берегли при жизни, это бесценные и невозполнимые потери, наша страна — страна умерших героев. К сожалению, когда достойный человек выделяется над толпой, то он невольно служит укором для тех неправедных деятелей, кому хочется править бессловесным стадом послушного и забитого скота.

Мы не лица кавказской национальности, а достойная уважения нация, чьи сыны из века в век нерушимой стеной стояли за Россию и должны быть ею уважаемы.

По праву старшего я хочу обратиться к молодежи Осетии: всколыхнитесь и вспомните, какие достойные подражания у Вас были предки, на протяжении десятков веков мы боролись с несправедливостью и злом; могучий Рим трепетал при словах „Аланы идут!“ Ценой огромной крови мы разбили гуннов.

Это мы здесь забыли, а на Западе помнят, что рыцарский кодекс выработан могучими аланскими всадниками, за круглым столом короля Артура сидели аланские рыцари, так неужели мы посрамим их честь?!

Наш дорогой Ирбек никогда не забывал, чье знамя он подхватил, это был настоящий рыцарь без страха и упрека, он и умер как рыцарь — слез с коня и ушел в лучший мир, оставив за собой шлейф добрых, достойных подражания дел.

И за пиршественным столом, и в труде, и в армии он всегда был ярким примером, став пятикратным чемпионом страны и Народным артистом СССР.

В цирке не было равных ему наездников, это кумир, которого можно смело поставить в один ряд с великими нартами Сосланом, Батрадзом и Урызмагом, с нашими великими борцами-вольниками: я, как и он, боготворю Бази Кулаева, которого он любил как родного брата. Есть ещё много наших земляков, которых он уважал за их достойные дела и гордился ими.

Обидно, что сегодня мы превратились в застольных героев, красиво говорить не самое главное качество для человека в штанах. Встав из-за стола, человек своими поступками должен доказать, что он достоин звания осетинского мужчины.

Ирбек всегда гордился, что он осетин и никогда не ронял чести своего народа.

Десятки, а, может, сотни его учеников, соратников и последователей и здесь, в Осетии, и за рубежом помнят, что он все свои знания, все умение щедро отдавал молодежи, его девизом были слова нашего великого отца Алибека — дающий всегда богаче берущего.

Он от чистого сердца отдавал все, что знал и умел, он говорил — в гробу карманов нет, все остается людям, важнее всего, какой след увидят за тобой здесь, на земле.

Если я совершил в жизни что-то достойное, избежал постыдных для мужчины поступков, то это во многом благодаря ему — после ухода родителей, прежде чем что-то сделать, я всегда задумывался, как на это посмотрит Ирбек, и так до последних дней, хотя я уже разменял седьмой десяток.

Мы, его последователи, дали слово, если сделаем что-то достойное его памяти, то назовем его добрым именем.

Мои дорогие земляки, ещё раз благодарю Вас за то уважение, которое Вы оказали ему и нам, всем Кантемировым, когда мы провожали его — это была потеря не только нашей фамилии, Осетия потеряла достойнейшего своего сына.

Штыр бужныг хуцау хоржах уа уот.»

С деньгами Мишу в очередной раз подвели, он полетел один, полетел неожиданно — несколько исписанных крупным его почерком листков так у меня и остались...

И тогда, как в первый раз прочитал мишины листки, и теперь, когда уже тут, в Майкопе перепечатаваю их для очередной своей работы о Кантемировых, не перестаю удивляться странному на первый взгляд совпадению: я по дороге на поминки Ирбека начинаю бормотать любимые стихи из «рыцарского цикла» и тут вдруг впервые так ясно осознаю, что столько лет дружил с настоящим рыцарем, одним из самых последних, может быть, на грешной нашей земле... За поминальным столом говорю об этом печальное слово, и первым меня поддерживает лучше многих других знавший Ирбека умница и добряк Торчинов, один из самых уважаемых людей из осетинской диаспоры, а Миша, так остро переживший потерю старшего брата, достает потом из кармана заготовленную накануне речь — о том же самом. Только и того, что написана она на осетинский, на эмоциональный кавказский лад...

Все думали об одном и том же? Все одинаково оценивали нравственные уроки Ирбека?..

Но неужели и мы тоже — только после его ухода?.. Неужели, и правда, живем мы в стране умерших героев?

Мы все.

В дни этих грустных размышлений получил присланную из Москвы газету «День литературы», в которой один из секретарей Союза писателей России, самый молодой и самый деятельный Николай Переяслов, сам писатель с хорошим пером, в обзоре последних книжных новинок пишет и о романе моего кунака-черкеса Юнуса Чуяко «Милосердие Черных гор или смерть за Черной речкой», над переводом которого сидел я прошлой зимой в Майкопе... Роман многоплановый, сложный, с несколькими временными пластами: здесь и прошлая Кавказская война, и попытка флигель-адъютанта императорского конвоя черкесского полковника Хан Гирея доказать в своих записках на имя Государя Николая Павловича возможность решения межплеменных, межнациональных проблем на Юге мирными средствами... Здесь одна и другая поездка Пушкина на Кавказ, счастливое возвращение и трагическая дуэль на родине. Здесь аульская жизнь после Великой Отечественной, сплотившей Россию в жестокой борьбе с немцами, и нынешняя война — разъединяющая страну чеченская.

Мне пришлось удивиться, как в коротеньком тексте Переяслов сумел сказать о «Милосердии Черных гор», пожалуй, самое главное, но вот ещё что: он процитировал «Белые стихи о Черных горах», мои стихи из письма к Юнусу, которыми он заключил свой роман-гыбзе, роман-плач.

С печалью подумалось: может быть, это знак?.. И в «Рыцарский цикл» со знаменитыми чужими строчками стоит включить мало кому известные — горькие свои?

Вот он, этот «Белый стих о Черных горах»:

Как могло получиться,

что рыцари Кавказа

стали надевать

ожидающим их невестам

не пояса верности,

но — пояса шахидов?

Или невесты надевают их сами,
и они-то как раз и есть —
пояса верности
нашему седому Кавказу?
И как получиться могло,
что на глазах русских рыцарей
Кавказ —
«наборный пояс» России —
пьяная тварь
превратила
в один почти сплошной
пояс шахида?!

«Мы бы и сами хотели получить ответ на этот вопрос, — продолжает в своем обзоре Николай Переяслов, — да вот только ответчика от нас до сих пор прячут на даче в Горках, защищая его какими-то надконституционными льготами и привилегиями...»

Может, об этом не стоило?

Может быть.

Если бы привилегии эти, которых вышеозначенный деятель «проглотил, сколько смог проглотить», другим концом не ударили по тому, что, не щадя себя, поколениями поддерживали и продолжали создавать истинные хранители великого народного Духа, ревнители лучших национальных традиций, в том числе и кавказских.

На внутренней стороне обложки небольшой книжечки Бернарда С. Бахраха «Аланы на Западе», подаренной мне Ирбеком летом 1998 года, после братских его благопожеланий следуют слова: «...в это трудное время произвола и беззакония.»

Время это мы понимали одинаково.

... Мысленно опять возвращаюсь к хлебу-соли, за которыми сидели мы прошлой весной в Новогорске у Миши, поминая Ирбека.

Само собой, что сообразно нашим воспоминаниям менялось общее настроение за столом — то все впадали в печаль и замолкали, а то вдруг начинали говорить громко и радостно: а помнишь, помнишь?!

Для того ведь и собираемся: снова вдохнуть жизнь в дорогие образы.

Может, и сами при этом становились моложе?

Меня всегда восхищала одна особенная мишина черта, для его богатырской внешности на первый взгляд как бы странная: никогда не скажет «отец». Непременно: папа. Также обязательно: мама. Ирбек — только Юрик.

— Помню, как учил меня петь и танцевать. Ему скоро десять, уже все умеет, а мне только три... И вот мама играет на гармошке, и сначала он пляшет и поет, а потом должен я... А, знаешь, что пели? .. Помню, как у мамы горели щеки, как за нас радовались глаза... Она играет, Юрик на меня придирчиво смотрит, а я кричу во все горло: «Казбек-отец и мать-Кура прислали чару нам вина!.. И за здоровье Кавказа мы выпьем чару без отказа! Аль в схватке, аль в какой беде — кавказцы первые везде!» И в конце обязательно: «Алаверды!..»

Кантемировым это удалось, Мухтарбек!

Быть первыми. Несмотря ни на что.

И Юрику.

Ирбеку Алибековичу Кантемирову, светлая ему память.

И — здравствуй ещё многие годы! — тебе.

Алаверды!..

В день твоего рождения.

Алаверды!

ГОРБАТЫЙ МОСТ

Нет-нет, недаром тогда в командирской рубке «Азова» подначивал меня не кто иной — сам главный штурман Военно-Морского Флота России:

— Еще раз посмотрите, — нарочно строго настаивал. — Хата под соломенной крышей... Казак в черкеске. Конь рядом... неужели не видите?

Разумеется, я посмеивался: ладно, мол, Евгений Геннадьич, ладно — хватит «юнгю» разыгрывать! Какие соломенные крыши? Какие там нынче могут быть казаки? Какие кони?!

— А вы посмотрите, посмотрите!

Я снова преникал к окулярам хорошо настроенного прибора, опять поворачивал его мощные линзы, медленно скользил взглядом от одного покатога окончания острова к другому, почти такому же: выгоревший к середине лета, с коричневатыми проплешинами пустынный холм, распластавшийся над синей полосой моря... Серый, судя по окраске военный, катерок неподалеку от еле заметного причала рядом с одиноким белым зданьцем на берегу и несколько слабо различимых домишек поближе к вершине... деревенька?

Греческий остров Лемнос, на котором после гражданской войны бедовали казаки-эмигранты. Как называли они его, Ломонос...

— Ну, что — видите? — настаивал Главный штурман.

Тогда я так ничего и не разглядел.

Зато через два-три года!..

Какие дали стали мне открываться вдруг дома, в Москве, когда стоял, ткнувшись лбом в оконное стекло на своем двенадцатом этаже на Бутырской улице... Какие видения вдруг возникли потом в Сибири, в нищем теперь, совсем почти провалившемся под землю Прокопьевске! Что я увидел потом на Кубани и Северном Кавказе: не только в Черных горах, но, вот ведь какое дело, — высоко над ними, чуть ли не в небе!

К Лемносу мы шли тогда, как понимаю, не торопясь, потому что за нашими тремя БДК — большими десантными кораблями с миротворцами для Косова на борту и с техникой в трюмах — следовали ещё два почти таких же: пропустить через Босфор все корабли сразу турки отказались, отряду предстояло соединиться уже после прохода через пролив — как раз возле Лемноса, в «точке четырнадцать».

Прекрасно понимаю, что это «мы шли» звучит примерно также, как известное заявление мухи, сидевшей в поле на рогах у вола: мы пахали. Но что было, то было: писательская судьба неожиданно, как сперва показалось, подарила мне, истосковавшемуся за последние годы, давно заждавшемуся хоть какой-то перемены жизни романтику и этот морской поход, и позднее, а потому как бы уже слегка насмешливое посвящение в моряки с традиционным подношением стакана соленой заборной воды — вместе с тельником и черной пилоткой...

Ранней пташкой я был всегда, а тут вдруг такая возможность — встречать солнце в открытом море. Несколько дней подряд я первым появлялся на полубаке рядом с головными каютами и долго простаивал в полном, благословенном одиночестве, но в тот день, как нарочно, поднялся поздней обычного: это-то и дало Евгению Геннадьевичу Бабинову повод надо мною пошучивать.

— Я полагал, юнга...

Он первый так назвал меня день назад, протягивая подписанный на память о нашем походе «Устав корабельной службы».

— ... полагал, вы все это как раз и разглядите: недаром мы с вами вчера — столько о Лемносе...

Как в похожих случаях, когда оказываешься в местах достопримечательных, подобает, я попробовал вызвать в воображении почерпнутые из книжек картинки былого... Вот двое-трое казачков, само собою — в подштанниках, как без них, медленно входят в холодную воду, поднимается уже до креста на груди, и они задирают руки: в правой шашка или кинжал, а левая как бы заодно с ней покачивается... Увидит осьминога сквозь толщу моря или придется нырять за ним?

Подумать, и в самом деле: только в страшном сне и могло привидеться, что на «вострую» шашку сперва придется насаживать эту морскую гадину, а после пластать её на студенистые ленты на берегу — подсохнет, и за первый сорт пойдет на еду, а то, глядишь, чего-нито дадут за неё местные греки, тоже уже успели распробовать... голь на выдумки хитра, эх! Тем более эта голь: теперь без отечества, теперь, и правда что, — перекатная...

А что кунаки-черкесы?

Ещё недавно одною лавой неслись на красных, но вот англичане, эти иезуиты, придумали, что охранять казаков должны горцы — и ещё как теперь охраняют, вошли в роль... Никак не могут англикашки простить свой проигрыш в давней Кавказской войне — ну, никак!

Может быть, кроме прочего под австрийским Лиенцем продали потом Сталину казачков ещё по той же причине?..

Отомстить, наконец-то, казакам: Кавказскую войну выигравшим.

И вот пробовал я все это, значит, представить на местности — и палаточный лагерь с походною церковкой, и горькую песню из одних мужских голосов, — но шло оно вяло, и оттого, что час одиночества я проспал, казалось теперь как бы нарочитым.

Вспомнил вдруг картину Сергея Гавриляченко «Лемнос», висящую у него в мастерской в Москве: несколько стоящих на голом берегу одетых уже не по форме казаков печально, с безнадеей в глазах всматриваются в морскую даль... угу! — теперь думаю. Уж не наш ли, пришедший сюда через восемь десятков лет БДК «Азов» они высматривают?..

Но ведь зачем-то он пришел сюда, наш «Азов». Зачем-то я на нем оказался!..

Оставил в покое окуляры, вышли с Евгением Геннадьевичем из командирской рубки на боковой мостик, и тут я увидел, что неподалеку от нас — уже не два корабля, как было с вечера, а три.

— Четвертый «десантник» подошел, а пятого ещё нет? — спросил у Главного штурмана.

— «Десантники» оба пока на подходе, — сказал он будничным тоном. — А это ночью догнал нас шахтёр...

Я прямо-таки возмутился:

— Какой ещё посреди моря шахтёр?

— Спасатель, — улыбнулся штурман. — «Шахтер» у него название... да вон, вон — и отсюда буквы видать, — и вдруг вдохновился. — Сауна там, между прочим, скажу я вам... Если ещё задержимся, может, катер вызовем? Мне-то все равно туда надо...

— Нет, но откуда он тут взялся: «Шахтёр»?

— А разве я вам не говорил? — с дружелюбным терпением начал Евгений Геннадьевич. — Он тут неподалеку болтался, а когда мы вышли в Салоники, из Главного штаба получил приказ в точке «четырнадцать» к нам присоединиться, — и глянул на меня повнимательней. — Он вам чем-то не нравится?

Мало того!

«Не нравится» — слабо сказано...

Но как тут все объяснишь?

В жизни каждого из нас есть сокровенное, как бы ствольное начало и есть ответвления, есть побег, среди которых, кажется иногда, много не только лишних, но, может быть, для дерева даже вредных...

Таким когда-то считали дружки мой давний побег из Москвы на сибирскую стройку... если быть точным и воспользоваться предосудительными нынче, полузабытыми терминами — на ударную комсомольскую стройку. Когда-то мне уже приходилось писать, как следовало потом за мной по пятам моё «ударное» прошлое: в доме творчества в тихих зимаю Гаграх Юрий Павлович Казаков, которому понравились мои рассказы тех лет, наставлял меня: «Забудь это слово — Запсиб, и будешь хороший русский писатель...»

Забудешь тут, как же!

Кто в детстве о море не мечтал?.. После школы я собирался поступать в военно-морскую медицинскую академию, но на комиссии в военкомате вдруг обнаружилось: у меня — дальтонизм. Якобы не могу цвета различать... Пришлось о море забыть. Но через столько десятков лет вдруг сбылось: я на военном корабле! В дальнем морском походе. В роли журналиста, правда. Но, слава Богу: чем эта роль плоха?.. Целый день слоняюсь от кормы к носу, разговариваю с матросиками-первогодками: по поручению командира похода контр-адмирала Владимира Львовича Васюкова пытаюсь восполнить «дефицит общения», с которым, словно с заразной болезнью, прибыли на службу ребята из дальних, вымирающих нынче сел... С рабочих окраин малых сибирских городов, где тоже мало разговаривают: если что, сразу — в морду...

Благополучных детишек среди морячков, считай, нет. Как и вообще нынче — в армии: откупают родители.

Между разговорами с морячками, нет-нет и приткнувшись к офицерскому кружку: кап-раз, — два, — три наперебой вспоминали, как в Средиземном море еще недавно держали в страхе военные корабли «америкосов» — у этих «дефицит понимания», «дефицит сочувствия», а мне ли как раз их не понимать?.. Мне ли им не сочувствовать?

И вот оно: Черное море, Босфор, длинный галиполийский полуостров, на который высадили русских эмигрантов из офицерского корпуса, потом — «казачий» Лемнос... сама история!

Тем более для меня: кубанца... да что там Кубань, что казаки!

Когда прошли Босфор, позади остался Стамбул, из командирской рубки выглянул Васюков, позвал глазами к бортовым окулярам, где нет-нет, да баловали меня наблюдатели: давали иной раз всмотреться в берег.

— Отсюда ничего не увидите, — сказал с нарочитым сожалением. — Но в тридцати километрах справа по борту — то, что осталось от легендарной Трои... попробуйте представить. Почувствовать!..

Не самое ли время вспомнить новейшие исследования, основанные на полунамеках древних историков: Гектор был славянин, под стенами Трои стояли наши... русский космос! До которого, к сожалению, так редко приходится теперь подниматься.

В далеком Мраморном море, на «Азове», ощущение его тонко кольнуло душу, но вот — нате вам: невесть откуда появляется спасатель «Шахтер», напоминающий мне, «совку» беспросветному, рабское, как уверяют теперь клеймо: сибирское мое, «ударно-комсомольское» прошлое...

В удобной двухместной каюте, которую занимал я один, подсел к столу, пододвинул к себе записную книжку, рядом положил ручку и, прежде чем взяться за описание острова, встал и левой рукой повыше уровня глаз поднял овальную, в кожаном окладце иконку святого Георгия, подаренную мне Мухтарбеком Кантемировым как раз для этой цели — для покровительства Уастырджи, как его зовут осетины, в дальних путешествиях, на незнакомых дорогах...

«Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Отца!.. Ты рекл еси пречистыми Твоими усты: яко без мене не можете творити ничесоже...»

Молитва перед началом всякого дела...

И тут вдруг пришло: Ирбек Кантемиров, Юра, старший-то братец Мухтарбека — большой друг и почитатель шахтеров, да-а-а...

Сколько мне принимался рассказывать!

— Можешь поверить?.. Первые после войны гастроли были у нас в Прокопьевске, отец нас туда повез, и я, ну, как прикипел к нему... удивительный город!.. Весь на буграх, и народ какой-то особенный: хоть где-нибудь на горе, хоть на краю провала, а непременно — свой дом с коровой и с

кобелем на цепи... Обязательно мотоцикл. А с работы он, знаешь, как идет?.. Почти у каждого на лице синие крапинки от угля и черные круги возле глаз. На левом плече за петельку пиджак поддерживает, а в правой у него в пальцах — две бутылки водки. Обязательно две. Не прячет, ни от кого не скрывает — даже как бы наоборот. Даже как бы гордится: а мне наплевать, кто что обо мне подумает... Отработал — иду отдыхать. А приходит в цирк — ну, что откуда берется! Всю страну объехали, где только не бывали, но таких душевных зрителей, как в Прокопьевске, таких понимающих — больше нигде. Как они аплодируют!.. Руки, и правда, отбивают. Кричат, вскакивают, на шею друг дружке бросаются. Плачут как дети... слезы утирают, ты веришь?.. А после представления — не отошьешься. Хватают под руки: пойдём в ресторан!.. Мы к этому, ресторану, веришь, настолько привыкли, и официанты с поварами к нам — тоже, что когда и без них, бывало, без шахтеров, придешь уже поздно, а он закрыт, ресторан... Постучишь, а батя в дверях, швейцар: а-а, осетины!.. Чего припоздали?.. Ну, проходи-проходи!.. Не-ет, что ты: в Прокопьевске удивительный зритель. И отец любил туда возвращаться, и я, когда остался за него... Собираешься на гастроли в Сибирь, и если есть выбор — обязательно говорю: мне — Прокопьевск!

И так живо представил я рассказы Ирбека об этом самом Прокопьевске, о Прокопе, как называли его мы, жители соседнего Сталинска, в один момент ставшего потом Новокузнецком, попросту — Кузней... Так живо, что встал из-за стола, вышел из каюты на полубак и долго там стоял, вглядываясь в очертания судна-спасателя... ну, надо же!

Уходишь от Сибири, от стальной, от черной от угля страны своей молодости, как любил я когда-то обозначать те края, а все равно он, «Шахтер» — вот он!

Ты от него — за тридевять земель, а он тебя уже поджидает в «точке четырнадцать» возле греческого острова Лемнос: и здесь догнал!

Так это и осталось у меня в сознании, как гвоздь в белой стене, на которой ничего больше нет: Мраморное море за Босфором, остров Лемнос, на котором бедовали казаки, и вдруг... вдруг...

Сперва там, а позже в иных краях все чаще начал припоминать наши с Юрой былые разговоры об этой неумытой, провальной Прокопе...

Как бы между делом в очередной раз сообщаю ему, что снова лечу в Новокузнецк, а он — тут же:

— А в Прокопьевске ты не будешь? Не заглянешь туда?.. Я там — уже давненько, эх... Интересные места. И такие названия. Прокопьевск — это сам город, а железнодорожная станция там, если помнишь, — Усяты...

— А зритель та-ам, — начинал ему в тон.

И он ловился:

— Да что ты!.. Это я тебе говорю: такого зрителя нигде больше — ни по стране, ни за рубежом. Даже мексиканцы... ну, выстрелит вверх из револьвера: этим он все сказал. Но чтобы так радоваться и так понимать...

Конечно, мне это представлялось немножко странным: все эти воспоминания Юры о Прокопе. Как-то не без подначки спросил его: что ты, мол, все Прокопьевск да Прокопьевск — может, там у тебя любовь была и никак не можешь забыть?

Нет, отвечает. Ты понимаешь: там зритель особенный. И места, места... Городок, может, помнишь, в тех же краях: Бачаты. А по дороге в Кемерово...

— Ясно, ясно! — говорю. — Барачаты!

— Это ведь наше: барачет бысын. Пожелание изобилия...

И я подхватывал:

— Вот-вот. Изобилие ему!.. Да барачаты — это всего-навсего маленькие бараки... изобилие ему, эх!.. Забыл уже? Я тебе читал как-то: стихи моей молодости об этих местах?..

— Припоминаю что-то, но...

И я становился в позу: расправлял плечи и пальцами туда и сюда вел по усам:

— Расправил я Усяты, взял руки под Бачаты...

И Юра начинал улыбаться:

— Ну-ну?

И я вскидывал на уровне груди растопыренную пятерню:

— Да что же вы, девчаты, забились в Барачаты?!

Отсмеявшись, он просил:

— Ты мне перепиши их.

— Да зачем тебе?

— А ты думаешь, один я те места вспоминаю?.. Поеду в Осетию. прочитаю старым наездникам, они тоже все вспоминают Прокопьевск... как ты говоришь? Прокопу...

Далась им, думал я, эта разбросанная на черных шахтовых выработках грязная и почти бесконечная Прокопа, без всякой границы переходящая в такой же мрачный соседний горняцкий город — Киселевск. Страшный этот, похожий на раковую опухоль сдвоенный «мегаполис» шутники-старожилы называют: Киселепьевск.

Потом случилась одна маленькая история, которую помню, кажется, по минутам: настолько она была в духе Ирбека, в его широком, щедром характере...

Летом 98-го приехавшие из разных концов России шахтеры стали палаточным лагерем вокруг Горбатого моста у Белого, будь он неладен, дома...

Сам я к этому времени уже окончательно распрощался с иллюзиями черной от угольной пыли «бархатной революции», уже печально посмеивался над обманутыми горняками, и к Горбатову мосту не спешил: зачем лишние разочарования...

Но тут вдруг мне позвонил адыгейский писатель Аскер Евтых, которому тогда уже перевалило за восемьдесят и решительным голосом предупредил, что вечером его не будет дома: хочет поехать к Горбатову мосту, отвезти шахтерам несколько бутылок минеральной воды — на улице вон какая жара, а по телевизору передали, что они там помирают от жажды... что ты с ним будешь делать!

Совсем недавно ушла из жизни его жена Валентина Николаевна, Валечка, которую он, и правда, боготворил и о которой написал потом свою последнюю повесть: «Я — кенгуру». О том, что любовь к этой мягкой, деликатной, ласковой женщине всегда носил в сердце бережно, как далекое экзотическое животное носит в сумке на животе своих малышей... ах, Аскер, Аскер! Солдат в переводе с арабского, боец, всю жизнь — из-за вероломного предательства младших искателей

славы на родине, в Адыгее — и в самом деле, ведший в Москве суровую жизнь одинокого воина-отшельника, сам он тоже был трогателен, как ребенок, и чист, и дружбу с ним вспоминаю теперь с болью и радостью, задним числом принимая её как большой подарок судьбы...

Оставшись один как перст, Аскер явно затосковал и, пытаясь хоть как-то поддержать его, я, как младший, каждый вечер набирал его номер, а он, аульский хитрец, отдаривался тем, что, позвонив иногда, непререкаемым тоном просил пригласить к телефону «Ларису Александровну» — мою жену. Хотел с ней якобы по каким-то хозяйственным делам посоветоваться, а на самом деле — расспросить о Майкопе: и ей, бывшей майкопчанке, сделать приятное, и самому душу отвести...

Лето стояло, и действительно, жаркое, был август, и он задышался там на своем двенадцатом этаже, выходил в основном только за хлебом да за лекарствами и вдруг умудрился загрипповать... Приходить к себе запретил категорически, а я как раз купил ему громадный астраханский арбуз. После долгих споров сошлись на том, что в лифте я поднимусь на этаж, на виду у него оставлю арбуз на площадке и тут же захлопну дверцу, укачу вниз.

Все так и было: он, полный властной значительности, в одних трусах уже стоял на площадке, я выложил арбуз, поднял в приветствии ладонь, нажал кнопку... Подходил уж к собственной двери тоже на двенадцатом, на Бутырской, когда вдруг подумал: арбуз никак не меньше десяти килограммов, нарочно такой выбрал — сделать понимающему человеку приятное... Но как же он его затащит в квартиру — после недавнего инфаркта больше двух килограммов поднимать ему запретили категорически!..

Первым делом бросился к телефону, набрал номер.

— Молодость пришлось вспомнить, — посмеиваясь, сказал Аскер. — Ногой катил арбуз по площадке, а после из прихожей гнал на кухню... постинфарктный футбол!

И вот услышал, видите ли, по телевизору, что шахтерикам, бугаям этим, нечего пить и собрался нести им минералку!

Старая школа?.. Благородное сердце?

Благородное черкесское сердце.

Мне, и правда что, повезло: в этом они с Ирбеком словно соперничали...

В ту пору Ирбек был во Владикавказе, а когда вернулся в Москву, сам я на Горбатый мост ходил уже как на службу: «думскому» журналу «Российская Федерация сегодня», где в то время работал, потребовался очерк о рабочем движении.

— Бываешь там? — обрадовался Ирбек. — Давай сходим вместе: хочу посмотреть, что там на самом деле...

— Я думал, ты осетин решил поддержать...

— Откуда им взяться там? — удивился Ирбек.

— Да вот нашел одного. Специально для тебя.

— А как фамилия?

— Дзуцев. Тезка твой. Тоже — Ирбек.

— Дзуцев... Дзуцев, — повторил он, пытаясь, видно, припомнить. — А по отчеству?

— Может, тебе также — объем грудной клетки и размер обуви?

— Завтра у тебя будет время? — спросил он решительно.

Назавтра мы встретились у станции метро «Краснопресненская». Возле ближайшего киоска я достал бумажник, и он тоже полез за деньгами.

— Что ты обычно берешь ребятам?

Посмеиваясь, взялся ему рассказывать:

— Это даже как бы не я. Мне тут Аскер... Рвался отнести мужичкам воды, а у самого сердчишко, рассказывал тебе, еле тянет. Куда по такой жаре? Дал ему слово, что вместо него непременно отнесу, и с тех пор у меня проблем нет: беру две бутылки по два литра или три «полторашки». И раздаю ребятам: от черкесского писателя Аскера Евтыха, говорю...

Он остановил мою руку с бумажником:

— Сегодня будем — от осетин, погоди... Надо было, правда, какую-нибудь сумку, а то в руках как-то...

— Джигиту, оно вроде и с сумкой не к лицу? — пошучивал я, снимая с плеча свою. — Давай! Так и быть, носить будет русский Санчо Панса, а раздавать — осетинский Дон Кихот...

Пошли мимо стадиона с высокой, окрашенной в черный цвет железной оградой, на которой в траурных рамках с красными тряпицами по бокам густо висели фотокарточки погибших в 93-ем году.

Мой друг остановился:

— Сколько ж тут народу тогда положили?

— Не знаю, Юра, — сказал я. — По официальным цифрам — что-то около четырех сотен... А знающие ребята говорят, что по ночам ещё долго сносили на баржи и увозили куда-то за город: никак не меньше трех тысяч...

Он стащил свою летнюю кепочку:

— Где мы, слушай, живем? В какой теперь стране?

Постояли с ним на краю палаточного городка, осматривая как будто в большой чаше расположенный чуть внизу шахтерский лагерь, и он спросил:

— Так где, говоришь, мой тезка?

— С него начнём?

Но прежде мы наткнулись на другого...

Поперек набитой в порыжевшей траве тропинки, явно в позе «поддатого», лежало большое, в рост человека чучело с перекошенным в пьяной улыбке хорошо знакомым лицом...

— Это он на рельсах, что ли? — нехотя улыбнулся Ирбек.

— Вчера на рельсах и был, — повел я рукой. — Да вон они, чуть в сторонке.

— А это, значит, отполз?

— Может, кто оттащил... пожалели!

Мимо торопливо прошел небритый мужичок в трусах и в майке, но с шахтерской каской на голове. Перешагнув через «царя Бориса», пошел было дальше, но вдруг вернулся, деловито попинал чучело ногами грубых ботинок, обтер потом об него бока своих башмаков и задники, заспешил дальше...

Обувь, считай, почистил...

— Тебе не стыдно? — горько спросил Ирбек, поведя глазами на чучело. — Не за него. За нас?

— Стыдно, Юра.

— Когда за границей выступали, батя всегда говорил: джигиты!.. Пусть каждый помнит! За ним — Советский Союз и Россия. Россия и Кавказ. Кавказ и Осетия. Осетия и село, где родился...

Голос у него дрогнул, но у меня и без того уже щипнуло глаза.

Когда вышли на край, где стояла крошечная палатка Ирбека Дзуцева и я указал на неё глазами, друг мой протянул руку к сумке с бутылками воды:

— Дашь одну?

По тону его понял, что с тезкой своим хочет поговорить один на один.

— Побуду пока во-он у той большой палатки, запомнишь? — спросил Ирбека. — Найдешь меня возле неё: палатка любимых твоих прокопчан...

У земляка он пробыл долго. О чем они там тогда, два Ирбека, два таких разных человека, беседовали?

В папке с архивами Кантемировых до сих пор у меня хранятся листки со стихами тульского шахтера Ирбека Дзуцева — явно автобиографическими:

Жаждающий Атлантики воздуха вдохнуть,

Потерял надежду — как её вернуть?

Потерял квартиру, потерял семью —

Янки обнадёжили, ясно почему.

Я на баррикадах цепи разрывал,

Ельцин-разрушитель крепче заковал.

Наглая бездарность якобы реформ —

Перешли в России на подножный корм.

Где же ты, Америка золотых ворот?

И горит ли факел Статуи Свобод?

Дата внизу: март 1995 года.

А вот два года спустя:

Обманным путем у народа

Вы отняли право на труд.

Товары заморского рода

Потоком в Россию текут.

Зачем россиянам работать?

Не лучше ли всем торговать?

И тут же две коротких строки: «Спасибо, Ельцин, за значок — но я уже не дурачок!»

Прозрел наш туляк, прозрел!

А ещё через год, выходит, уже и созрел. Окончательно:

Нарастает гнев народа,

Никому не устоять.

Где работа? Где свобода?

Фарс пора уже понять.

Пикетируют шахтёры

У Горбатого моста:

Президент и клика — воры!

Эта истина проста.

Будьте прокляты навеки

За предательство людей.

Мы — не быдло. Человеки!

Вдохновители идей.

Умереть достойно сможет

Каждый труженик из нас.

Наша смерть ряды умножит —

Победим в последний раз!

Под стихами обозначено: Горбатый мост. Пикет. Июль 1998 года.

Человек искренний, эмоциональный, больно раненый предательством, Ирбек Дзуцев, и в самом деле был готов умереть. Потому-то и отдал мне тогда свои стихи: ходил упорный слух, что вот-вот нагрянет ночью спецназ либо нанятые «царем Борисом» бандиты, и от палаточного городка останется лишь мокрое место...

Что взять с «простого шахтерика», если так или примерно так думал боевой генерал Лев Рохлин, погибший буквально через день после того, как принял роковое для себя решение: стать во главе этой черномазой оравы — вместо самозваного шахтерского «генерала» Володи Потешного, кубанского казачка родом из Ейска...

Бедная наша родина, самими же нами по излишней доверчивости, по глупости нашей растерзанное Отечество!..

... У прокопчан как раз был затянувшийся «пересменок»: одни пикетчики домой в Сибирь уехали, другие ещё не появились, и в громадной палатке жил только «дежурный сторож» — пожилой весельчак Петюня, как сам мне представился, тут же сообщив, что это, само собой, — его «конспиративная кликуха»...

Познакомились мы с ним ещё в мой первый приход к пикетчикам, а накануне я принес ему пищевой, с широким горлом, термос с «горячим». Термос был шахтерского происхождения: перед этим в Новокузнецке нет-нет да приходил с ним ко мне в гостиничный номер «гроз» Коля Ничик — «горный рабочий очистного забоя», старинный, с детства на Украине «рабкор», в Сибири постепенно пробившийся в писатели. Как я на него не ворчал, как, случалось, не покрикивал — с хохлацкой щедростью приносил от жены, от Надежды Викторовны, «домашнего», а, когда меня провожали домой, в Москву, умудрился-таки незаметно сунуть термос с жарким в купе вагона: дорога, мол, известное дело, — долгая, всё съест!

Теперь я был рад случаю отдариться, тем более, что отдарок предназначался не только Коле — как бы всей страдающей нынче шахтерской братии...

Оглядевшись теперь по сторонам и не увидав Петюни, сходу сунулся было в палатку, но вход успели преградить двое загадочно улыбающихся парней — наверняка стояли на шухере:

— Петюня пока не принимает!

Я прямо-таки опешил:

— Эт почему же?!

— Мамочка у него там.

— Какая ещё «мамочка»?

— Какая-какая, — ворчливо упрекнул один.

Второй свойски объяснил:

— Анпиловская!

Значит, носили они сюда не только воду, не только сигареты, но и кое-что еще, да-а...

Вся Москва на ту пору, казалось, только этим и была озабочена: что предпринять, чтобы миром заставить шахтеров прекратить стучать касками и по домам разъехаться... Лужков якобы ночей не спал: думал.

Да вот, все я про себя потом посмеивался, да вот, вот: отправить телеграмму в Прокопьевск, на знаменитый Тырган — жене петюниной. Мол, так и так: в палатку к муженьку приходит «мамочка».

Может, в другой какой конец — ещё примерно такую же.

И через два-три дня тут и следов от лагеря не останется — шахтерские жены разнесут!

Но нет, нет...

Кто-то эту кашу варит и варит: очень она кому-то нужна!

Ирбек появился, чем-то явно расстроенный: таким я его редко видел. Будто успокаивая себя, обе ладони положил на шишак чугунной ограды, за которой стояла полиэтиленовая, похожая на парник большая палатка, кивнул на табличку с крупными буквами: «Прокопьевск».

— Хоть тут — люди как люди!

— Какие, знал бы ты! — начал было я, отводя его чуть в сторону.

Уже готов был потихоньку сказать ему о Петюне, который парится, бедный, с «анпиловской мамочкой», и понял вдруг, что не время ему об этом рассказывать... вообще не стоит... нельзя... далась ему эта чистая, прямо-таки юношеская любовь к Прокопе!

Собрались с ним уходить, шли к выходу из городка, когда нас догнала молодая журналистка из Воркуты, с которой я уже достаточно хорошо был знаком:

— Говорили, наш оркестр вам понравился... Может, останетесь послушать?

На свободной площадке в центре городка уже выстраивались четырехугольником мальчишки с трубами, уже стоял перед ними с поднятой рукой дирижер...

Детский духовой оркестр был из Чебоксар, из Чувашии. Накануне руководитель его, когда разговорились, показал дарственные часы от президента Николая Федорова, сказал с уважительной улыбкой:

— Любит нас... И мальчишек, и вот меня с ними.

— Тут как-то по телевизору проскочила информация, что он-то как раз против забастовки? — спросил его. — А вас сюда прислал...

И дирижер повел ладошкой:

— Не Федоров!.. Только и того, что глаза, как говорится, прикрыл... А деньги на поездку Меркушин дал, депутат Госдумы — это он всё поднимает шахтеров...

— Каникулы на Горбатом мосту? — сказал я сочувственно.

И он горячо откликнулся:

— Не говорите: в центре Москвы торчим, а Москвы, считай, и не видим... Только и того, что конфеты московские... задарили! Они уже нос воротят. Но обстановка тревожная... уедем на экскурсию, а

вернуться вдруг будет некуда. Да ещё трубы... пропадут или побьют их. А это уж Федоров давал деньги: такие инструменты дорого стоят...

Оркестр ударил «Прощание славянки», и душа отозвалась тонкой болью: хрупкие мальчишки посреди этого грозного лагеря бунтарей... кто-то здесь наивен, как Ирбек Дзуцев, и также, как он, непримирим, а кто-то давно все понял... знает, что не в шахтовой кассе, а тут сейчас лежит его заработок... скольких из них увижу потом на съезде шахтеров в дорогих костюмах, модных рубашках, новеньких «мокасынах»... во что превратилась эта черная от угольной пыли, чумазная революция!.. Что ж, что лежит теперь посреди лагеря тряпичное чучело президента — сам он, въехавший на их горбу в Кремль, сидит там живой-здоровый... ну, может, не досмотрели — так же, как тут, лежит...

— Здорово у них получается! — с теплотой в голосе негромко сказал Ирбек.

И я отозвался:

— А ты думал?

А мальчишки уже заиграли «На сопках Манчжурии»: и старые, ну, как будто бессмертные наши беды опять припомнились, и горе-горькое наше, и общая наша русская вина за всё, что произошло с родиной... что нынче происходит...

— Дети, считай... и так играть! — растроганно проговорил Ирбек. — Ты веришь: не хуже наших цирковых «лабухов».

— Ну, конечно! — поддержал я с нарочитой иронией. — Эталон мастерства: ваши «лабухи». Как ещё перед утренним представлением поди надерутся...

Но он не слышал меня:

— Лучше!.. Я тебя уверяю: лучше...

Вечером он вдруг позвонил мне домой:

— Не спишь ещё?.. Ты ведь у нас — вместе с курами. Хорошо, что не спишь: я только что из цирка. Двадцать контрамарок им хватит?

Я сперва не понял:

— Кому?

— Кому-кому, — проговорил он ворчливо. — Ребятишкам этим. Оркестру. Давай так: ты с утра съездишь, скажешь им. Сможешь? Найдешь время?.. А я буду у входа ждать в половине седьмого вечера... Решено?

— Какой ты молодец! — искренне сказал я. — А я вот, видишь, не догадался попросить тебя... опять джигит — в роли доброго волшебника, Юр?..

— Ты на мой вопрос не ответил! — сказал он нарочно строго. — Ты сможешь?

Назавтра хотел приехать к зданию цирка первым, но он уже ждал там. Опять стал было от чистого сердца его благодарить да подхваливать — какая, мол, для ребят радость! — но он ворчливо остановил:

— Я о другом ночью... не спал, веришь. Что вообще с ними будет? И с этими ребятишками, и кто поменьше, и кто родится потом... не выходит из головы! А контрамарки это мелочь... держи!

— Нет-нет! — отвел я его руку. — Проведешь сам. Пусть они запомнят: не кто-нибудь пригласил —

джигит Ирбек Кантемиров, осетин...

И он невольно вздохнул:

— Кантемиров-то ладно... Но ради Осетии...

Мальчишки появились большой и шумной оравой, и в середине и по бокам шли принаряженные шахтерики, и я улыбнулся:

— Опять тебе придется в дверях двух за одного считать?

Напоминал ему, как однажды мой младший сын, попросивший через меня пять контрамарок, привез потом на представление больше десятка казачат, и я, что называется, схватился за голову, но Юра твердо стал напротив пожилой билетерши и с нарочито серьезным видом взялся проталкивать ребят по-двое:

— Одна пара... две пары... три... сколько там, Нина, — пять?

Улыбаясь помолодевшими глазами, женщина повела ладошкой:

— Все равно не хватит... пусть все!

Когда все казачата оказались в фойе, с серьезным видом спросил его:

— Что ж ты не рассказывал?

Он поймался:

— О чем?..

— Что ты не только джигит — ещё и старый фокусник?

И он рассмеялся, довольный:

— Это цирк!.. Хочешь или не хочешь, всему научишься.

Теперьшние его гости, конечно же, засиделись там, на Горбатом мосту — ещё на подходе толкали друг дружку, кричали, громко смеялись... Но то ли началось, когда в фойе каждый нацепил себе купленный в цирковой лавчонке большой красный нос, каждый в левой держал мороженое, а правой пытался отбиваться зажатым в пальцах продолговатым, как огурец, длиннющим воздушным «шариком»...

— Как ты думаешь? — глядя на них, нарочно серьезно спросил у меня Ирбек. — На представленье они пойдут? Или им и этого, их собственного, хватит?

И я расхохотался: недаром же Никулин накануне записи передачи «С легким паром» «подзанимал» у Юры анекдоты, недаром его шутки потом озвучивал!

Прошли с ним в директорскую ложу, откуда хорошо было видать, как мальчишки рассаживаются на своих местах... Расселись и тут же чуть не разом притихли.

— Смотри, какие пай-мальчики! — повел на них глазами Ирбек.

— А ты небось думал, что они арену займут?

— Сейчас будет оркестр, — проговорил он. — Я уже их подначил: сравним...

Все глядел на мальчишек, а я опять вспомнил уже давний теперь приход на Цветной бульвар казачат... Большинство, которому не досталось мест, Ирбек одного над другим рассадил под деревянным бортиком на ступеньках в проходе, и я тут же решил, что мы с ним сделали все, что могли, но он тихонько скомандовал:

— За мной давай-ка — не отставай!

Быстро прошли какими-то хитрыми переходами и оказались в буфете.

— А, дядя Юра! — дружелюбно встретила его молодая буфетчица. — Что — любимого вашего томатного? Один стакан? Два?

— Три! — сказал он ей в тон. — Только не соку, а три картонных коробки из-под сока... найдешь?

— Конечно, дядя Юра — для вас...

— Разрывай и складывай вот так! — приказал он мне, когда буфетчица принесла нам коробки.

— Что надо, не пойму...

Сам он уже растерзал одну:

— Видел, где мы их посадили? На камень... на бетонные ступеньки... дети! Долго им простудиться? В несколько раз складывай... под попку...

Там сидел и мой внук, сидел Глеб, которого Георгий, сын, специально туда определил, чтобы остальным не было обидно... но почему не я, а Ирбек тут же бросился искать эти коробки, ну, — почему?!

Держа около груди по охапке вчетверо сложенного картона, зашли потом на конюшню за кусками попоны, тихонько вернулись на представление: в круглом зале держалась напряженная тишина, головы у всех были задраны — под куполом работали акробаты. Он попридержал меня у входа на верхнем ярусе, а когда ударила музыка, обвалом грохнули аплодисменты, подтолкнул плечом, кивком позвал вниз.

— Привстань-ка! — шепнул первому мальчишке, и тот послушно приподнялся и сел уже на картон с кошмой.

Шагнул ещё не ступеньку вниз:

— Привстань-ка!

Но казачок попался упертый. Руками схватился за край ступеньки.

— Чи-о?! — спросил громким шепотом.

Не знаю, почему это Ирбек перешел вдруг на «цирковой-изысканный»:

— Приподыми-ка «мадам Сижу»!

— Чи-о-о-о?! — совсем потерялся казачок.

— Задницу приподними! — перевел Ирбек на родной наш язык, на обыденный. — Ну, жопу, жопу!..

... И вот когда его не стало, когда так неожиданно ушел, когда Москва так недостойно простилась с

ним — ни траурной рамки в газетах, ни слова по радио, ни хоть коротенького сюжета по телевизору — я, младший, вдруг ощутил настоящее горькое сиротство...

Оказалось, наш с ним шуточный договор о беспрекословном соблюдении горского, кавказского «кодекса чести» в стремительно опускающейся в омут «общечеловеческих ценностей» столице, был и в самом деле надежным щитом от нарастающей вокруг разнузданной пошлости и густопсового хамства...

Неужели останусь теперь со всем этим — один на один?

Неторопливо и честно писать о джигитах — так, чтобы ни мне самому, ни Ирбеку, ни обоим нам не было стыдно, — с годами вошло у меня в привычку, сделалось добровольной обязанностью. Давно уже понял, что это мне на роду написано — о них рассказать, но не спешил, не торопился: вон как пока силен и красив, как подвижен и крепок, как духом могуч мой друг!

И вот ушел — а я о чем-то не расспросил его, чего-то, может быть, недопонял, что-то благополучно успел забыть... Издержки «вольных хлебов»... может быть, — слишком «вольных»? При которых вроде бы никому ничего не должен, никто тебя не торопит... откуда же теперь эта горечь горькая?

Не позвонит, не пошутит, никуда не позовет больше, не приободрит не только взглядом — одним своим благородным, полным кавказского изящества и ненарочитого достоинства видом...

В один из тоскливых дней после гражданской панихиды на арене пустого полутемного цирка отправился к общему нашему с Ирбеком товарищу, работавшему тогда в «Парламентской газете» однокашнику по факультету журналистики Саше Алешкину. Сам он отлучился по делам службы, но сидевшие в кабинете за шахматами его коллеги передали, что просил обождать, и я сел в сторонке, невольно приглядываясь к игравшим: так безобразно громко они кричали и спорили... мало, мало того!

В кабинете стоял сплошной мат, всякий очередной ход сопровождался грязной руганью в изощренной, в отвратительной форме... хоть всего-то газетчики — тоже «мастера» слова!

Вскакивали и потрясали кулаками, раздергивали якобы непереносимые — положение обязывает! — галстуки, хватались за жиденькие волосы на давно полысевших головах, сгибались и разгибались, в забывчивости некрасиво почесывались, и у каждого был такой вид, будто сейчас то ли пукнет, а то ли, расстегивая молнию на ширинке, шагнет в угол...

Мне вдруг показалось, что они меня разыграли, никуда Алешкин не уходил — вот же он, вылитый: только и того, что на белесом худощавом лице воспаленные глаза сильно подкисли и пену в уголках рта давно вытереть не мешало бы...

Блажен, кто подобного душевного смущения не испытывал!

Я встал, вышел и никогда больше не звонил Алешкину и никогда не заходил к нему... ты уж извини меня, Саша, — так получилось!

Правда, в этот первый год без Ирбека случилось одно радостное и чуть загадочное, мистическое, если хотите, событие...

Валентин Распутин позвал меня осенью в Иркутск, на проходивший здесь уже который год праздник «Сияние России». Встретил нас, небольшую кампанию москвичей, в аэропорту и почти тут же отвел меня в сторонку:

— Ты не обидишься?.. Расписывал тут, кто куда поедет, и тебе выпали рабочие города — Братск и Усть-Илимск... поймешь правильно?

Чего ж не понять? Больше десятка лет на «ударной комсомольской» стройке в сибирской молодости,

это, братцы мои, — на всю жизнь.

Осень стояла удивительная, с пылающими яркой желтизной лиственными лесами, которые тянулись и тянулись под небом удивительной голубизны, и я был рад, что сказочный этот вид продлился для меня благодаря почти немеренным расстояниям по железной дороге уже внутри области — до чего она, страна Сибиря, и действительно велика!

В Братске спустился к берегу Ангары, умылся речной водой и постоял, улыбаясь давним годам...

Навстречу утренней заре —

По Ангаре, по Ангаре!..

Как тогда выпевали наши девчата именно эти слова... да!

... девчонка, девчонка танцует на палубе, — эти тоже...

Каждая тогда думала, что хоть и далеко Ангара, но это, конечно, — прямо-таки о ней... где тогда, интересно, был Рыжий Толян, который и Ангару тоже теперь, считай, прикарманил? Сколько ему тогда было лет?

Посреди вечера в одном из читальных залов ко мне подседа очень скромно одетая худенькая пожилая библиотечка, положила передо мной старый мой престарый роман «Пашка, моя милиция» — ну, до того истрепанный и клееный-переклееный!

— Помню вас, я с нашей Антоновской площадки, с Записба, — взялась тихонько нашептывать. — Тогда всё — Братск, Братск, а у нас ещё ничего, до разворота далеко было, помните — тишина, и я сюда приехала: за романтикой.

Спросил по инерции:

— Нашли?

Как печально она посмотрела на меня: был взгляд раненой птицы, оставшейся жить в чужом краю... бедные вы мои! Какая там «утренняя заря», какая «палуба»!

... Как раз в этот миг, сейчас, компьютер «нового поколения» — благодаря добрым людям только что задешево приобрел у одного богатого «продвинутого», которого он уже перестал устраивать, — так вот, эта бездушная машина, что то и дело теперь подсовывает в мой текст то советы, а то готовые наработки, попыталась тут же напомнить мне о полужабытом в нашей жизни клише «заранее благодарен», и я вдруг горько подумал, что это, может быть, единственная благодарность, которую заслужило бедовавшее на десятках «великих»строек, на сотнях чуть меньше них, моё поколение... продающий эти машины далекий чужой миллиардер, и тот понимает и в отличие от наших, новоявленных, выходит, как бы сочувствует забытым и обездоленным!..

Но настоящую радость мне пришлось испытать в Усть-Илимске.

Мы были в только что создаваемой местной художественной галерее, когда речь зашла о Кавказе и о кавказцах.

— Вы в тех местах бывали? — спросила у меня милая молодая женщина, руководитель галереи. — Хоть немножко их знаете?.. У нас тут небольшая проблема: на первых порах, конечно же, приходится чуть не по всей стране побираться, вот Москва и прислала нам две очень хорошие графические

работы, но кто на них...

Работы тут же из запасника принесли, я глянул...

Как-то уже пытался писать, что нет ничего случайного, во всем — промысл Божий.

С одного листа глянул самый старший Кантемиров: уже в почтенных, очень почтенных годах Алибек Тузарович, глава династии. С другого смотрел на меня мой друг Ирбек.

Пришлось достать из кармана пиджака мишину иконку в твердой, в виде подковы, оправе из кожи.

— Как хотите, это она к вам привела! — сказал, перекрестившись. — Георгий Победоносец, которого осетины зовут Уастырджи. Считается — покровитель мужчин, воинов, путников. Как шутливо в Осетии говорят: министр путей сообщения. Мне её подарил в свое время знаменитый наездник и каскадер Мухтарбек Кантемиров — «Не бойся, я с тобой», двухсерийный фильм, может, помните? Там он в главной роли. А здесь его отец и его старший брат.

— Вы уверены?.. Это точно? — стала допытываться руководительница музея. — Мы писали художнику, хотели, чтобы он нам ответил...

— И он не ответил?

— Да, почему-то не ответил.

— К несчастью, он пропал.

— В каком смысле?

— В прямом, — пришлось сказать. — В самом прямом...

Подлое, и действительно, время, которое столько уже поглотило одного за другим! Никто не знает, куда делся Заурбек Абоев, умница и красавец, талантливый осетинский график, писавший неплохие стихи ... Ирбек уже был тогда главой землячества, с помощью высоких милицейских чинов тоже пробовал искать его... нет!

Но вот остались прекрасные его работы, и две из них чудом переместились в Сибирь, которую так любили отец и сын... мало сказать, в Сибирь — в самый центр её, в самую глубину-глубинку!

— Вы нам пришлете хоть что-нибудь о них? — попросила директриса музея.

В Москве я первым делом позвонил Мухтарбеку, рассказал об усть-илимском музее, дал адрес, и оба мы потом слегка растрясли наши «кантемировские» архивы — ради сибиряков...

И вот дома, опустив голову, почти касаясь лбом оконного стекла, стоял я, невидящими глазами глядя на свою Вятскую, по которой неслись машины, и всё размышлял, и все пытался понять...

Ну, с ребяташками ясное, предположим, дело: Ирбек никак не мог дожидаться внуков — Марик не торопился связывать себя женитьбой, не торопился, и вот она где прорывалась, эта любовь к детишкам и эта боль.

Недаром ведь о них всегда: династия Кантемировых.

Династия!

А продолжателя нет...

Через несколько лет мы созвонимся с Володей Ли, главным администратором цирка на Цветном бульваре, тестем Маирбека, который будет в то время с гастролями в Англии, созвонимся и съедемся на развилке дорог недалеко от Звенигорода...

Счастливый Володя, дитя корейца и «щирой» украинки, прошедший суровую цирковую школу бывший акробат, вылезет из машины с годовалым бутузом на руках:

— Знакомься, Юра, с дядей! — начнет говорить ему. — Он друг твоего дедушки... знакомься, Ирбек!

Попробую черноглазого малыша взять на руки, но раздастся такой густой, мощный рев!..

— Ну-ну, — скажет Володя. — Ну-ну, а то и отец с матерью там услышат... англичане им продляют контракт, представляешь? Они вообще запрещают кому бы то ни было появляться в стране с парнокопытными, а тут был такой успех, что предложили ещё на несколько месяцев остаться: послезавтра директор сам полетит подписывать договор.

Так вышло, что «послезавтра» мне пришлось прийти «на Цветной бульвар», чтобы повидаться с Татьяной Николаевной Никулиной... От неё, сидевшей в кабинете покойного мужа, Юрия Владимировича, только что стремительно вышел с бумагами их сын Максим, нынешний генеральный директор, в приемной чуть не налетел на вошедшего с кипой черных бурок в руках Володю Ли, промчался в свой кабинет.

— Маирбеку хочу с ним, — торопливо сказал на ходу главный администратор, ношей своей раздвигая оставленную приоткрытой дверь в кабинет генерального. — Говорил: сейчас улетает.

Зато какое спокойствие царило там, где сидела Татьяна Николаевна!

Превращенный в музей кабинет Юрия Владимировича, и при нем ещё уставленный сувенирами со всех концов света, теперь, что называется, ломился от них, и сама она, уже очень пожилая, сухонькая, после нескольких дней болезни поблекшая тоже невольно гляделась тут одним из многочисленных экспонатов.

Заговорили о Кантемировых, и Татьяна Николаевна очень медленно, будто потихоньку доставая это из памяти, стала рассказывать, как в давние теперь, предавние времена, когда выпадали совместные с осетинскими джигитами гастроли, Мариам Хасаковна, которой и без того приходилось заботиться о своих трех мужчинах, заодно брала на свой кошт Никулиных, как вкусно она готовила и кавказские блюда и русские щи, как тепло и весело было за общим большим столом...

И тут стало происходить что-то удивительное: на глазах она начала оживать, начала как бы молодеть... Скрывавшие до этого усталую боль глаза зажглись, заискрились, на впалых, давно не видавших косметики щеках появился яркий румянец. Как очаровательно она улыбнулась!

— Если бы тогда вы их видели: Ирбека и Мухтарбека! — сказала вдруг зазвеневшим голосом. — Юру и Мишу... Какие, и правда, были красавцы!

Но почему их все-таки так тянуло в Сибирь?

Вышагивая по своему не очень просторному кабинету как бы положенные для печальных раздумий километры, однажды остановился, постоял так, словно к чему-то далекому прислушиваясь, и вдруг влепил себе в лоб раскрытой пятерней: тюха-матюха!..

Как о таких, вроде меня, молодцах в родной моей станице говаривали...

Или это уже из того, что в других, в далеких от Кубани краях было услышано и стало потом моим?..

Так и тут: все на свете одно с другим переплетено, все связано-перевязано — тем более на просторах нашей Руси-матушки, где многое перемешивали, перетасовывали ещё и нарочно!

Что ж ты, подумал о себе, что ж ты уже столько лет, стреляный вроде воробей, о джигитах размышляешь как бы отдельно, о казаках — отдельно и также о них всегда пишешь ... да ведь ссыльные казаки и были в Сибири теми самыми зрителями, которые душеньку свою отводили на представленьях джигитов!

Да как же ты раньше до этого не дошел?

Опять, как в нашей станице: недотумкал?!

А ведь было тебе столько знаков: да тот же спасатель «Шахтер» около Лемноса, который одним своим неожиданным появлением должен был в твоём сознании многие концы и начала соединить! Не отсюда ли тысячи казаков разбрелись потом по Европе, в каких только странах не осели, родили детей, многих растили в русских школах да кадетских корпусах, оказались с ними в немецком Казачьем стане, в корпусе у генерала фон Паннвица, в австрийском Лиенце, где так жестоко англичане их предали, и в «телячьих вагонах» покатали оттуда в Кузбасс... А кто их тут встретил?

Бедолаги, которых с Дона, с Кубани, с Терека выслали сюда двумя десятками лет раньше: во времена рассказывания-раскулачивания...

Кто все эти шахты бил?.. Кто «металлургию» да «химию» поднимал?

В большом очерке «Последнее рыцарство», который был опубликован в первые годы шумно разрекламированного, но так пока и не состоявшегося нашего «возрождения», которое в пору уже «вырождением» называть, рассказал кроме прочего об отце старого своего друга Николая Бурыма, выросшем сиротой лихом «красном» казаке с Терека: как раз из-за его сиротства да из-за природного удалства не однажды пощадили его сердобольные, старше возрастом «белые»... Очерк этот многим тогда понравился, а Коля, посмеиваясь, сказал мне:

— Хочешь, я тебе — продолжение?.. Когда распределился на работу в Междуреченск, через год-два приехал ко мне отец. Денек-другой погостил и говорит вдруг: съезжу-ка я, сынок, в Прокопьевск. После гражданской туда половину нашей станицы вывезли... Как они там?.. Хоть одним глазком глянуть!.. Вернулся оттуда мрачный и говорит: хорошие ребята, но больше я туда не поеду. Стоит выпить стакан, и каждый тут же — о вооруженном восстании... Нельзя к ним ездить, сынок, нельзя — а то ведь загребут вместе с ними!

А книжка Евгении Владимировны Польских «Это я пред тобою, Господи!»?.. Искусствовед по профессии, работала в Москве, уехала во время войны в родные края, на Ставрополье, тут во время оккупации вышла замуж за казака, который вернулся с немцами, с ними оба ушли: муж её издавал у Паннвица газетенку «Казачьи ведомости»... ну, прямо-таки, как ваш покорный слуга — в Союзе казаков у батеньки Мартынова... В Лиенце их взяли вместе, но на первой же «нашей» станции разделили: офицеров потом провезли дальше, вглубь Сибири, и о муже она ничего больше не слышала, а основную массу «простых казаков» разбросали по зонам «Кузбасслага» да «Южкузбасслага»: в Кемерово, в Ленинск-Кузнецком, в Белове, в Киселевске с Прокопьевском, в Мысках, в Междуреченске...

Читал книжку, изданную после очередного её возвращения в Ставрополь, уже в девяностые, и вдруг наткнулся на фразу, от которой зашлась душа: «После ласковых имен кубанских наших станиц — Отрадная, Спокойная, Привольная — ранили даже грубые названия здешних мест: Тайбинка, Тырган, Сибирга...»

Но для меня-то и они звучали торжественной музыкой!

Что говорить о чуть ли не родном прокопьевском Тыргани... В шуточных стихах беспечной молодости

была воспета и соседняя с Новокузнецком Сибирга:

Сибирга, Сибирга!

Приготовь стопарик.

К тебе едет дядя Га...

Дядя Сибир-Гарик!

Ну, что делать, если комсомольские наши стройки возникли потом в тех местах, где перед этим были лагеря с нашими же земляками, а то и близкими родственниками... Думаю иногда: может, побывавши на преддипломной практике в Кузбассе, оттого-то и рвался потом в Сибирь, в места казачьей гибели, что Божий промысл для меня был — как раз об этом и рассказать, но за шумными песнями о «величавой Ангаре», о том, как «девчонка танцует, танцует на палубе» я его тогда так и не расслышал и начинаю различать только теперь, когда размышляю о своем друге-джигите...

Ведь представьте себе, действительно, вы только представьте: бить и бить в глубине эти черные норы, в которых тяжелая земля во время обвала навсегда засыпает твоих товарищей... Если пласт угля невысок, годами потом стоять в этих норах на коленках; пить после безрадостной смены вусмерть, чтобы забыться и хоть как-то отдохнуть... И вдруг по городу слух: джигиты приехали!

За тридевять земель от родного дома сидеть среди немногих выживших станичников под брезентовым пологом «шапито», втягивать жадными ноздрями лошадиные запахи, слышать тихое ржанье, и — вдруг, вдруг!

С лихим гиканьем, стремительно врываются на арену горячие кони с лихими наездниками в черкесках и высоких папахах — будто из недавнего прошлого...

Да так ведь оно и было: полвека назад на ростовском ипподроме совсем молодой тогда осетин Алибек Кантемиров учился джигитовке у донских казаков, а теперь их детям и внукам передавал, несчастным страдальцам, привет с их зеленой и теплой родины...

...Они восстали-таки, но поздно, поздно, когда позвали их уже не свои — позвали чужие, недаром ведь среди шахтерских вождей оказалось столько немцев или якобы немцев, которые преспокойно потом уехали кто в Германию, кто в Израиль: приторговывать там сибирским угольком да металлом...

— Говоришь, недавно был у нас, тогда, может, видел эту картину? — расспрашивал меня возле Горбатого моста «дежурный сторож» Петюня. — Её теперь на всех митингах выставляют, на всех праздниках: «Прокопьевский петух» называется. На перекладине мощный кочет с такими шпорами, что будь-будь, ударил крыльями, задрал голову — прямо-таки слышать, как орет... А перед ним вполнеба — заря!

Занялась над родиной, как же...

— И Норильск, и Воркута — это уже потом. И междуреченские ребята с шахты Шевяковой — это после. А первыми наши прокричали: в Прокопьевске!.. Почему я себе и кликуху эту — Петюня. Наш петух первый свободу объявил!

Как все же хорошо, что я не стал тогда Ирбеку о Петюне из любимой его Прокопы рассказывать!..

ДЕРБИ 45-го ГОДА

Почему ещё рвался в Краснодар — хотел позвонить по междугородной. И в Москву, и в Новокузнецк... далее, как говорится, везде. Само собой, что это можно бы и в Майкопе, но цены, цены!

Разговорился было из дома, где коротаем зиму около больной мамы жены, и тут же — ну, не успел трубку положить! — принесли такой счет, что жена спросила со вздохом: мол, что, отец, тебе прибавили пенсию, а ты нам ничего не сказал?

Прибавят, жди.

Хоть бы не отобрали последнее.

А в Краснодаре есть пока один чисто кубанский дядька, который, уловив жадный взгляд на многочисленные его, с кнопками и кнопочками, телефонные аппараты, благодушно скажет:

— Ну, позвони, братка, позвони!

Само собой — по межгороду.

Странное, вообще-то, скажу я вам, дело!

Есть у меня живущий в Сан-Франциско кубанский землячок, Петя Величко, отец которого в Гражданскую ушел с известным генералом Шкуро... Приезжает в Москву, и чуть ли не первым делом звонит из гостиницы «Украина», где с компанией восьмидесятилетних кадет, среди которых он самый младший, каждый раз останавливается:

— Позволишь, Гурка, приехать к тебе — телефонировать в Передовую?

Ну, что за вопрос, как говорится!

Человек он не бедный, ещё недавно занимал должность европейского директора знаменитой джинсовой фирмы «Ливайс», что давало мне основание над ним пошучивать: спасибо, мол, что доказываешь — напугавшей чуть не весь белый свет казацкой шашкой можно не только развалить человека до пупа, но тихо и мирно раскрыть материал для того, что у всех у нас ниже.

Занятие это позволило Петру не только безбедно жить в Сан-Франциско, но неустанно по всему миру путешествовать. Лишь на Пасху в Иерусалим, чтобы увидеть схождение благодатного огня, он приезжал уже шесть раз, как всякий основательный человек, упрямо собирается догнать это число до десяти, а чтобы на пути к заветной цели ощущать себя не абы как — с привычным комфортом, приобрел дом в Швейцарии: оттуда поближе не только к Иерусалиму, но и к Кубани, к родной станции отца, которая для него тоже — святое место...

Вот приедет он ко мне на Бутырскую, всласть с земляками наговорится и потом спрашивает: ты, мол, мне, Гурка, объясни. Почему разговор с моей Передовой из Сан-Франциско обходится намного дешевле, чем из московской гостиницы?

Э-э, брат!

Чего захотел.

От вас оно, с капиталистических-то высот, может быть, и виднее, почему так теперь в России устроено. А мы можем только догадываться.

Тебе небось, Петя, специалисту по новым технологиям, такое и в страшном сне не привидится, а у нас в цехах, которые пока не растащили, до сих пор постукивают да полязгивают станки марки «Дип», выпущенные ещё перед второй мировой войной — в «эпоху индустриализации». Расшифровывается эта вечная марка так: «Догнать и перегнать.»

Т-твою Америку, разумеется, Петя.

При Никите Хрущеве, который из темных партийных запасников снова этот лозунг достал и на Божий свет вытащил, у нас в России пошучивали: догонять, мол, — это куда ни шло. Постараемся. А перегонять нельзя. Ни в коем случае! Иначе увидят нашу голую задницу.

Но теперь-то никого ею не удивишь: это даже признанный всей мировой общественностью, а, может, уже и одобренный каким-нибудь подкомитетом ООН по глобализации, знак хорошего тона — голая задница. Ну, наши стрекулисты-реформаторы и рванули. «Яйцеголовые» наши липиздроны: хоть тут мы уже да в первой строке — по самым высоким в мире ценам, эх ты!..

— Ну, позвони, братка, позвони! — благодушно разрешает чисто кубанский дядька, который уже начал небось за свои телефонные аппараты потихоньку волноваться: обуглятся ещё под моим пылким взглядом.

Первым делом набрал мобильник Мухтарбека Кантемирова: далеко от своей московской ставки, спрашиваю? Если рядом, зайди к себе, Миша, через пяток минут перезвоню по твоему городскому номеру.

Столько лет беспризорный Конный его театр приютил, наконец, в Новогорске, на своей подмосковной базе министр МЧС, и каскадеры-конники не только его жеребца теперь обихаживают, это как бы дружеская, вполне понятная обязанность, но и обучают почти таких же, как сами они, сорви-голов, «эмчээсников», верховой езде и кое-каким другим необходимым в наше-то время навыкам да премудростям: разве не доброе, и действительно, дело?

Дозвонился, наконец, поздравляю Мишу с высокой, выходит, честью — избрали недавно председателем Гильдии каскадеров России, — так вот, поздравляю, а Миша не то что в мягкой своей манере — как бы даже чуть виновато, говорит:

— Я не председатель, нас двое, я — со!

— А кто второй со-председатель?

— Тадеуш Касьянов, рукопашник.

Тадеуша знал, когда он был ещё «черный пояс» у каратистов. «Пират 20-го века», ну, что ты: чисто пират!.. Хороша пара: изящный конник и пеший кистолем.

Дабы поддержать там угасающий Мишин дух, посмеиваюсь: мол, ничего-ничего! Помни: «Смелые люди» всегда рядом. Ну, и — «Не бойся, я с тобой». Если что.

Напомнил, значит, о фильмах, в которых снимался он, а тут пришло новенькое: да вот же вот!

Ещё во времена моего мифического атаманства в Московском землячестве старший сын, Сергей, подарил мне старую дореволюционную шашку. У младшего пока шашки не было, взял на какой-то казачий праздник мою, а тут её попросил у него «на одно выступление» каскадер Андрей Тюгай, наполовину кореец... Ну, и «плакала моя шашка», как это в нашей станице раньше называлось: зажили её Тюгай!

У них, у «кошкодеров», считается, видишь ли, что украденное оружие приносит удачу, а купленное — ни-ни...

Мне-то она как бы и ни к чему, но ведь — подарок!

Да и у кого Андрей её зажил-то? У родоначальника, можно сказать, казачьего возрождения: тоже губа — не дура!

Рассердился на младшего, сам разыскал однажды Андрея в гостиничке спорткомплекса ЦСКА. Рано утречком поднял тепленького с постели, взял за грудки: думаешь отдавать шашку, парень?

Андрей извинился, поклялся, что она у него на тот момент в другом месте, дал слово, что сам на днях найдет меня с моей шашкой... эге!

Может, эти цыганские штучки тоже приносят «кошкодерам» удачу?

И раз, и другой пожаловался Мухтарбеку: пристыди, мол, младшего коллегу, по сути — твоего подопечного. Заставь вернуть шашку!

Но не для Миши, видать, такие просьбы: с мягким его характером, с вечной суетой, с многочисленными заботами посерьезней этой моей.

— Мухтарбек Алибекович! — сказал ему, пытаюсь придать голосу официальный тон. — Теперь-то, и точно, могу предупредить: не отберешь у Тюгая шашку сам — Тадеуша попрошу. Уж он-то его в один миг обезоружит: лет пятнадцать назад на квартире у поэта Гриши Поженяна, он отнимал японский меч у Алёши Штурмина, по сути первого у нас «черного пояса» — любо-дорого посмотреть было!

— Отберу, Гаринька, отберу...

— А то ведь, и правда, Тадеуш ему руки переломает!

— Марик тебе привет передавал, — как будто припомнил Миша. — Был тут один денек, летел из Лондона в Сеул...

— Как он там?

И Миша зажегся:

— Ты знаешь, у него все прекрасно. Англичане снова продлили контракт, но корейцы не захотели отсрочки, и тогда он разделил наездников на две группы. Одна так в Лондоне и осталась, вторая уже выступает в Сеуле, да так у них здорово выходит: полный аншлаг!

— А он теперь как инспектор?

— Душу-то он отводит, не бросает лошадку, но что правда, то правда — много времени в самолете...

— Ай, молодец! — сказал я.

И сердце сжалось: в собственном голосе поймал интонацию покойного Юры, Ирбека Кантемирова, — отца Марика... как, и действительно, Юра бы сейчас за Марика радовался!

Перед этим он настрадался.

В цирковой династии Кантемировых Маирбек уже из третьего поколения джигитов, но не в добрый час передавал ему отец символическую уздечку с хлыстом!.. «Госцирк» рухнул, основная арена переместилась за Кремлевскую стену, главный клоун Боб ударил в долгий загул.

«Цирковые» выживали кто как мог, каждый цеплялся чуть не за соломинку, а тут «Джигитам „Алибек“» предложили долгий контракт в Саудовской Аравии. У Маирбека гора упала с плеч, но перед первым же выступлением, уже там, ему заявили, что бумаги придется переделывать: нужен контракт на языке страны пребывания... О, этот арабский язык и эти арабские цифры! Их-то Марик в основном и сверял. Они остались теми же, но смысл контракта был изменен настолько, что через месяц все до одной лошадки были арестованы, а джигитов милостиво отпустили на все четыре стороны.

Бедный Юра бился тогда, как рыба об лед: чтобы Марику вернули коней, надо было арабам заплатить пятьдесят тысяч долларов. Это уже отдельная и очень грустная история, как долго и с какой неохотой скидывались его богатые земляки. Но вот в прошлом году я пришел по творческим своим, как говорится, делам к Татьяне Владимировне Никулиной...

В просторном кабинете Юрия Владимировича, превращенном теперь в мемориальную комнату, среди всякого рода призов Печального Клоуна, сувениров, удивительных поделок ручной работы она сама смотрелась как живая реликвия, хранившая семейную историю в причудливом переплетении с историей цирка...

Чувствовала она себя неважно, это было заметно, тем более, что к нездоровью её прибавилась в тот день ещё печаль: у бронзового автомобиля, стоявшего неподалеку от входа в цирк рядом с как-бы вот-вот, только что, вышедшим из него тоже бронзовым, в клоунском наряде, Никулиным, ночью открыли баранку...

— Не понимаю, как это могло произойти, — с тихой грустью в уставших глазах негромко говорила Татьяна Владимировна. — Камера наблюдения выходит ну, прямо-таки на памятник, охранники от неё глаз не отрывают, а тут: не видели, и всё!.. Народу, правда, приходит ой сколько, многие, особенно малыши, забираются в машину, рулить пытаются — там уже все кругом помытерто, все блестит... Но для ребенка это непосильный труд, оторвать баранку, Ясно, что взрослые, ясно — глубокой ночью...

Не только посочувствовал милой Татьяне Владимировне, в такой нелегкий день выкроившей для меня время, — отважился попробовать настроение ей поднять.

— Насчет того, кто это мог сделать, у меня есть одно серьезное, смею думать, предположение, — сказал с нарочитой, на грани озорства, серьезностью. — Вы же помните группу клоунов Зураба Церетели на бульваре напротив?

Она только слабо повела рукой, будто отмахнулась.

Но это и требовалось!..

Вроде бы и замысел гиганта от скульптуры хорош: посреди асфальтового пятка, как посреди манежа, большой «цирковой» чемодан, как символ вечной дороги, «безразмерные» башмаки, колпак, тросточка, а на все на это, ладонями опершись о колени, жадно глядят стоящие вокруг четыре клоуна.

Но лица-то у них не клоунские — дурацкие. Позы — тоже.

Шел как-то мимо и увидел группу оживленно споривших меж собой старшеклассников, явно сбежавшую с уроков. Они умно и весело острословили, расположился к ним, разулыбался уже не только «про себя» — совершенно открыто.

И тут один из них сзади подбежал к чугунному клоуну и картинно дал ему «пенделя». Бывшие с ними девчонки залились смехом, но я — уже на правах старшего, только что одобрявшего предыдущую их браваду — подошел к парню и покачал головой:

— Ты меня огорчил, по правде сказать: только что слышны были такие умные речи, я за вас радовался — и вдруг, вдруг!..

Мальчишка так искренне удивился:

— Решили, что это — клоуну?

— А кому же ещё?

Одна из девчонок поправила на изящном лице модные очки, объяснила чуть ли не с вызовом:

— Это он скульптору!

Я виновато вскинул обе руки: сдаюсь!

Глаза у них тут же оттаяли, и я протянул пареньку ладонь, а второй наше рукопожатье прилепнул, что в переводе с малоизвестного в Москве языка «лиц кавказской национальности» значило: молодец!

Само собой, что историю эту рассказывать Татьяне Владимировне я не стал, но тем не менее как бы невольно её продолжил:

— Вы, конечно, заметили, что к творению великого Зураба Константиновича Юрий Владимирович спиной стоит?

— Это да, — сказала она.

— Он как бы отвернулся от него...

— Да-да.

— Но разве скульптору-академику... всех, какие есть и каких только нет художественных академий, это не обидно?.. И перед самым утром, когда все спят, и охрана обычно тоже, он садится за бронзовый руль легковушки Юрия Владимировича и пытается развернуть её, чтобы перегнать на другую сторону бульвара. Тогда туда бы пришлось перейти и самому Юрию Владимировичу — к зурабовским собратьям лицом стать...

Она слабо улыбнулась.

— Более того! — сказал я уже решительней. — Можно предполагать, что невольных похитителей было двое: второй пытался машину подтолкнуть сзади... догадываетесь, кто это?

Татьяна Владимировна только слегка повела головой: мол, кто же?

— Юрий Михайлович! — твердо сказал я. — Наш мэр!

Плечи под темным платком у неё слегка шевельнулись, усталый взгляд только чуть повеселел...

Но как она потом ожила, как у неё зажглись глаза, как буквально помолодела, когда я приступил к основной цели визита — начал расспрашивать её о Кантемировых:

— Юрию Владимировичу симпатизировал ещё их отец Алибек. Алибек Тузарович, если полностью, хотя у них все больше без отчества... Часто они просили включить их в одну гастрольную группу. Тогда мы почти всегда вместе питались. Тетя Марьям, их мама, готовила, а я помогала ей, была у неё, что называется на подхвате. Если бы вы знали, какая она умелая была повариха, как она всех нас кормила! Даже в то время и в тех городах, где и суп-то сварить было не из чего... Научила меня готовить кавказские блюда, я часто её потом вспоминала. А тогда... тогда у нас хоть любой обед, хоть поздний ужин после программы превращался в дружеское застолье... в широкий братский пир, поверьте. А какие они тогда были молодцы, какие весельчаки, какие красавцы: и покойный Юрик,

светлая ему память. Ирбек. И Миша, Миша, дай ему, Господи, ещё надолго здоровья!

Есть такая расхожая фраза: «следы былой красоты». Как нельзя больше подходила она в ту минуту к Татьяне Владимировне: она прямо-таки преобразилась — так вдохновили её воспоминания молодости. И как было не умилиться этим её словам, которых, стало ясно, очень мне не хватало для полного знания истории славного осетинского рода: рыцари рыцарями, но все они были «цирковыми», тем более второе поколение, все представители которого уже «родились в опилках». Как все-таки хорошо, что догадался, наконец, напроситься на беседу с Татьяной Владимировной! Как здорово, что она, хоть прихварывала, согласилась поговорить — теперь-то понятно, почему!

В который раз извинился, растроганно пожелал ей поскорей поправиться, а когда вышел в приемную, едва уклонился от налетавшего на меня с кипой бурок на растопыренных под ними руках главного администратора цирка на Цветном Владимира Ли, бывшего известного акробата.

— Видишь, даже руку пожать не могу, обе заняты, — сказал торопливо. — Англичане продляют контракт с Маирбеком, Максим Юрьич летит подписывать лично, а Маирбек просил передать с ним хотя бы три-четыре бурки: сам понимаешь, как должен джигит выглядеть!

— Дай хоть сюда руку положу, — попросил я шутливо, определяя поверх бурок свою пятерню. — Будем считать: сердечный привет нашим молодцам-осетинам!

— Да что ты! — радовался Владимир Михайлович. — Такой вокруг них там ажиотаж. Англичане вообще не пускают на остров с парнокопытными, а тут — сами просят!

Слышал бы, и правда, Ирбек!

— Молодец Марик, молодец! — радостно согласился на другом конце провода, как раньше говаривали, Мухтарбек, оставшийся теперь «в седле» старшим из династии Кантемировых. — Не только ребятам не дает спуска, он сам, знаешь, все прибавляет мастерства. Если уж англичане не отпускают, ты же понимаешь, что это значит. Главные в мире законодатели верховой езды!

... Совпадение, конечно.

Но через несколько часов я поднимался на третий этаж краснодарской Академии маркетинга и социально-информационных технологий, где вот-вот должна была начаться «Международная научно-практическая конференция» — так это громко называлось — на дорогую сердцу кубанца тему: «Научно-творческое наследие Федора Андреевича Щербины и современность.»

Прах знаменитого земляка, перенесенный с кладбища в Ольшанах, где теперь все меньше остается русских могил, находится пока в подвалах посольства Российской Федерации в Праге, но душа, душа-то — конечно же она здесь, в любимом его Екатеринодаре. Тем более — в такой день.

Это ведь наверняка и ему, крупнейшему ученому-историку, вместе с другими сородичами долгие годы маявшемуся на чужбине, обязаны мы девизом для будущего, каким они его видели через многие годы, кубанского казачества: «Слово. Меч. Перо. Техника.» Само собой, «Слово» — Божие. «Меч», в первую голову — духовный. «Перо» — как продолжение этого меча. «Техника» — необходимость идти вровень со временем.

Получивши внушительный, какие вручали, спасибо, участникам конференции, сборник научных статей, заглянуть в него попытался ещё на пороге аудитории, только потом оглядел благородное собрание, размышляя, к кому бы, на станичный лад выражаясь, присоседиться... но нет, нет!.. Лица были сплошь незнакомые. Чуть ли не штатное «перекати-поле», оторвался я от родной Кубани, хотя она всегда со мной и во мне, ой, оторвался: то Москва со Звенигородом, то, случается до сих пор, Сибирь, то — долгое и непростое майкопское житье. «У черкесов», как предки говаривали, хотя тогда под этим имели в виду само собою аулы, а не столицу, как в случае со мною, Республики.

Дотошный коренной кубанец, каких мало осталось после всех наших бед и потрясений, может тут меня упрекнуть. Уж если на то пошло, скажет, то прадеды наши произнесли бы: «у азият». Знаю, милые, знаю, но в наше архи-демократическое время, когда старое наше русское «терпение» везде и всюду заменено новомодной «толерантностью», я и предыдущим абзацем уже наскреб себе «на орехи»...

Увидел вдруг, как сидевший за школярским, за узким студенческим столом на краю скамьи неподалеку от двери крепкий бородач отодвигает разложенные перед собой книжечки чуть в вбочок и сам к ним поближе перемещается: вполне понятный жест дружелюбия. Благодарно кивнул, пошел к нему, примостился рядом и только тут вдруг узнал его: Иван Григорьевич Федоренко, батюшки! Кубанский наш нынешний Геродот.

Промелькнуло, как полтора десятка лет назад, когда начал снимать тут фильм «Вольная Кубань», не пожелал мне пособить, потому что, сказали, показался ему «красным»...

Может, с тех пор что-то, и правда, изменилось? Пока судили-рядили казачки, кто из нас да какого цвета, на загорбке черномазых «шахтериков» торжественно въехали во власть голубые да серые, беды наши!

С любопытством глянув друг дружке в глаза, поручкались, и тут же оба ну, прямо-таки нетерпеливо вернулись к «Научно-творческому наследию Федора Андреевича Щербины...» Как нам без него?

Многое в будущем устройстве родины пытались наши невольные изгнанники предусмотреть, но до самых, может быть, насущных теперь вопросов тогда так и не додумались...

Тут невольно хочется вспомнить давнюю, ещё в «советское» время написанную повесть «Брат, найди брата». По ней потом, в родной моей Отрадной, студия Довженко сняла фильм с таким же названием. Была потом дважды по Центральному телевидению прошедшая часовая передача из нашего Предгорья. Рассказывал я, считай, о том же самом. И то же название ей дали: «Брат, найди брата». Очень всем это заглавие нравилось. Внушало надежду?

Но брат брата так и не нашел пока. И нынче, пожалуй, друг от дружки мы уже ещё дальше, чем были...

Тем более — казачьё наше.

Недаром же кое-кому из нас ну, прямо-таки очень мало этого — быть русачком с таким же крученым-перезакрученным вселенскими ветрами характером, какой бывает в горах многолетняя, сучок на сучке, сосна над пропастью... Поддай-ка нам ещё и особую такую, отдельную от всяких прочих, национальность: казак.

Первый ход сделал я. Самый элементарный: «е-два» — «е-четыре».

— Какая любопытная программа, хм, — сказал как бы сам себе. — И кроме прочего, вот — «Боевой конь в системе ценностей кубанских казаков»! Некто И.Ю Васильев, соискатель, как тут указано, жаль, что имя-отчество полностью не дают: спасибо сказать...

Может, во мне ещё жили отголоски телефонного разговора с Мухтарбеком Кантемировым одним из самых знаменитых в стране лошадиников?

— Любопытно, да, любопытно, — поддержал Федоренко. И тут же, что называется, оседлал конька, которого я к нему подвел так услужливо. — Вы-то, надеюсь, знаете, что в сорок пятом в Лиенце, после выдачи Сталину казаков, всех их лошадей англичане расстреляли?

Этого я не знал и прямо-таки опешил:

— То-есть, как это?

— Вы о технологии этого мерзкого дела? — спросил он скорбно, но и слегка насмешливо. — Или о сути преступления?

— Прежде всего, разумеется, о сути: за что лошадок-то?..

— А за что в таком случае — казаков?

— Так, да, но это хоть как-то можно...

— Счастливый человек, если верите: можно!

— Согласен, и тут согласен, но кони, кони-то причем?

— В приговоре английского военного трибунала четко сказано: уничтожить, как носителей казачьего генофонда.

— Носителей, это как бы — в прямом...

— Вы снова о технологии, но суть значительно глубже... А как их уничтожали? Да просто. Глубокий длинный ров вырыли, перед рвом привязали восемь с половиной тысяч коней, и тот же батальон, который избивал казаков, расстрелял из тяжелых пулеметов. Всех. До единого. Что это был за батальон, надеюсь, знаете?

— Батальон-то — да, но вы говорите, английский военный трибунал...

— Да, Великобритании, да. Документ у меня имеется... нужен вам?

— Очень любопытно взглянуть, ну, — очень!

— Есть у вас мой номер? Нет?.. Запишите, — и, пока я доставал из сумки толстую записную книжку, пока добирался до чистого листка, он не то чтобы с укором в мой адрес — как бы с некоторой печалью за нас обоих, выговаривал. — Почему, и действительно, никогда не объявитесь?.. И что у вас — нет для меня хотя бы одного вашего сборничка?.. Других чуть не в спину с их трудами выталкиваешь, они несут и несут, а вас вот просить приходится.

— Нашлось бы место? — спросил с искренним сомнением.

Вспомнил его двухкомнатную, больше похожую на склад квартирешку: сплошные стеллажи с книгами, папками, коробками — неизвестно где спит, где ест... Когда ещё сподобимся получить из Штатов кубанские казачьи реликвии, а его уже сколько лет земляки из Нью-Джерси как только не одаривают: у него и уникальные документы, и знаки с орденами, и старинные кинжалы, о которых ходят легенды...

— Записали? Когда вас ждать?

Может, между нами ничего такого и не было, а все это, насчет кошки, которая меж нами якобы пробежала, выдумали тогдашние мои соотруднички?

Он же в корень смотрел: зачем ему, думал, помогать?.. Ведь все равно они его облапошат!

А так и вышло.

Тут только начни: сколько раз меня кинули спекулянты, прибежавшие ловить удачу на новую наживку, «на казачка», сколько раз обобрали! На станичный лад говоря: огорготали.

Сперва я переживал, возмущался, гневался, горевал, сокрушался и только потом постепенно успокоился и сам стал над собой, якобы над беспросветным лохом, даже посмеиваться: так оно и должно! Как иначе-то?

Начал кое-что понимать, когда на холодной московской улице чуть не посреди зимы у очень пожилой женщины с добрым лицом-ясными глазами купил букетик ландышей и спросил: с юга, мол? С родной сторонки?

Оказалось, из Подмосковья. Как сама она назвалась, — «природная огородница», у которой чего только не растёт в доме зимой, а уж летом-то, летом!

— Все так и лезет из земли! — делилась со мной. — Само в руки просится. А секрет — молитва: дай, Господи, урожай сам-сто — для меня, работающей, для сродников помогающих, друзей приезжающих, а ещё для воров и всяких мошенников, чтобы и они могли пропитаться!

Помню, как тогда удивился: мол, этим-то зачем?

— Вот когда поймёшь, детка, увидишь, как тебе станет прибавляться!

Спылу-сжару, что называется, я написал о ней крошечный рассказ «Своя земля и в горсти спасёт», но только потом уже, спустя годы, стал доходить до меня смысл нашей с ней вроде бы случайной беседы...

И — прибавляется!

Работы.

Но разве это не основное?

Правда, — воришек вместе с тем! Правда, — мошенников!

Не то же ли, стал я теперь соображать, происходит не только со мной — с нами со всеми?

Тут главное — головы не вешать.

Не думать, что из России нынче все — только на вынос да на вывоз. Что скоро последнее утащут.

Не опустим рук — и нам маленько останется.

А много ли доброму человеку надо?

Тут мне придется прощения попросить: разговорился!

Но так совпало, что над памятником покойному другу Юре Кантемирову, Ирбеку Алибековичу, с которым и нынче мне беседовать интересней, чем с иными живыми мертвецами, тружусь в те годы, когда заодно пытаешься подвести уже и собственные итоги, что делать!

...Конференция началась, и я пытался вполуха слушать официальные речи, а впоглаза все-таки пробегать абзацы из «Боевого коня...» — так поразил меня Иван Григорьич своим сообщением.

Приготовишка! — думал о себе. — Получил от гроссмейстера?

И вот, вот:

«...высокий статус... причастность к сакральному... Казачья мифология коня — производное от общеславянской... конь как амбивалентное существо, причастное одновременно разным мирам (мир живых и мир мертвых, мир людей и сверхъестественных существ). Поэтому он считается

посредником между разными сферами бытия, помощником всех тех, кто путешествует между ними, непременным участником похоронных обрядов, носителем значительного магического потенциала...»

Вот оно, — думал. — Тепло, да... еще теплей!

«Конь читался атрибутом общественных сил, помогающих казаку в борьбе с врагами... способен помочь своему хозяину установить контакт со своими родными, если он находится на войне: „Заржи, заржи, мой конечек, подай голосочек, чтоб слышала ридна маты, сидючи у хаты!“... наделялся способностью предсказывать будущее... Падение с коня главнокомандующего ВСЮР А. И. Деникина во время смотра в начале января 1920 года пагубно отразилось на боевом духе Кубанской армии... Конь для казака — символ воинского ремесла и неразрывно связанных с ним силы, свободы, аристократизма... символ причастности к мужской субкультуре... Схватить чужого коня за повод — оскорбить хозяина... подлинный и самый верный товарищ, если расстанутся казак и конь, плачут оба...»

Господи, Господи: как небось тогда, в лагере под австрийским Лиенцем, и те, и другие плакали!

Не раз и не два потом возвращался я к размышлениям о безжалостном расстреле англичанами казачьих коней, не раз и не два вслед за этим вспоминал то фантастические рассказы своей родни об удивительных лошадиных способностях, а то почти невероятные истории станичных дедков-старожилов, из тех, кто, считай, до глубокой старости удивлял своих земляков джигитовкой или рубкой лозы на скачках.

Бывало, кому-то из молодых кое-что по случаю и сам пересказывал.

В родной станице Петра Величко, в Передовой, дожил почти до ста лет полный Георгиевский кавалер Иван Васильевич Шаповалов, в Месопотамии, в 1916-ом, воевавший в русской разведке при английском экспедиционном корпусе. Беседовали мы с ним не однажды и несмотря на разницу в возрасте подружились. При встречах, бывало, жалковали не только об исчезающем укладе казачьей жизни — вообще над порядком и посмеивались, и когда я как-то откровенно спросил его, почему в свое время «пошел за красных», Шаповалов слегка приподнял подбородок над сложенными по-стариковски на рукояти палки ладонями и посмотрел на меня ну, так внимательно, ну, так — грустно.

— Оно мне надо было, за когой-то иттить? — спросил горько. — Когда вся эта заваруха началась, наши командиры в Месопотамии порешили, что не дело казенное имущество бросать, да ещё хуть бы кому оставлять, а то — турку. Все собрали до ниточки, на пароходе через Каспий перевезли, по описи сдали, и — по домам. Забот много, четыре года на фронте да на чужой стороне, шутка ли?.. Не знал, за что хвататься... А один раз с покоса вернулся, жена и говорит: были тут фостиковы ребята, забрали все твои ордена. На персидском ковре на виду висели. Наверно, сказали, зря он их получил, если война идет, а он сено косит!.. Ну, и поехал я свои «георгии» отымать, да только через три года, когда низзя и показывать, вернулся с ими за пазухой, а на груди уже «красное знамя» ...С одной косовицы да прям — на другую!

— Да, Иван Васильевич, — сочувственно сказал я как бы приличествующее в таких случаях. — Да-а...

А он не выговорился, видать, — опять вскинулся:

— Нет бы тогда — пертерпеть! Но и рукой махнуть... Попробовал бы кто коня мово схватить за уздечку! А кресты что? Зубами не цопнет, копытом не ударит...

— Нравный был конь?

— Мальчик мой? — прямо-таки зажегся Иван Васильевич. И тут же вздохнул. — Таких коней нонче нету!.. Нравный больше был я, а он — дюже чуткий.

— Звали Мальчиком?

— Кликал так, а он, и правда, — как мальчик. Послушный, ласковый. До тех пор, пока не ускрыкнишь. А ускрыкнул — тут всё.

— На него?

Шаповалов не то чтобы удивился — как бы даже осудил меня:

— Да кто ж на коня кричит?

— А на кого, на кого?

— Боевой ускрык!.. Никогда не слышал?

— Был такой?

— А как — без его?! Отвагу им в себе вызываешь. Ускрыкнул, и только она в тебе, а все остальное куда делось. Ты и шашка — всё!.. А он не только понимает, думает — это и для его крик. Как рванет вперед, как занесет!.. Ох, придавал работы! После атаки я ему: что ж ты делаешь? Думаешь этой своей станичной башкой или нет?.. Или ты один хочешь остаться? Твое дело не вперед бечь, тут ты моих коленок слухайся, твое дело — убежать! — Иван Васильевич нарочно нахмурился, пока Мальчику своему через столько-то лет за излишнюю резвость продолжал выговаривать, но тут же прямо-таки расплылся в улыбке. — Зато убегал Мальчик — ну, уме-ел! Только держись на ём — заяц и заяц!

С Петром Величко мы познакомились, когда Ивана Васильевича уже не стало. Встретились в Москве: «джинсовый король» заглянул в Московское землячество казаков, в котором, был грех, я тогда атаманствовал. Как-то так вышло, что общий язык с ним нашли тут же, расставались почти друзьями, обещал писать, и в конце первого же его письма вместо привычного нашего «жму руку» или там «обнимаю» стояло четким и твердым почерком выведенное: «Грею боевым взглядом!»

О том, что в молодости служил он в спецназе и был во Вьетнаме, я уже знал: пришлось теперь не без усмешки подумать, что вовсе не с «сантиметром», не с ниткой да иглой этот американский казачек туда ездил.

Вспомнил Ивана Васильевича с его «ускрыком» — боевым вскриком: серьёзная была, видать, эта казачья школа — передовская!..

Это теперь каких только книжек о казаках не напечатали, чьих только воспоминаний не вышло, а в начале того самого, так и не состоявшегося пока «возрождения», знание, утерянное нами, казалось, уже навсегда, приходилось собирать по крупицам, и я радовался строчке Петра о «боевом взгляде», который из Соединенных Штатов, из Калифорнии, бумерангом вернулся в Россию, на родину. Радовался, но — никому не говорил тогда.

Начнут наши самонадеянные мальчишки, а то и болваны куда старше «боевым взглядом» друг дружку «греть» — порчу, чего доброго, наведут на казачество, и без того не очень здоровое... Станут «боевой ускрык» осваивать где-либо в общественном месте, а то и дома на кухне — такой начнется дурдом!

Вспоминал я и доброго знакомого своего жеребца Асуана, который остался без хозяина.

Или — без верного товарища, без лучшего друга?

Вадим Цаликов, который много снимал Ирбека в последние годы, съездил на конезавод в Целинное

под Ростовом, где бедовал сирота-коняшка, снял теперь его одного и сделал ну, до того пронзительный фильм: «Прощай, Асуан!»

«Видика» у меня нет, подаренную Вадимом кассету посмотреть поехал к младшему сыну, к Георгию. Сидел со своими малыши, ничего пока не понимающими внуками, и откровенно хлюпал — такая тоска была в залитых слезами глазах полузабытого нынче всеми, обделенного заботой и вниманием жеребца.

Позвонил Вадиму, сказал добрые слова, спросил потом: узнал, мол, тебя Асуан? Обрадовался?

— Только и того, что человеческим голосом ничего не сказал, — грустно отозвался Вадим. — Заржал сперва так, что у меня — мурашки по коже, а потом тише, тише... Положил мне голову на плечо: я плакал, а он вздыхал. Слышал бы, с какой болью!

Потеря общего друга нас с Вадимом объединила. Оба хорошо понимали, что его не хватает не только нам, оба без лишних слов ощущали, какая нелегкая забота нам выпала: вместе с доброй памятью об Ирбеке сохранить и его духовное наследие, неотделимое не только от кодекса чести горца — от всего лучшего, присущего и русской традиции, и мировой культуре. Как жаль, что он так ярко светил, что буквально сгорел в те дни, когда любимое его, доставшееся от отца слово «порядочность» стремительно выходило из моды!

Не раз и не два говорили мы с Вадимом о необходимости общей, посвященной Великому Джигиту работы — большого документального фильма, в который вошла бы и кинохроника, и многочисленные любительские съёмки, и фотографии, и рассказы «в камеру» старых друзей Ирбека... Обсуждать наши планы на этот счет сделалось для нас обоих прямо-таки потребностью: то я вдруг звонил Вадиму — поделиться очередной идеей, то он вдруг предлагал повидаться.

Однажды посреди привычного разговора о том, что могло бы войти в будущий фильм, Вадим улыбнулся:

— Всё забываю рассказать тебе историю, которая наверняка за кадром останется. А жаль, знаешь... Не говорил Юра, как они с Асуаном работали на открытии мексиканского ресторана в Шереметьево? ..

Происходило это в те горькие для Ирбека дни, когда искал деньги, чтобы выкупить в Саудах лошадок Марика. Тогда-то и позвонил ему владелец нового ресторана: обращаюсь, мол, по рекомендации вашего земляка, который тоже будет на торжестве. Окажите, мол, честь, а мы, разумеется, в долгу не останемся.

«Земляк» был тем самым состоятельным человеком, который накануне твердо пообещал помочь Кантемировым: как было не откликнуться, как не уважить?

Верхом на своем любимце Ирбек уже показался в проеме ресторанного зала, когда к нему быстро подошел кто-то из obsługi с громадным сомбреро в руках:

— Давайте-ка сюда вашу папаху, а это наденете!

— Вот как? — удивился наездник. — Какой же вам горец папаху отдаст?

— Не бойтесь, ничего ей не сделается!

— За неё-то я не боюсь, я — за себя...

— Вам-то чего у нас бояться? Давайте-давайте!

— Папаху только с головой отдают!

— Да не о чем вам беспокоиться... задерживаем начало, — посмотрите, какая публика ждет!

На одном языке, казалось бы, говорили, да вот — о разном...

К ним поспешил владелец ресторана, пошел торопливый разговор: почему не предупредили заранее? — справедливо укорял Ирбек. — Надел бы кожаную куртку с махрами, есть такая из Мексики, и даже почетный знак, мексиканскую «Золотую подкову», на неё нацепил бы. «Сыграл» бы вам мексиканца. Но сомбреро — под черкеску?!

Так вышло, — мягко настаивал хозяин. — Но договор остается в силе: вас щедро отблагодарят. И потом: об этом же просит и ваш земляк, наш партнер по бизнесу — надеть сомбреро. Понимаете ли, это символ нашего ресторана...

Сидевший на почетном месте неподалеку богатый «земляк» кивал Ирбеку и прикладывал руку к сердцу: и я, мол, прошу, и я...

— Пришлось-таки Юре надеть эту мексиканскую шляпу, — с печальной улыбкой рассказывал мне Вадим. — Но видел бы ты, как нехотя они оба работали — и Юра, и Асуан... А в самом конце, когда «мексиканцу» уже поднесли рюмку «текилы», и он снял, наконец, сомбреро, ты знаешь... раздался неприличный звук и на паркет посреди зала посыпались лошадиные «яблоки», да столько, что не прикрыть никаким сомбреро!

— Чтобы с Асуаном — да вдруг такое? — пришлось потихоньку рассмеяться. — На репетиции лишнего катяшка не уронит!

— А вот представь себе! — посмеивался Вадим. — Более того: Юра взялся нарочно громко журить его, а он подался мордой, губы вытягивает — Юра не выдержал, наклонился ухом, чтобы тот лизнул все-таки: что ты хочешь сказать? — с укором спрашивает. — Что-что?.. Давай-ка выйдем, бесстыдник, — поговорим без свидетелей!

Как живо представил я эту сценку, посреди благопристойного ресторанный зала превращенную Ирбеком в цирковую миниатюру!

— Ведет потом Асуана к коневозке, — продолжал Вадим, — и всё выговаривает: ну, зачем ты это сделал, зачем?.. То, что доллары — это навоз, мы с тобой давно знаем. А они, брат, нет — новые русские да новые осетины. Ты думаешь, наложил там посреди ресторана, и они поймут, что ты этим хотел сказать?.. И получим с тобой такую же кучу «баксов», чтобы наших лошадок выручить: нет, брат, — не поймут!

Их тогда, и в самом деле, не поняли. Нужную сумму, чтобы покрыть саудовский долг, так и не дали.

Не однажды вспоминая рассказ Вадима, я все представлял себе и этот шикарный ресторан с гигантскими кактусами по углам, и богатые седла со шпорами и уздечками под висящими на стенах национальными шляпами, и роскошно одетых мужчин и женщин, разомлевших от модной в то время водки из кактуса.

И верного Асуана, так непочтительно по отношению к досточтимой публике поступившего...

Мои записки об Ирбеке, о цирковой династии Кантемировых подходили к концу, во всяком случае — так мне хотелось думать.

Как бы там ни было, вел я их тридцать лет: чего только за это время не произошло, чего не случилось. Вместе с очередным актом медленно длящейся вот уже второй век русской трагедии, стремительно, как бы с явным опережением изменился нетерпеливый Кавказ, и не в лучшую сторону переменялись его насельники...

Несгибаемый романтик, ещё недавно я полагал, что здешние кремни и славянская сталь вместе способны высечь яркое и чистое пламя... что высокая планка горского этикета и лучшие черты русского характера в близком соседстве своем, в ежедневном и ежечасном соревновательном делании добра непременно создадут общий дух издревле ценимого на Кавказе выше храбрости благородства и неиссякаемого милосердия, сострадательного понимания общих бед и братской взаимовыручки...

Этого не случилось.

Не лучшее мы перенимаем один у другого — учимся худшему.

Когда-то я, как притчу, рассказывал мало знающим Кавказ москвичам чуть ли не азбучный пример из «адыге хабзе» — черкесского кодекса чести:

— Магомед, твой сын упал в колодец! — раздаётся в ауле тревожный крик.

И слышится спокойный ответ:

— Понял, иду барана резать!

Слушатели мои удивлялись: какая, мол, черствость! Вместо того, чтобы бежать к колодцу, отец — за поминальной овцой.

С каким торжеством принимался я объяснять: да нет же! Не для поминок баран — для щедрого пира в честь соседей, которые по закону гор обязаны сделать невозможное, но — спасти мальчика...

На это ещё недавно Ирбек надеялся, об этом не однажды с ним говорили: что исповедующие «общечеловеческие ценности» наши отечественные пустобаи ещё посрамлены будут, когда не только Кавказ — вся Россия как от всеобщей порчи, очнется, наконец, от внушенного чужими идолами дьявольского наваждения и вернется к традиционным народным идеалам, к национальным святыням, к древним своим покровителям и защитникам — терпеливцам, праведникам, богатырям и героям.

Но пока, пока...

Как значки для новичков либо слишком доверчивых остались над Кавказом висеть сильно обветшавшие ценности «адыге хабзе» у одних, «намыса» — у других, извечное простосердечие и правдолюбие русских, а под значками этими идет скрытая от глаз жестокая игра без правил: в «бэбэ».

Кто кого «нагрэбэ»...

Падали мы, считай, стремительно и даже как бы с охотой.

Выкарабкиваемся медленно и с превеликим трудом.

Не это ли основное наше занятие последних черных десятилетий: скорбное сопротивление злему чужому обстоянию.

Но кончится когда-нибудь власть этих модно одетых мальчиков со вставным — вместо здравого ума — интеллектом и съёмной совестью — кончится! И мир ещё обратится к тысячелетнему горскому да казачьему опыту самоограничения и благодарного довольствования малым. И всё, казалось, постигшие умники, «Крым и Рим» неостановимо прошедшие ловкачи почти с удивлением вдруг припомнят — то, что в последнее время ловили на слух, как глухое «хап — зе», на самом деле пишется через «бэ» звонкое и по-прежнему означает: «честь».

Записки мои о задушевном друге Ирбеке Кантемирове и славной его родне подходили к концу и уже летом, в Москве, я попросил Мишу тут же известить меня, когда проездом либо «пролетом» снова появится дома Марик... Так вышло, что во время его долгих странствий — гастролей в разных, считай, концах света — я успел познакомиться с его полуторагодовалым тогда сыном, с Юриком, — не пора ли повидаться и с папой?

Говорят, ничто не происходит случайно... Очередное доказательство этому получил, когда из подмосковной деревеньки, где летом обитаем, из Кобякова, пешком шел на железнодорожную станцию, в Звенигород, и обогнавший меня черный новенький «мерседес» остановился и стал вдруг сдавать назад. Редкостное, прямо скажем, явление — тем более, что не только не поднимал руки, даже не оглядывался — заставило меня прибавить шагу: за рулем улыбался Владимир Михайлович Ли.

Пришлось развести руками:

— Володя? Ну, не цирк, и правда!

— Цирк, — посмеивался он. — Точно — цирк. Что ты тут делаешь?

— Я-то здесь живу, это ты — что?!

— Так и я вроде как живу: мы тут дачу снимаем. В основном из-за внука: домашнее молоко, свежий воздух...

Пора, пожалуй, сказать, что Владимир Михайлович, — тесть Маирбека. Сын корейца и украинки, с русской женой он произвел на свет Божий красавицу, против которой не устояла мужественная Осетия. И на следующий день я показывал ему свою «историческую», купленную у одного из потомков Пушкинской няни, Арины Родионовны, избу, в которой его встречала двухлетняя внучка Василиса, а потом мы поехали знакомиться с её ровесником, сыном Марика и Марины, внуком Ирбека — Юрой.

Черноглазый и чуть смуглый бутуз крепко обнимал деда за шею, и я долго уговаривал его пойти ко мне, он, наконец, решил, но стоило оказаться у меня на руках, как тут же раздался такой густой, ну, такой богатырский рев!

— Нарт! — сказал я, отдавая его Володе. — Разве обычный ребенок смог бы так?

— Шутишь, а он, и правда, — богатырь, — как бы не без некоторого смущения от моей похвалы подтвердил Владимир Михайлович. — Стараемся с бабушкой, и Марина, когда не с Мариком, помогает. Потому и живем тут, хоть на работу далековато. Собираюсь перейти правда...

— Ты? — я удивился. — Из цирка?!

— Нет, внутри него...

— То-есть?

— Маирбек просит пойти к нему администратором группы, сейчас ему без надежного помощника никак... Максим Юрьич поворчал было, но Марик уговорил его: ударили по рукам. На мое-то место найдется столько желающих, что выбрать можно, — и улыбнулся своей восточной мягкой улыбкой. — Выбирает пока генеральный!

— Это великолепно, если станешь Марику помогать!

— Конечно! — согласился охотно, и в голосе вдруг послышалась застарелая горечь. — Нам-то кто помогал?..

Печальную историю Владимира Михайловича знал давно: «на Цветном» был уже одним из ведущих акробатов, но, как многие цирковые бродяги, скитался в Москве по съемным квартирам, мечтал о кооперативе, и вот оно, вот — группу, в которой работал, включили в «японскую» выездную программу. Выступить в Стране Восходящего Солнца предстояло долго, появился шанс подкопить денег, но для этого надо было ввести тот самый «режим жесткой экономии». А на чем можно сэкономить? Конечно, на еде.

Голь на выдумки хитра, дело известное: и сам давно уже знал об этих печальных «маленьких хитростях», и снова подучили коллеги — один из самых объемистых сундуков для хранения реквизита забили банками дешевых консервов.

— Впервые в жизни лежал потом в собственной квартире, смотрел на голые стены и помирать готовился, — грустно посмеиваясь, рассказывал мне, когда возвращались однажды в его машине из Новогорска, где поминали Ирбека. — Там я ещё держался на этой проклятой кильке в томатном соусе с сухарями. А стоило вернуться, во мне будто какая-то пружина лопнула... Как в часах. Мало того, что в желудке непереносимая боль, покрылся сыпью, потом такие струпья по всему телу пошли — не мог себе вообразить, что вообще такие бывают. стыдно сказать: лежал, гнил заживо, и никакие врачи...

Надолго замолчал, а я вспомнил, как десятка два лет назад позвонил вдруг из Новороссийска Ирбек: нет ли у меня добрых знакомых в Главном таможенном управлении?

Что, спрашиваю, случилось?

Нетелефонный разговор, отвечает, да что теперь делать: только что вернулись из Турции, где у осетин большая диаспора... И земляки насовали подарков, ну, как откажешься — люди на чужбине несколько лет ждали приезда конников с родины! И сами ребята кое-что прикупили, ведь знаешь: и ломаный-переломаный Ким Зангиев голый, считай, уходит на пенсию, и Славик Камаев... Привезли этого дерьма, шарфиков да косынок нейлоновых больше, чем полагается — арестовали наш реквизит...

«Легенда Советского цирка», «Слава социалистической Родины» ...Как вспомнишь, Господи!

В какой узде их самих держали — те, кто всех нас продал потом с потрохами!

— И как ты, Володя, все-таки выкарабкался?

— О нас ведь, о цирковых, чего не рассказывают, — вздохнул Владимир Михайлович. — И такие мы, и сякие. И крохоборы мы, и завистники. И подножку друг другу можем, и... да мало что говорят! А меня ребята в машину несли на руках: травщика-старичка нашли под Владимиром...

— Смотри-ка! — удивился я. — Сам — Владимир, и травник... травщик, ты говоришь?

— Это он так, да: травщик.

— Так вот: ты — Владимир, и он — под Владимиром...

— Вот и он с этого: и ты — Володя, и защиты ищешь у володимирских. А где крест?

— Не было?..

— Опять меня ребята в машину и — в церковь во Владимир. Крестить. Вернулись, он говорит: теперь ты стал другой человек. Этого лечить буду. Этого берусь...

— Вот такая история!

— Да что ты! — подхватил Володя Ли с такой благодарностью, с таким искренним восторгом, что ясно было: это у него — навсегда. — Сам поправляет: травщик я. Травознай. Только — по травушкам... он так ласково! Каких только в доме, и правда, нет! И на чердаке, и в сараюшках. Да и в огороде у него не картошка растет — все кустики да цветки. Травщик я! — все повторяет. Но он, конечно, волшебник, — и сам езжу до сих пор, и привожу друзей... вообще-то имей в виду: вдруг прихватит...

Володя, милый!

Спасибо тебе. Но где нам — такого травщика найти, такого доброго волшебника, когда «прихватило» нас теперь — чуть не всех сразу?!

Какой травознай, каким способом предложит соотечественникам сокровенную одолень-траву вместо прущей из всех русских трещин разрыв-травы, вместо телевизионной да печатной дурман-травы да усыпляющей трын-травы властной?!

...Марик ждал меня у служебного входа цирка на Цветном, но тут же, не дав разглядеть себя, настойчиво открыл дверь вовнутрь:

— Не против, если не буду отрываться? Тут кое-что надо — срочно.

— Единодушно одобряю, как мы раньше пошучивали...

Но шутить он был расположен, как я понял, меньше всего.

По широкому бетонному кругу за кулисами, чем только по обе стороны не заставленному, быстро прошли к раскрытым во двор высоким воротам, он остановился в них руки в боки, и я, казалось, перестал для него существовать. Но, может, и хорошо?

Потому что стоял широко раскрыв рот.

На недлинных чембурах в руках у конюхов по двору легко и грациозно выписывали затейливые кружева пять явно молодых, ладных краснобурых лошадок со светлыми хвостами и светлыми гривами.

Я не выдержал:

— Ах, какие красавцы!

— Текинцы, — коротко бросил Марик.

— Твои?

— Уже — да.

— И давно ты их?..

— Вчера отдал деньги. Большие пришлось...

— Но ведь стоят того!

— Стоят, — твердо сказал он.

Но я-то, я!

Нашелся знаток-лошадник...

Или в каждом из нас неистребимо живет не только любовь к красоте, но и воедино слитая с видом сильной и хорошо ухоженной лошади древняя, ещё со скифских времен тяга к беспредельным пространствам и вольной волюшке?

Послышалась вдруг негромкая мелодия: на поясе у Марика проснулся мобильник. Он неторопливо выпростал его из чехла, сказал короткое «да», тут же перешел на английский, а когда левую руку с трубкой подпер подмышку заложенной правой и стало понятно, что коротким разговором дело явно не обойдется, я отошел чуть в сторонку, снова принялся рассматривать красавиц-лошадок... где он их, любопытно, приобрел? На их исторической родине, у туркмен, или кто-то разводит уже в России?

Конюхи были одинаково молодые, иногда деловито взглядывали на продолжавшего глазами следить за лошадьми Марика, и я тоже с интересом посматривал на него... Почти не изменился, в одной, как говорится, поре: те же внимательные глаза, лицо строгое, хоть вальяжности, может, слегка прибавилось... Ну, да что же — хороший знак. Отцовской сухощавости в нем не замечалось, считай, и раньше, мама тоже не давала повода предполагать даже легкую полноту, во все годы, что знал Кантемировых, Нэдда оставалась — само изящество, а Маирбек выглядел всегда как налитой, во всяком случае, мне так казалось. Как у спортсменов: за счет «физики»?

Теперь на нем был тонкий, с треугольным вырезом пуловер на голое тело, открывавший сильную шею... Только ранние залысины, хоть стрижен, словно мюрид, «под ноль», стали больше заметны...

Да и то!

Половина группы в Лондоне, половина — в Сеуле, а сам любитесь тут, в Москве только что купленными лошадками... видел бы, и правда, Ирбек!

Он вложил, наконец, мобильник в чехол. Я вернулся к нему поближе.

— Ты, вижу, шпаришь уже как англичанин?

— Столько там торчать... приходится шпарить.

— Оттуда звонили?

— Из посольства. Приятель, но по делу...

— Отец хоть какой-то язык, — начал я, — хоть более-менее.

— Он — немецкий, — сказал Марик. — Довольно прилично знал. У него был друг-импрессарио. В Германии...

— А, да! — припомнил теперь и я. — Да... а где можно посмотреть твою нынешнюю программу?

Маирбек чуть заметно улыбнулся:

— Пока только там.

Мне-то можно и рассмеяться. Над самим собой:

— Как можешь догадаться, ни в Лондон, ни в Сеул попасть мне в ближайшее время не придется. Кассета у тебя хоть есть?

— Не совсем удачная. Попросил одного из наших, а он снимал больше публику: ну, нравилось ему, как они вскакивают. Народ больше молчаливый, но когда дело касается лошадей...

— Чем ты их, если коротко, взял? Англичан.

Он четко сформулировал:

— Авангард. Мистика.

Дело вообще-то удивительное: всегда хорошо помнил первую самостоятельную программу Марика. Может, и действительно, потому, что очень уж переживал перед этим: а вдруг случится провал? Либо только мне почему-то не понравится... Что тогда говорить Ирбеку, как утешать его? Неужели, сказавши правду-матку, придется старого друга обидеть?

Помню, как потом изумлялся, как за Марика радовался, как, вернувшись домой уже к полуночи, тут же сел за стол и, в приступе творческой лихорадки, как говорится, тут же написал три сранички: о скифах, какими их только что на цирковом манеже увидел...

Был там сменивший не только Юрину — вообще кантемировскую классику авангард, был. И мистики — выше головы. Чего стоила сцена битвы на мечах с завязанными глазами: опасный и не всегда справедливый путь человека из мрачной глубины тысячелетий в наш якобы безоблачный, «цивилизованный» день. От поклонения мечу с перекладной рукоятки — обожествляемой, но бездушной силе — до одухотворившего жестокий мир христианского креста, впервые заставившего древнего наездника понять: подобие Божие — он сам.

Осетинский путь к Уастырджи: святому Георгию.

— По сути с того и другого ты начал первое свое представление, — с удовольствием Марику напомнил. — А теперь без мистики да авангарда не обходится ни один лучший цирк за рубежом. Спасибо единственно приличной на телевидении программе «Культура»: цирк она не обходит вниманием. Чего стоит только канадский, в котором и то, и другое — главное... вот ты мне и скажи. За границей учился или сам теперь её учишь: можно ведь подумать и так, нет разве?

— Можно подумать, — скромно согласился джигит.

Или пора уже и его: с большой буквы?

Снова нас перебил мобильник, я было уже приготовился опять услышать английскую речь, но послышалась, слава Богу, осетинская...

Опять я отошел чуть в сторонку, опять поглядывал то на красавиц-лошадок, а то на сына своего старого друга, на продолжателя его дела... Прочно сидит в седле!

Но только ли это отличало Ирбека от столь многих остальных наездников?

С энергией молодости отринув поднадоевшую за время ученичества классику, сбережет ли Марик высокий дух джигитства, не пустит ли его на распыл в погоне за удачей, которая сейчас к нему так благосклонна?.. Или удача эта пока — запоздалое вознаграждение Юре, а на миг-другой перед благодарными зрителями лондонского цирка опущенные на грудь головы отчаянных наездников Маирбека — это ещё и общий поклон ему, сумевшему поддержать их всех, по сути дела — сберечь, в печальное время перемен и чуть не всеобщей душевной смуты...

Что ж, думал я, поглядывая на продолжавшего разговаривать по мобильнику Марика, — он то серьёзно покивывал невидимому своему собеседнику, а то вдруг начинал улыбаться... Что ж: пусть они не помнят, англичане, о преступлении своих отцов перед всем многочисленным лошадиным родом... пусть о нем ничего не ведают. Пусть не догадываются, что на земле любимого своего короля Артура горячо аплодируют и близкой его родне, и заодно — «носители генофонда». На этот раз, правда, — осетинского. Но только ли его, только ли?..

Как, бывало, покрикивал на своих наездников Юра:

— Кура-аж, где — кураж?!

Разве не «боевой вскрик»?

А «боевым взглядом» каждый из них и теперь греет публику, когда на полном скаку, стоя на седле во весь рост, отчаянно кинет вбочок и вверх правую руку, приподнимет подбородок и горящими от внутреннего восторга глазами лихо поведет по притихшим рядам...

Маловато, конечно, осетин были казаками: что правда, то правда.

Почти тут же, как правило, становились казачьими офицерами...

Да и коли внимательно посмотреть, куда Маирбек давно уже заглянул якобы в поисках мистики, картину увидим самую, что ни на есть, реалистическую: один у нас древний генофонд. Общий когда-то. Скифский.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАННИКА — 2, или

«Не бойся, я с тобой!»

Сценарий документального фильма, написанный по предложению Северо-Кавказской киностудии

Днем в городской квартире в Майкопе несколько мальцов десяти-двенадцати лет, адыгейцев и русских, сгрудились у телевизора.

На экране — кадры из представления Конного театра Мухтарбека Кантемирова «Прощай, Русь. Здравствуй, Русь!»: святой Георгий в алом плаще на серой, в яблоках лошади.

— Вот он, вот он! — слышатся возгласы.

— Что он — так и приедет?

— Ага, жди!..

«Святой Георгий» приподнимает с земли и усаживает перед собой русоволосого мальчика...

И в это время вошедший в комнату старый черкес, явно аульчанин, выдергивает из гнезда штепсель:

— Городские бездельники! В мои времена никому в ауле не пришло бы в голову начать рассказывать сказки или даже петь героические песни о славных сражениях, пока не село солнце, вы слышите?!.. Пока оно тебе светит, ты должен в поте лица трудиться, чтобы добыть свой хлеб. А вы с утра до ночи сидите перед этим разноцветным ящиком...

— Это не ящик! Это фильм о джигите, который должен завтра приехать к нам...

— Да, отец, — говорит вошедший в комнату человек средних лет в форме полковника МЧС — Мурад Гунажоков. — Это тот самый мой друг-осетин, Мухтарбек Кантемиров, я говорил тебе...

— Включите, дедушка! — просит кто-то из ребятишек.

Но старик говорит почти торжественно:

— Я умею только выключать эту штуку!

Полковник включает «видик»:

— Сейчас он на съемках фильма в Крыму, но дал слово вырваться...

— Джирджис? — с уважительным удивлением спрашивает старик, вглядываясь в экран. — Если наш кавказский святой Георгий, как у русских, если Джирджис дал слово — должен приехать обязательно! Надо срочно приготовить кунацкую, а вы сидите, бездельники! Что с вас взять? Слово хочешь вы видели только на вывеске гостиницы, а что это такое... ты уже зарезал Мурад? Для такого гостя — лучшую в отаре!

— Вот моя отара, отец, — с ноткой некоторой вины говорит полковник, покачивая бумажник.

— Опять на базар, — ворчит старик. И тут же меняет тон. — Надеюсь, ты знаешь, что должен купить мясо молодого здорового сильного быка, если этот джигит тоже будет участвовать в нашем празднике? — и смотрит на мальчишек, взглядом прощая им недавний «проступок». — А что может быть полезней для наших младших, ым?

И вот дорогой гость сидит за столиком-треногой, традиционным анэ, по бокам от него — Мурад и отец в черкеске и в папахе, чуть неподалеку — еще взрослые, а по обе стороны двери замерли двое мальчишек, по первому жесту готовых услужить старшим...

— Для нас ты не только особо уважаемый дальний гость, — значительно говорит старик-аульчанин, воздевая руку. — Ты еще и высокий гость. Я видел... по этой штуке... Святой Георгий по-нашему — Джирджис...

— По осетински — Уастырджи, — улыбается Мухтарбек. — Но это в театре...

— Мурад говорил мне, что ты не только учишь скакать на лошади в той академии, где он опять учился, но у тебя есть этот самый театр. Но почему он называется конный, скажи, — в него ходят лошади?

— Бывает, конечно. Другой раз заходят. Такие... такие...

— Жеребцы?

— Не только жеребцы! — в тон ему отшучивается Мухтарбек. — Но вообще-то конный он потому, что актеры в нем практически не слезают с лошади...

— А зрители? — переспрашивает старик. — Зрители тоже приезжают на лошадях?.. Или на вонючих от разбавленного бензина иностранных машинах, на которых теперь кто только не ездит.

— Тут, пожалуй, стоит подумать...

— Будь моя воля, первым делом пересадил бы на лошадей наших больших начальников. Во-первых, стало бы ясно, чего он стоит: если не умеешь управлять лошадью, как можешь народом управлять?.. И сразу, еще до газеты или до этого... еще до разноцветного ящика можно будет видеть, какое они дурное опять приняли решение...

— Как бы ты об этом узнал, отец? — спрашивает Мурад.

— Если твой друг дружит с Джирджисом... как по-вашему? Уастырджи. Тогда он должен помнить...

— Если я правильно понял нашего уважаемого старшего, в горах был раньше обычай: привез печальную весть, соскакиваешь с седла не как обычно — сходишь с другого бока лошади...

— Слышите? — оглядывает старик-аульчанин собравшихся. — В последнее время наши большие начальники приносят нам все больше нерадостные вести... Может быть, им для езды хватило бы в конце концов одного стремени? Только с него бы и слезали на землю...

— Будем верить, что наш великий покровитель святой Георгий все-таки вразумит их, — говорит Мухтарбек.

— Без веры в это никак нельзя, — значительно говорит аульчанин.

В кунацкую входят молодые женщины с подносами, на которых горы овощей и фруктов.

— Это от родни, которая живет под Майкопом...

— Передайте: пусть великий Бог пошлет им такой урожай, чтобы пришлось звать весь аул выносить его с огорода, — благодарно говорит Мухтарбек. — Или тащить из сада.

— Вы слышали это благопожелание? — обращается к мальчишкам явно довольный старший. — Наш уважаемый гость живет в Москве, но закон гор знает, бездельники, лучше вас!

— Будем надеяться, они не зря стоят в этих дверях, через которые в дом ваш, мир ему, благодаря вам возвращается старый обычай.

— Так, так!.. Разве не надоело ему прятаться высоко в горах, скитаться по чужим государствам, где наши земляки берегут его как собственный Рлаз, да по страницам старых книжек, которые теперь никто не читает...

Один из мальчишек порывается возразить:

— Почему не читаем? Мы...

Но второй дергает его за руку.

— А ты его чтишь, выходит, в Москве., — продолжает старший.

— Еще мой отец, народный артист Советского Союза, Алибек Кантемиров говорил, что вдалеке от дома обычай надо блюсти особенно свято... И мой старший брат Ирбек, светлая ему память, тоже это всегда подчеркивал: будешь чтить свой обычай вдали от родины — Москва в конце концов вспомнит свой...

— Да будет так! — поднимает стакан старший. — За сказанное... Пусть эта наша бахсыма, домашний легкий напиток из кукурузы останется в наших краях самым крепким!

— Да будет так.

— И чтобы эти наши бездельники, которых мы часто балуем, выбрали чистую родниковую воду в наших горах, а не эту шипучку, название которой настоящему мужчине стыдно произносить...

— Ничего-ничего, завтра они тоже покажут, на что способны, — говорит Му рад.

— Я знаю, что гость не должен спрашивать, но все-таки...

— Что будет завтра? — понимает Мурад. — Мы приготовили тебе маленький сюрприз: позвали тебя

на тот день, когда у нас в Адыгее будет джегу — старинное игрище черкесов...

Красивая долина под Майкопом заполнена конными и пешими — участниками джегу и зрителями.

Всадники в черкесках — адыгейцы и казаки, группки танцоров в национальных костюмах, музыканты — баянисты, гармонисты, трещоточники... Доули будто отбивает ритм шуму и гулу голосов.

Не у знать отца Мурада: он тут — хатияко, один из главных распорядителей, задающих и тон, и темп праздника.

В передних рядах много пожилых, а на деревянных трибунах для зрителей — стайки молодежи, в том числе одетой по самой последней моде и по последней моде бесстыдно раздетой...

Меняется ритм, звучат выстрелы: праздник начался.

Первыми на лошадях выезжают мальчишки, среди которых наши герои — адыгеец Пшимаф Гунажоков и Коля Романов.

В спину им несется принятое нынче у «голопупой» молодежи улюлюканье, но это вызывает ответное сочувствие старших:

— Аи, молодцы!

— Аферэм!

— Давай-давай, мардж!

Хатияко, которому на джегу позволено многое, жестом привлекает внимание молодых и делает вид, что пытается распоясаться, расстегнуть штаны и тоже показать пупок...

На дружный смех оглядываются мальчишки: это не над ними, нет.

— Давай, давай, джигиты!..

Одобрительно покачивает головой почетный гость в почетном же окружении: и правда, молодцы.

А на дорожку с шашкой наголо вылетает конник: рубка лозы.

Он уже в годах, Владимир Удалов, главный ветеринар Республики Адыгея, но он, живущий в Майкопе, — и нынче чемпион Кубани, Краснодарского края.

Старая школа берет свое: затихает молодежь, в которой наверняка шевельнулось полузабытое чувство родства с миром джигитства...

Явно доволен гость — тоже ведь давно пожилой, но сохраняющий орлиную осанку настоящего горца...

— Человек на лошади не может состариться! — кричит хатияко.

И Мухтарбек вдруг беззащитно, как мальчик, говорит:

— Папа выезжал на арену цирка в Москве, когда ему было девяносто пять.

— Девяносто пять?

— Все в цирке вставали, когда это слышали...

Тут тоже почти все дружно встают: сперва удачный прыжок на лошади через белую бурку и вслед за этим — через черную, которая поднята еще выше.

Заканчивается сражение на шестах — начинаются состязания в «поднятии абаса». Девушки кладут на траву платочки, и джигиты один за другим подхватывает их одними губами...

Но вот одна из девушек вынимает из уха и кладет на платочек крошечную сережку.

Замирают зрители: не слишком ли? Удастся ли поднять и то, и другое?

Решится ли кто-нибудь?..

Есть!

Разогнувшийся в седле всадник бросает уздечку — в поднятых вверх руках и то, и другое.

— У нас в гостях! — громко начинает хатяико. — Знаменитый осетинский джигит! Сопредседатель гильдии каскадеров России Мухтарбек Кантемиров!

Гость кланяется публике, а хатяико, будто бы про себя бормоча, на самом деле громко говорит в микрофон:

— Неужели скажет, что может выступать только на собственном коне, но конь в этот раз остался у него дома?!

— На этот раз конь не нужен! — откликается вышедший в круг Мухтарбек. — В нашей гильдии каскадеров у меня есть и своя прямая обязанность, я руковожу секцией метателей... И ножки я с собой прихватил: чтобы поддерживать себя в форме, приходится каждый день упражняться... будем считать это тренировкой, можно?

— Можно? — переспрашивает публику хатяико.

Публика дружно гудит, и вот уже ножи, брошенные из разных положений, один за другим вонзаются в заветную «десятку».

С явным усилием вытаскивают их из деревянной подставки наши знакомые мальчишки, наперегонки несут гостю, отдают, глядя на него с восхищением.

— Хотите научиться? — спрашивает Мухтарбек.

Оба радостно кивают: еще бы!..

— Не только этому, — продолжает Мухтарбек. — Всему тому, что должен знать и уметь джигит?

Ну, еще бы!..

И начинается незапланированное расписанием праздника действо...

— Эти ребята хотят пойти ко мне в ученики, — положив руки на плечи стоящим по бокам от него мальчишек, громко обращается к публике Мухтарбек. — Уверен, что и тут, в вашей прекрасной и мужественной Адыгее, найдутся люди, способные научить их джигитству... Помните, конечно, кто такой аталык. Это воспитатель. Учитель маленького джигита, на время заменивший ему родителей... Акан — это ученик. Когда-то аталык забирал у отца мальчика пяти-шести лет и в шестнадцать возвращал его опытным воином. Представляете, чему мальчик за это время должен был научиться? Представляете, каких трудов ему это стоило! Потому что лихо скакать на лошади, работать шашкой или вот... ножи метать... для настоящего джигита не главное, — и слегка наклоняется к мальчишкам, заодно приближая их к себе. — А что главное?.. Главное — научиться блюсти горский этикет...

Рыцарский кодекс чести... уже знаете, что это?

Оба мнутя: метать ножи — да, а что касается этих мало пока понятных слов...

— У моего народа это — намыс... достоинство, — с чувством говорит Мухтарбек.

— У нас — адыгагэ! — торжественно поддерживает ставший серьезным хатияко.

— Адыге хабзе! — кричат из публики.

— А что в этом кодексе главное? — спрашивает Мухтарбек.

— Человечность! — за всех отвечает хатияко.

— Почтительность, — добавляет Мухтарбек. — Уважение к старшим...

— Мужество! — из шутника все продолжает преобразаться в мудрого наставника хатияко. — Светлый разум.

— Честь! — провозглашает Мухтарбек, обращаясь и к публике, и к рядом стоящим ребяташкам. — Что еще? Что?!

— Храбрость! — негромко говорит маленький черкес Пшимаф.

— Верно: храбрость. Но что выше храбрости?

— Еще выше? — будто удивляется казачок Коля.

— Ве-ли-ко-душие! — провозглашает Мухтарбек.

— Милосердие выше храбрости! — добавляет хатияко. — Особенно сегодня. Особенно!.. Знаете, наши младшие... наша надежда... кто такой — благородный муж?.. Если человек поступает мужественно и достойно, если он поступает милосердно, это значит, что он поддерживает честь всего своего народа... всего!

— Чтобы этому научиться, требуется немало времени, наши мальчишки: недаром говорится, что рыцарство — тяжелый подъем.

— Непрístupная скала! — подтверждает хатияко.

— Вы готовы? — снова обращается к мальчишкам Мухтарбек.

— Аж до шестнадцати лет? — спрашивает Пшимаф.

— Им надо серьезно посоветоваться с отцами, — приходит на выручку стоящий неподалеку Мурад Гунажоков.

И Коля вдруг с обезоруживающей улыбкой спрашивает в микрофон:

— А с мамой?

Когда отсмеялись вокруг участники праздника, Мухтарбек говорит:

— У них еще будет время сделать свой выбор... А пока я от всего сердца благодарю эту землю... благодарю вашу красавицу Адыгею... за это старинное зрелище. За эти уроки мастерства и удали. Доброжелательности и гостеприимства. За эти удивительные мелодии... за ваши танцы... пусть они всегда остаются такими же зажигательными и такими веселыми. От всего сердца благодарю и

приглашаю в мою родную Аланию — на Джергубу. Это предзимний праздник в честь нашего кавказского покровителя святого Георгия... Добро пожаловать!

Хатяко поднимает руки, призывая к тишине:

— Наш дальний, наш дорогой гость приглашает нас на праздник в горы его родной Осетии! — и обращается к Мухтарбеку. — Они народ доверчивый, адыгейцы... А если вдруг соберутся, да все... все!.. приедут?

— Всех примем, всех! — на душевной ноте заверяет Кантемиров. — Потеснимся, но — примем! Даже горы раздвинутся встретить братьев из Адыгеи! — какое-то мгновение он стоит, словно размышляя, потом, явно решившись, делает обеими руками широкий, от доброго сердца жест, медленно обводит им всех собравшихся. — Не обижу свой народ, ничуть его не унижу, если расскажу вам, что осетинских джигитов из первой цирковой группы, созданной нашим отцом, Алибеком, еще в начале прошлого века за рубежом упорно называли черкесами... не постесняюсь сказать: черкесами величали. Настолько велико было и в Европе, и во всем мире преклонение перед вашей удалью и несгибаемым мужеством... Случается, что и нынче мы работаем на ваш черкесский авторитет, так что в этом смысле вы — наши должники!.. Но какие могут быть между братьями, между близкими счеты, если и осетины... и мы, аланы, тоже старались никогда не опускаться высокой, как общие горы, духовной планки нашего седого Кавказа., Еще раз зову — всем хватит места под нашим небом и нашими бурками: пусть, как в дни праздников, они будут белыми. Всем хватит громкой славы: лишь бы она была добрая!

Мягкие очертания кавказского предгорья сменяются суровыми зубцами снежников...

Священная роща Хетагроу покрыта туманной пеленой, и сквозь нее проступает огонь и дым от многочисленных костров, пар над котлами... За длинными столами, на которых там и тут стоят большие фотографии детей в траурных рамках, и сидят, и стоят в задумчивом оцепенении, внимательно слушают и медленно говорят, не торопясь поднимают тосты, молча разносят традиционное угощение, и по всему видно, что здесь собрался единый народ, сплоченный недавней общей бедой...

Может быть, потому-то здесь резче слышен грозный предсмертный взмык жертвенного бычка и жалостливей — тонкое овечье бляенье...

За одним из столов — Мухтарбек со старыми друзьями, пенсионерами-конниками, с которыми когда-то вместе работал. Вместе с ними на краю стола — молодежь и несколько мальчиков.

А по дороге среди рощи петляет «волга», за рулем которой сидит полковник Гунажоков. В черкеске рядом с ним — военный хирург Павел Романов, отец Коли. Сам Коля и его дружок Пшимаф, оба тоже в черкесках, — на заднем сиденьи: под патронажем строгого дедушки в высокой папахе, бывшего хатяко на празднике под Майкопом.

Дорогу машине преграждает упирающийся бычок, которого ведут трое парней в черных бурках.

— Куда они его? — спрашивает Коля.

— Молодой, здоровый и сильный бык! — значительно говорит старик-адыгеец.

Мальчишки переглядываются, и лица их делаются строже.

Ведущие жертвенного бычка знаками объясняют полковнику дорогу, но тут у него звонит мобильник, и он с облегчением улыбается и начинает кивать: мол, ясно, ясно...

Навстречу приехавшим выходит из-за стола Мухтарбек. Знакомятся друг с другом мужчины, а потом он разом обнимает мальчиков:

— Должен вам объявить, что эти ребята — адыгеец и казачок — хотят стать моими учениками. Я буду их аталык. Они — мои каны... так? У отца были каны из Кабарды, был донской казак. Пусть у меня будет адыгеец и, кубанский казачок...

И вдруг он задумывается, уходит взглядом в себя... Пока вновь прибывшим подвигают угощение, он становится все сосредоточенней. Прикрывает глаза...

...По горной дороге вслед за молодым красавцем Мухтарбеком несется погоня: кадры из фильма «Не бойся, я с тобой».

Вот они с Львом Дуровым становятся спина к спине и приемами каратэ отбиваются от разъяренных преследователей...

Жестом, похожим на прощальный, Мухтарбек прогоняет видение...

— Вы помните этот фильм: «Не бойся, я с тобой»... Там я играю горца, который порвал с обычаем прошлого и надеется только на либеральные законы да на свою силу и ловкость... но всегда ли на это можно надеяться? Пусть иногда слишком строго, но древние традиции охраняли наше нравственное здоровье. Чем они хуже навязших теперь у всех в зубах общечеловеческих ценностей, если за рыцарским столом короля Артура сидели наездники с Кавказа: нам должно быть стыдно, что это стало теперь общеизвестно благодаря книжкам западных, а не наших ученых... Представляете, какие пространства мы когда-то освоили?.. Но теперь мы будто заблудились во времени. И нам не поможет ни русская рукопашная, ни японская или китайская борьба, если не вернемся к тысячелетним духовным ценностям. Это древний обычай взывает сегодня к нам: «Не бойся, я — с тобой!» И в этом смысле не только эти юные мальчишки — все мы ученики в той великой духовной школе, которую нам оставили герои прошлого... Наши нарты, титаны этих гор, богатыри и витязи Кавказа, еще недавно бывшие цветом русского офицерства...

Все давно встали, все с зажегшимися глазами слушают: наболело, если не у всех — у большинства.

Он снова начинает говорить, и постепенно приходит ощущение, что слушают его не только за одним столом — внимают все собравшиеся в роще на праздник.

— Сегодня у нас гости из Адыгеи, которую обычно называют солнечной Адыгеей. Когда я гостил там, не было человека, который не посочувствовал бы нашему осетинскому горю... Сегодня мои друзья и приехали, знаю, для того, чтобы еще раз выразить свое братское, отношение к нам, разделить с нами наши заботы и тревоги. У осетин сегодня достаточно причин для печали... Но пусть эта сегодняшняя тризна звучит победным гимном в честь нашего народа и благодарением великому Богу и покровителю Кавказа святому Георгию: за то, что мы еще живы, что по прежнему жива наша родина и нас не покинула надежда на лучшее будущее наших детей и наших внуков, что на хлеб-соль к нам приезжают наши друзья и братья...

К Мухтарбеку подходит и становится рядом старик-хатияко, куда меньший ростом, и оттого будто особенно трогательный в своей готовности быть рядом.

— Когда хорошенько поездишь по белому свету, как проехали мы с наездниками, которые работали еще с нашим отцом, а потом — с Ирбеком, моим старшим братом... Когда поездишь по белому свету, начинаешь понимать, что на Кавказе, как в капле воды, отражены все проблемы, которые накопились сегодня в мире. Недаром мы называем наш Кавказ историческим перекрестком, ставшим домом для десятков, сотен самых разных народов... Кавказ нынче — это модель тревожного беспокойного мира, это его барометр... Но вместо того, чтобы сообща решать общие проблемы, управители мира почему-то решили прежде всего разобраться с нашими делами, с кавказскими, и тут нам надо, как в России говорят, держать ухо востро. Быть неприступными, как эти наши горы вокруг, которые недаром издавна называют ключом Кавказа. Будем же хранить и сам этот ключ, и тот высокий дух, который веками помогал нам оставаться его хранителями! Будем хранить спасительное единство всех народов нашего большого дома — давно поседевшего в трудах и битвах мужественного и великодушного Кавказа!

Продолжается праздник, так непохожий на первый, в Адыгее, но как бы составляющий с ним общее, единое целое...

Отводят в машину уставших в дальней дороге мальчиков.

Привалившись друг к дружке, они засыпают...

Снится кому-то из них двоих?

Или же — общий сон?

Как бы над всем Кавказом, над горами и долинами, то ли скачет, а то ли летит святой Георгий в алом плаще на серой, в яблоках лошади... На седле впереди него тот самый мальчик, которого видели в первых кадрах.

Но вот к нему тянет руку один из двух наших майкопских дружков и тоже оказывается на коне. Тянет руку стоящий на дороге другой, потом еще кто-то из мальчиков, еще...

Покровитель Кавказа облеплен, что называется, детьми в черкесках, но на дороге появляется девочка, робко и скромно ждет, и тогда святой Георгий спешивается, сажает ее среди мальчишек, а сам идет рядом, ведет коня в поводу...

Впереди еще и еще детишки, и вот он кого-то уже ведет за ладошку, а другого, поменьше, несет на руках — шествие это длится и длится, пока не растворится в мареве...

«ОТВЕТНЫЙ ПОКЛОН»

Творческая заявка на документальный художественный фильм

Непогожей осенью за полночь по пустынной Москве упрямо стремится против дождя и ветра одинокий наездник в косматой папахе и белой бурке. Обгоняющие его блестящие мокрым лаком черные «джипы» невольно замедляют ход, а один из них делает круг, возвращается, и лица сидящих в нем поздних гуляк прилипают к стеклу: откуда тут взяться горцу на белой лошади? Что за всадник?

Теперь, когда он там, откуда не бывает возврата, на этот вопрос непросто ответить даже тем, кто близко знал и любил его. Откуда в нем, и действительно, было столько мужества и терпения? В горькие для страны дни — столько достоинства и самоотверженного, почти отчаянного великодушия, которое по горскому кодексу чести превышает храбрости?

За долгие годы опасной работы ничего, кроме многочисленных травм, не накопив, у распадавшегося Госцирка он выкупил на последние гроши долго служившего ему перед этим жеребца Асуана и не расставался с ним до конца жизни: не было, пожалуй, в России «пенсионера», окруженного более трогательной, на грани самоотречения, заботой, нежели его верный Асуан, красавец и умница. Вместе они были символом не только родной Алании — всеми узнаваемым и чтимым знаком Кавказа. Он хорошо это понимал и делал почти невозможное, чтобы в невероятно трудных условиях своей нелегкой миссии соответствовать.

Снова подвели в Москве с коневозкой — что ж, отправится на встречу с земляками в седле.

И взрывается горячими аплодисментами громадный концертный зал в центре столицы, и кажется, не только маленькая Осетия — вся большая Россия стоя приветствует всадника, чей послушный конь покорно застывает на сцене в низком поклоне: как бы перед нами пред всеми, соотечественниками и современниками.

Но не достоин ли глубокого, запоздалого, как всегда у нас, поклона и он, знаменитый джигит, всемирно известный наездник, народный артист Советского Союза Ирбек Кантемиров?

В 1945-ом году вслед за выдачей Сталину в австрийском Лиенце тридцати тысяч воевавших на стороне немцев казаков англичане по официальному приговору своего военного трибунала расстреляли восемь с половиной тысяч их лошадей, объявленных «носителями казачьего менталитета».

Может быть, знавший толк в лошадях Ирбек, более трех десятков лет остававшийся главой цирковой династии наездников Кантемировых, непревзойденным мастером и щедрым, бескорыстным учителем, искупал как бы общую, всемирную нашу вину перед безответным благородством одного из самых старых и самых преданных друзей человека?..

...Знаковая фигура горца в праздничной белой бурке, которая считается праздничной приметой добра и мира, сквозь непогоду нашей затянувшейся ночи вновь обретает индивидуальные черты: теперь это — Мухтарбек, продолжатель общего дела, основатель Конного театра, сопредседатель Гильдии каскадеров России, начинавшейся когда-то с кинофильма «Смелые люди», где конные трюки братья Кантемировы выполняли еще под началом отца, Алибека Тузаровича...

Точно также проявится потом среди ночи под белою буркой Маирбек — наследник Ирбека, почти не выступающий нынче дома, в России, но прочно завоевавший лондонский цирк: его гастролы там длятся который год.

Исполняющий в Конном театре заглавную роль святого Георгия, древнего покровителя Кавказа, Мухтарбек, работающий в традиционной манере, давно ставшей классикой... Покоривший британцев неожиданно привнесенными в джигитовку авангардом и мистикой Маирбек: недаром новое его представление названо по-английски и переводится как «Наблюдающий звезды».

Но успеху в творческих поисках и младший брат, и сын во многом и многом обязаны беззаветно подставлявшему им плечо мудрому советчику и наставнику Ирбеку, собственной стойкостью и непреходящею верой в высокое рыцарство надежно прикрывшему их в дни безвременья.

Для русских друзей он был Юрой.

Юрием назвал Маирбек своего четырехлетнего сына, которому достался от бабушки табун в добрую сотню голов — привезенные со всех концов света фигурки: из красного и черного дерева, из бронзы, папье-маше, из стекла, из глины, фарфора...

А в глубокой долине на залитом солнцем лугу буйно резвится косяк молодых лошадей.

Вырываясь из непогоды и мрака, как бы уже призрачным видением, уже легендарным героем-нартом на сказочном богатырском коне возносится над родными горами, над сияющими их снежными вершинами одинокий всадник в косматой папахе и белой бурке: как благая весть о возможной надежде как мирный символ беспокойного нынче, бушующего Кавказа.